ISSN 0130-6545

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

16+

2017

7

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР

## РАЗНОЭТАЖНАЯ АМЕРИКА

Основан в 1955 году

[7]
2017

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

# Разноэтажная Америка

3 Адам Джонсон *Повести.* Перевод Александра Авербуха

106 Томас Мёртон *Стихи.* Перевод и вступление Анны Курт

114 Лусия Берлин *Рассказы.* Перевод и вступление Светланы Силаковой

Юбилей

196 Джон Эшбери *Стихи.* Перевод Яна Пробштейна, Антона Нестерова. Вступление Яна Пробштейна

Статьи, эссе

208 Зора Нил Хёрстон *Каково это – чувствовать себя цветной?* Перевод и вступление Ирины Морозовой

215 Марина Ефимова *История самого знаменитого издательства США*

Трибуна переводчика

219 Сьюзен Сонтаг *Мир как Индия.* Перевод В. Голышева

В устье Гудзона
с Алексеем Цветковым

236 *Четыре эссе: Внутри сингулярности. Обама в Хиросиме. Сотворение кумира. Комплекс Макропулоса.*

Ничего смешного

254 Дороти Паркер *Три рассказа.* Перевод Александра Авербуха

БиблиофИЛ

271 *Новые книги Нового Света* с Мариной Ефимовой

275 *Среди книг* с Александром Ливергантом

Библиография

279 *Американская литература на страницах ИЛ*

Авторы номера

283

© “Иностранная литература”, 2017

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
*ответственный секретарь*

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

Международный совет:

Ван Мэн

Матей Вишнек

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Ханс Магнус Энценсбергер

Редакция :

С. М. Гандлевский

К. А. Жолудева

Е. Д. Кузнецова

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

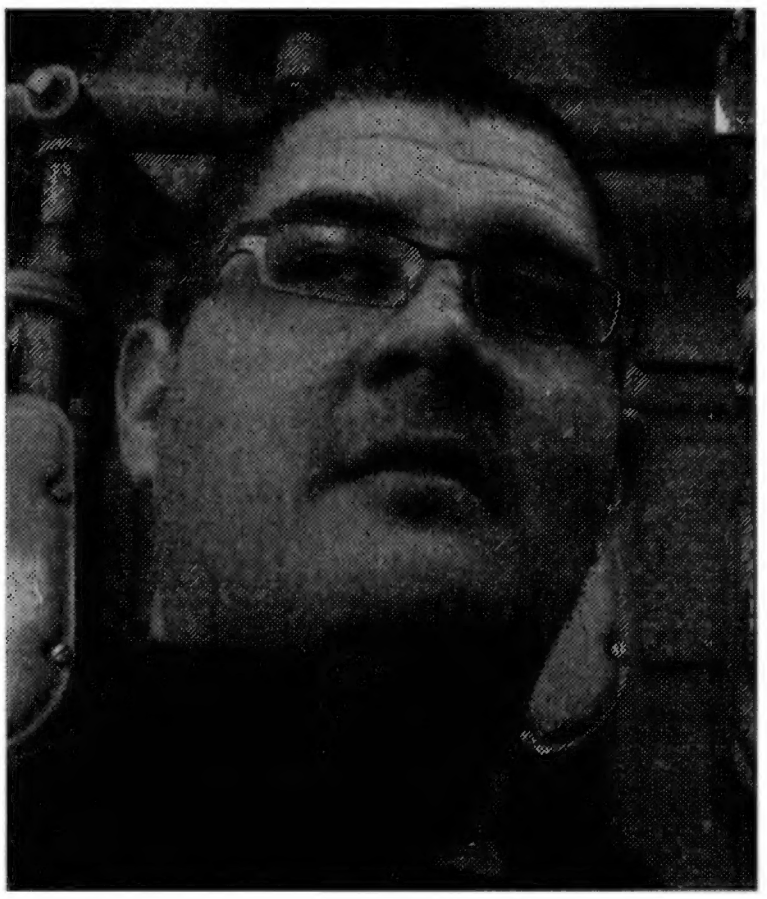
Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

# Адам Джонсон



# *Повести*

*Перевод* Александра Авербуха

## *Фортуна улыбается*

По пятницам Ди-Джей встречался за ленчем с Сун-О, человеком, бывшим его правой рукой в Северной Корее. Ди-Джей был в неоплатном долгу перед Сун-О. В Сеуле Сун-О признавал, по-видимому, только ресторанчики быстрого питания, поэтому Ди-Джей только этими ленчами и мог выразить ему свою благодарность. Или, может быть, извиниться. Он не знал, как назвать перед Сун-О свой долг, значительно превосходивший стоимость очень сытного обеда на двоих. Тем не менее за четыре месяца, прошедшие со времени их бегства из Северной Кореи, они побывали и в Бончон-Чикен, и в Кьёчон-Чикен, и в Джимбэп-Чеонгук, и в еще полудюжине других заведений.

Сегодня собирались поесть булгоджи[1]-бургеры в “Инсэдонг”, относящемся к сети ресторанов быстрого питания “Лоттериа”.

© Adam Johnson 2015
© Александр Авербух. Перевод, 2017

1. Корейское блюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной говядины, поджаренных на решетке. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Ди-Джей вышел из мужского общежития в районе Гуанак, в котором жил. Общага была далеко не шикарная, но во всех отношениях должным образом напоминала ему о родине – незапертые двери, отполированные цементные полы, комендантский час и это ощущение одиночества в гуще толпы. Кроме того, все эти минусы касались не его одного. На других койках спали люди, стремившиеся избавиться от алкогольной зависимости или потерявшие все в рухнувшей экономике, и даже несколько бедалаг, которых пытались отправить в Ирак воевать на стороне американцев. Ди-Джей понимал: в Южной Корее американцы считаются друзьями. Он никогда особенно и не верил в то, что они враги. В конце концов, разве не ими придуманы лотерейные билеты, на которых номер выявляется соскабливанием, кристаллическая решетка, купюры по сто долларов и, самое главное, каталитический конвертер?

Стоял холодный февраль. Укутанный в теплое пальто и шарф Ди-Джей отправился в центральный Сеул по синей линии метро, затем сделал пересадку на оранжевую и по ней доехал до станции "Энгук" в северной части города. Выходя из поезда, он услышал отдававшийся эхом по залу звук аккордеона, который трудно было с чем-то спутать: песня называлась "Нет родины без тебя". Люди хаотически метались во всех направлениях в той умопомрачительной манере, свойственной южанам. Никто, по-видимому, не узнавал или не обращал внимания на северокорейскую песню, не говоря уж о том, чтобы отдать должное Ким Чен Иру.

Удивительное дело: Ди-Джей был почти уверен, что знает аккордеонистку. Когда они с Сун-О, наконец, перебрались в Южную Корею, то первые два-три месяца жили в Хэноуоне, правительственном учреждении для перемещенных лиц. Там он встретил женщину, прославившуюся бегством на юг с аккордеоном. Говорили, инструмент едва не утопил ее во время переправы через полноводную по осени реку Туман. Звали женщину Мина, и она, по ее словам, не хотела бежать, но у нее пропал муж, и она отправилась на его поиски.

Ди-Джей двинулся в направлении источника грустной музыки. В аккордах слышался триумф и одновременно одиночество, такого сочетания он не слышал с тех пор, как покинул родину. На полпути к выходу на Самил-Даэро песня стала затихать – аккордеон удалялся. Музыка затихла, потонув в шуме. Но проникновенная мелодия в исполнении Мины не шла у Ди-Джея из головы. Выйдя в город, он побродил по соседним кварталам. Вдруг нестерпимо потянуло на север. Голые, припорошенные снегом горы, окружающие Сеул, на-

помнили о ледяных утесах вокруг Чонг-Джина. Изогнутые коньки черепичных крыш и погнутые антенны деревни Бакчон-Ханок показались знакомыми. Проходя мимо церкви, он услышал, как собравшиеся в ней поют хвалу Йезу-Ниму[1], затем последовала молитвенная тишина. Ди-Джей не мог видеть молящихся, но все же остановился на тротуаре и здесь едва расслышал сугубо северокорейский шум — шорох тысяч голов, склоняемых одновременно.

Вскоре его внимание вернулось к потрясающей красоте Сеула. Были тут и женщины в пластиковых хирургических масках, и крошечные собачки в платьицах. Проходя мимо фитнес-центра, Ди-Джей рассмотрел ряды мужчин на беговых дорожках. Что за сила побуждает их к движению? От чего они бегут? Он миновал кафе для кошек и зал, где девушки-подростки танцевали с партнерами-роботами. В пустом торговом центре понаблюдал за бесконечным эскалатором — ступени появлялись и исчезали, никто никуда не поднимался.

В таком настроении Ди-Джей пришел в "Лоттериа" и занял место за столиком, отгороженным от зала невысокими желтыми стенками. За окном ему была видна чрезвычайно интересная жизнь улицы: молодая женщина с татуировкой на шее, студент колледжа с подведенными глазами, вполне взрослый и крепкий мужчина призывного возраста сидел на краю тротуара и ничего не делал. Единственное, что могло показаться нормальным, был Сун-О, медленно приближавшийся к ресторанчику. Из-за искалеченного бедра он подволакивал ногу. На севере сказали бы только, что он ростом с тринадцатилетнего мальчика. Здесь из-за проницательного взгляда больших, широко поставленных глаз, несмотря на детский рост, никто не принимал его за ребенка. Войдя, Сун-О слегка кивнул Ди-Джею, хоть уже больше и не был у него в подчинении, и прошел, срезав угол, прямо к раздаче. Подойдя, Сун-О обернулся, желая рассмотреть стоявших в очереди завсегдатаев, которые теперь оказались после него. Все они занялись своими телефонами, делая вид, что ничего не случилось. Сун-О посмотрел на них некоторое время и покачал головой. Южные корейцы выводили его из себя своей покорностью и непреодолимой любовью к порядку. Одно дело подчиняться правилам душегуба-диктатора, но какие невидимые силы заставляют повиноваться этих южан?

— Готов принять ваш заказ, — сказал работник ресторана. Сун-О отыскал в карманах сигареты и ухватил одну губами.

1. Иисус, свет истины.

— Здесь не курят, — сказал работник. — Политика корпорации.

Сун-О посмотрел на висевшее на стене меню и ткнул пальцем в булгоджи-бургер с гарниром, затем поднял два пальца вверх.

— Желаете эти бургеры с пряным соусом по-шанхайски? — спросил работник.

Сун-О кивнул и достал несколько правительственных талонов на питание.

Работник покачал головой.

— Такие не принимаем.

Сун-О хлопал себя по карманам, пока не нашел спички.

— Верите в искру божию? — спросил он работника.

Тот заметил, что Сун-О говорит с северным акцентом. Стоявшие в очереди тоже замерли — мужчина в свитере для гольфа, несколько подростков в школьной форме.

— Не понимаю, — сказал работник.

Сун-О пристально посмотрел ему в глаза.

— Верите во всепоглощающий пламень Господень? — спросил Сун-О. — Верите, что только огонь может выжечь ваш грех?

Сун-О был мал ростом, но не ошибся. Он отслужил семь лет на подводной лодке с экипажем в десять человек; потом начались неприятности с тайной полицией, потом он добрался зимой до лагеря № 25. Затем этот человек прошел Трудный марш[1] через охваченную голодом провинцию Северный Хэмджъёнг. Сун-О выжил в чистилище Чонг-Джин.

Работник ресторана принял талоны и уложил заказ в пакет.

Сун-О подошел к сидевшему у окна Ди-Джею, достал зубные протезы и стал разворачивать свой бургер.

— Где это ты так научился? — спросил Ди-Джей. — Заставил меня понервничать.

— Мое открытие, — сказал Сун-О.

— Христианский разговор не по-христиански пугает южан до смерти. Слишком много ты на собрания ходил.

— Чересчур много, — сказал Сун-О и откусил от бургера.

Когда они впервые оказались в аэропорту Инчхон[2] и сдались южнокорейским властям, их, вопреки ожиданиям, не отпусти-

1. Трудным маршем в Северной Корее называется голод и сопровождавший его общий экономический кризис 1994—1998 гг.
2. Город и порт на западном побережье Южной Кореи.

ли на все четыре стороны, но выдержали два месяца а Хэноуоне, где допрашивали, брали интервью, сняли отпечатки пальцев и провели многочисленные испытания физических и умственных способностей. В Хэноуон попадали все перебежчики. Всем полагалось посещать групповые занятия, помогавшие скорее освоиться с жизнью в Южной Корее. Им объясняли, как обращаться с деньгами, как соблюдать личную гигиену и правила вежливости, как избежать участия в преступлении. Ди-Джей и Сун-О на севере жили неплохо, так что эти сведения не так ошеломили их, как других перебежчиков. Тем не менее одно в Хэноуоне стало для них неожиданностью: Дунгджу и Сун-О на юге оказались не самыми распространенными мужскими именами. Такие старомодные, как у них, могли помешать ассимиляции, так им говорили. Чиновники предложили Дунгджу взять современное имя вроде Ди-Джей.

Сун-О вышел из зала.

Не предоставили им полной свободы и после Хэноуона. Слишком многие перебежчики становились алкоголиками, бездомными, самоубийцами или, того хуже, возвращались обратно. Поэтому проводились собрания, встречи с чиновниками, посвященные этим случаям, с группами просто поддержки и поддержки христианской, еженедельные собрания "Открыто обсуждаем". Утром, по субботам, ученики средней школы давали перебежчикам уроки английского. Каждому открыли счет в банке, выдали деньги на жилье и пачку талонов на питание, которые не принимал ни один приличный ресторан. По счастью, именно еда из ресторанов быстрого питания нравилась им больше всего. Такая ароматная, такая горячая, и, как по волшебству, появлялась она именно тогда, когда хотелось есть.

Оба они кивали от удовольствия, смакуя каждый кусочек.

— Что думаешь? — спросил Сун-О. — Понравился бы такой бургер Иве?

Ди-Джей промолчал.

Сун-О ответил на свой вопрос сам.

— Да, еще как бы понравился. — Он собрал остатки жареной картошки и подтеки шанхайского соуса с пакета. — Картошка, однако, — продолжал он, — картошка для Ивы слишком жирна. Помнишь, какая прекрасная у Ивы кожа? Так что бургер — да, но картошка испортит ей цвет лица. Она бы ее есть не стала.

По слухам, Сун-О успел переспать со всеми вдовами в Чонг-Джине. И все же он говорил только об Иве, о том, как он почти добился Ивы, и что, будь у него побольше време-

ни, Ива стала бы его. И со времени избавления Ива уподобилась ангелу, стала так же чиста и недоступна, как сам Йезу-Ним.

Ди-Джей отлично знал, что не стоит позволять Сун-О распространяться об Иве, но ничего не смог с собой поделать.

— Что бы Ива сказала обо всех женщинах из Намхана, с которыми ты спишь?

— Собираюсь переспать, — поправил Сун-О. — Южных женщин не просто имеешь, друг мой. Ты их сначала обхаживаешь. Надо ходить на множество собраний. И, к твоему сведению, то, что я делаю с другими женщинами, никак не сказывается на чистоте Ивы.

— Рассказываешь этим южанкам сочные истории, — спросил Ди-Джей, — которые они так любят?

— Цель собраний — обогатить тебя опытом, — сказал Сун-О. — Эти женщины — добровольцы, они сочувствуют нашей беде. Вот почему приходят послушать.

— Вот так перебежчик становится знаменитостью! — сказал Ди-Джей. Видели они знаменитых перебежчиков по РОК-ТВ. Обычно это были красивые молодые женщины. Рыдая, они рассказывали душераздирающие истории — о голоде, о разлуке с близкими, о страданиях и пытках. У каждой обязательно погиб младенец, обязательно в какой-то момент историю омрачала тень сексуального насилия, и бравший интервью выдерживал паузу перед тем, как перейти к попытке женщины бежать. Обычные перебежчики не представляли собой чего-то особенного. И никогда по телевизору не рассказывали о перебежчике-мужчине, бежавшем из Северной Кореи на черном седане-“мерседесе” с водителем, который сидел на портфеле, заполненном поддельными лотерейными билетами, чтобы видеть поверх руля.

— Пьют эти дамочки белое вино под твои рассказы о морозных зимах и бесконечных бедах?

— Зимы были действительно морозные.

— У нас был обогреватель, работал на пропане.

— Беды тоже были. Кого-то расстреляли. Кто-то исчез.

— Мы платили за охрану, — сказал Ди-Джей. — Не рассказывал дамочкам, чем мы занимались в Чонг-Джине?

— Конечно нет, — сказал Сун-О.

Он слизнул с пальцев последние следы соуса и скомкал бумагу, в которую были завернуты бургеры.

— Голод действительно был.

Ди-Джей кивнул.

— Голод был.

Сун-О улыбнулся.

— Слушай, — сказал он, — в Гуанаке только бродяги и психи, больше ни с кем там не познакомишься. Поезжай в Гэнгнам, там все женщины настоящие, доброжелательные. У них мужья в отъезде. Дети в Стэнфорде. У этих дамочек времени сколько хочешь, и уж поверь мне, они умеют о себе позаботиться.

Сун-О заметил, что девочки-подростки за соседним столиком украдкой посматривают в их сторону.

— Что? — обратился он к ним. — Какого черта уставились?

Школьницы, изображая вдруг возникший интерес к жареной картошке, уткнулись в свои тарелки. Сун-О снова повернулся к Ди-Джею.

— Я в таком возрасте не рассиживался, таращась на окружающих. В шестнадцать лет моя жизнь была посвящена серпу и молоту. — Он говорил правду. Ди-Джею была уготована благополучная судьба, но Сун-О пришлось бороться за выживание. Ди-Джей взглянул на подростков. Он рос в Пхеньяне и тоже носил школьную форму с красным галстуком. Картинки с изображением детей в форме с недавних пор были развешаны здесь повсюду: затонул паром со школьниками, и Ди-Джей стал обращать внимание на этих детей в форме, как бы гонимых течением по улицам, стоявших кучками в вагонах метро, коротавших время в ресторанчиках быстрого питания. Было что-то призрачное в этих ребятах в блейзерах цвета холодного океана, в мальчиках в галстуках зеленых с белым и девочках в серых с белым. Паром погружался, а детям велели сидеть по каютам. Там они и оставались, когда судно ушло под воду.

— Чуть не забыл, — сказал Сун-О. — Я подарки судьбы принес. — И он достал пригоршню лотерейных билетов.

Ди-Джей взял один из них. Это был билет моментальной лотереи “Три драгоценных камня”.

— И что с ними делаешь? — спросил он.

Сун-О пожал плечами.

— Обналичиваю правительственные талоны в винном магазине и, вот захотелось, купил несколько штук. Подумал, почему не испытать удачу в корейской лотерее?

Ди-Джей поднял билет и посмотрел его на просвет. Тут не надо было открывать номер соскабливанием, как это обычно бывает на дешевых билетах китайской лотереи. Не была это и поддельная карточка “Пай-Гау-Покер”, приносившая сразу десять тысяч. И даже не “Фортуна улыбается”, самый прихотливо оформленный лотерейный билет из тех, что им доводилось подделывать.

— Ты вот этот посмотри, — сказал Сун-О. — Называется “520”. Выигрываешь пенсию южнокорейского правительства. Пять миллионов вон в год в течение двадцати лет.

Ди-Джей достал очки, выданные ему офтальмологом в Хэноуоне, и рассмотрел карточку "520", многослойную, с двумя выигрышными зонами, голографической фольгой, рисунком, затрудняющим распознавание цифр при просвечивании, а также со слоем, гарантирующим, что его не удаляли[1]. Приглядевшись, он заметил микро-печать и перфорацию. Билет был изготовлен на очень сложной машине, может быть, даже на нескольких, а не на старом японском станке, который им удалось модифицировать и заставить работать.

— Да будь проще, — сказал Сун-О. — Поскобли несколько штук.

Ди-Джей стал смотреть, как Сун-О с помощью ключа от машины энергично стирает серое виниловое покрытие и узнал былую бешеную энергию в глазах друга. В Северной Корее преступления санкционировались государством. Преступления представлялись абсолютной необходимостью. Если удавалось поужинать, то только на нелегально заработанное. Здесь, в Сеуле, преступность была совсем другой.

— Погоди минутку, — сказал Ди-Джей. — Зачем тебе ключ от машины?

Сун-О отдал ему ключ дилера фирмы "Тойота" с проштампованным годом, который открывал и запускал любую машину этой фирмы, выпущенную с 2000 года включительно.

— Откуда? — спросил Ди-Джей.

— С собой привез, — сказал Сун-О. — Я все наши ключи с собой взял.

Как во внезапной неразберихе их бегства Сун-О подумал об этом?! Ди-Джей вернул ему ключ.

— Избавься от него, — сказал он. — Нам больше не надо зарабатывать норму в твердой валюте. Это все в прошлом. И тебе не нужна пенсия "520". Нам теперь правительство перечисляет на депозитные счета.

Сун-О встал и обошел стол так, что оказался плечом к плечу с Ди-Джеем, и уставился на него своими большими глазами навыкате. Врачи в Хэноуоне говорили, что такие глаза — признак заболевания, заболевания, имеющего свое название, но этого названия Сун-О не знал. Большинство пугалось этих глаз, но Ди-Джей смотрел в них и думал, что они уязвимы и выдают мысли Сун-О.

1. Такая непрозрачная лента не позволяет установить просвечиванием, выигрышный билет или нет. Она состоит из трех слоёв, средний — наименее прочный. При попытке снять всю ленту она разделяется по этому среднему слою, благодаря чему становится видно, что все три слоя пытались удалить.

— Так я играю в лотерею, — сказал он. — Так я дружу с несколькими мамашами из Гэнгнама. Так я беру напрокат машины.

— Берешь напрокат машины?

Сун-О сделал вид, что не слышал вопроса.

— Пытаюсь использовать наше нынешнее положение на все сто, — сказал он. — Решение бежать, если помнишь, принимал не я.

Ди-Джей опустил глаза.

— Не забыл, — сказал он.

— Хорошо, — сказал Сун-О и хлопнул Ди-Джея по спине.

На юге об их прежних отношениях не было сказано ни слова. Сун-О казался, может быть, лет на пятнадцать старше Ди-Джея, и все же был для него более чем дядя. Слово "товарищ" больше ими не использовалось, но оно никогда и не передавало того, на какие жертвы шел каждый из них, чтобы помочь другому. Хотя Сун-О в шутку называл Ди-Джея Большим Боссом, Ди-Джей никогда не держал себя с ним как начальник.

И не бывало еще такого хитрого наемного работника, как Сун-О. Он служил Ди-Джею помощником, водителем, партнером, телохранителем, другом. Возможно, слóва для обозначения таких взаимоотношений не нашлось бы и на севере, но там оно им и не требовалось.

— Кроме того, я не из тех, о ком тебе стоило бы волноваться, — сказал Сун-О. — Я всего лишь потерял страну. Но ты... ты теряешь больше. Ты, наверно, беспокоишься, что здесь я не приживусь. Но если хочешь знать мое мнение, сам ты, Ди-Джей, начинаешь вписываться слишком хорошо.

Как объяснить, что причина раздражения Сун-О не в южанах, но в той жизни, которую он, Сун-О, вел на севере? Где тот лотерейный билет, платой за который была твоя кровь?

Послышался звук, как будто закрылся затвор фотоаппарата. Оба повернулись в сторону девочек-подростков, которые сидели с невинным видом, потягивая содовую.

Сун-О встал и захромал к ним.

— Пойдем лучше отсюда, — крикнул ему вслед Ди-Джей.

— Хотите фотографию северного корейца? — спросил Сун-О у школьниц.

Никто из них не поднял глаз, и только одна нервно хихикнула.

— Вот я, — продолжал Сун-О. — Давайте, щелкайте. Сделайте фотографию чосунина[1]. Будет, что выложить в интернет.

1. Чосон — назвние Кореи с 1392-го до 1897 г.

— Ладно тебе, — сказал Ди-Джей, — Оставь.

Сун-О не оставил. Он наклонился к девочкам и изобразил неестественную улыбочку маньяка.

— Готов сниматься, — сказал он. — Улыбаюсь. Говорю кимчи[1].

Школьницы замерли.

— Так я и думал, — сказал Сун-О. — Вы все пассажиры. И вся ваша гребаная страна — паром. Роботами нас зовете. Зовете нас зомби, исполняющими приказы. Но мы-то знаем, что такое ненависть. Знаем, что такое выживать, и могу вас уверить — будь мы на том пароме, никто бы из нас не утонул.

Возможно, "кровь" — слово здесь неподходящее. Да, Ди-Джей вел в Северной Корее определенный образ жизни. Возможно, у него там были какие-то привилегии. Но были ли у него руки в крови? Он никогда не ликовал в душе от продажи ложной надежды, поддельных лекарств и небезопасных автомобилей. Верно, режим направлял добытые им деньги на дурные цели. Но только на юге он стал думать о крови.

Только здесь он услышал то, чего нельзя было услышать на севере. В Хэноуоне перебежчики рассказывали о вечном голоде, о неустанном труде, о случайно назначаемом наказании, о каких не слыхивали со времен монгольских нашествий. Ходили слухи о рабстве, исчезновении людей и тюрьмах, поглощавших людей целыми семьями. Слухи бывали всегда, но тут, на юге, Ди-Джей воочию видел жителей охваченных голодом удаленных северных провинций, мест, посещать которые не разрешалось никому. Здесь находились их тела, почерневшие, с жилами, как веревки, зубы с мертвой сердцевиной и кожа, покрытая чешуйками пеллагры.

И потом были карты гугла. Он подсел на фотографии Пхеньяна, сделанные со спутника — художественная студия "Мэнсьюди", где его мать работала художником, и боулинг "Золотая аллея", где в тени башни Джучи он получил титул чемпиона среди юниоров. Он разглядывал университет, в котором учился на инженера, вспоминал, как в нем осталась гореть единственная лампочка, когда весь Пхеньян погрузился во тьму. Свет этой лампочки освещал университетскую статую Ким Ир Сена. Учась в колледже, Ди-Джей верил, что формулы, которые студенты заучивали наизусть, когда-нибудь понадобятся, чтобы сделать его страну великой. Все ве-

1. Национальное корейское блюдо, пряная маринованная капуста. Слово, произнесение которого, подобно английскому "cheese", требует растянуть рот в подобие улыбки.

рили. Так что, когда огни погасли, студенты спустились с погрузившихся во мрак этажей общежития и уселись у ног Великого Вождя, продолжая читать и готовиться к семинарам в его вечном свете.



Разумеется, Ди-Джея ждала особая судьба. По окончании курса половина его группы — студенты из бедных семей — получила инженерные должности. Им действительно позволили изобретать. Другую же половину из детей богатых, к которой относился и Ди-Джей, взяли работать за иностранную валюту в так называемые производственные бюро. Одно подразделение занималось производством поддельных лекарственных препаратов, другое участвовало в махинациях со страховками в странах тихоокеанского региона, третье управляло лабораториями, в которых изготавливались наркотики, переупаковывались сигареты или распределялись акульи плавники. Ди-Джея направили в Чанджин обслуживать печатный станок, на котором делали поддельные лотерейные билеты. С работой он справлялся успешно, поэтому ему поручили ведать рынком использованных автомобилей по всей Азии. Из Японии каждый месяц ввозили по восемьсот машин, с них снимали каталитические конверторы и подушки безопасности, скручивали одометры, после чего все остальное по бросовым ценам сбывали в Китае.

С болью смотрел он на Чанджин, в котором даже из космоса были видны свалки токсичных отходов, ржавеющие платформы для взвешивания грузов, подножия холмов, изрытые бесчисленными могилами погибших от голода. Черные точки на главной площади — дети попрошаек, спящие под открытым небом. Палаточный городок рядом с доками — убежище для конвоиров, освобождающихся от дежурства на тюремных судах. Вдоль дорог к западу от города — крытые вагоны, набитые семьями, ожидающими отправки на каторгу в шахты Мэнтэпсана и в концентрационный лагерь Хвасонг. Это Сун-О избавил Ди-Джея от всего этого. С той минуты, как Ди-Джей вышел из вагона поезда в Чонг-Джине и подвергся нападению бездомных детей, требовавших еды, Сун-О отогнал их и вообще занимался бродяжками, кишевшими вокруг их черного седана. Сун-О же разобрался с торговцами поддельными билетами китайской лотереи в Иэнбьене и дал взятку бауибу[1]. Даже в самые тяжелые дни 1997 года, когда люди питались клеем, которым прикрепляли к стенам пропагандистские лозунги, Сун-О каждое утро приходил с рыбой и рисом, и Ди-

1. Служащий северокорейской “тайной полиции”.

Джею не надо было спрашивать, откуда все это берется. Но что толку вспоминать все это, когда Северной Кореи ему уже не увидеть? Теперь предстояло жить Сеулом. И чем дольше они здесь жили, тем чаще Ди-Джею казалось, что они поменялись ролями. Теперь опекун требовался Сун-О.

Ди-Джей не последовал совету Сун-О и отправился на собрание не рядом с конечной остановкой автобуса, идущего с южного берега в элитный район Гэнгнам, а в Гуанаке, в скромную городскую церковь, крест которой светился в темноте неоновыми трубками. Он подошел к ней как раз во время перерыва занятий группы бывших алкоголиков. Все вышли из церкви и курили перед входом. Мимо них проходили перебежчики с севера, и Ди-Джею казалось, что каждый алкоголик думает:

— Может, жизнь моя и погублена, но, по крайней мере, я родился не на севере.

Стулья в церкви были составлены в круг. Наверху висел портрет Йезу-Нима в терновом венце, которого в начале собрания все горячо приветствовали. Как и остальные, Ди-Джей поклонился. Здесь всем заправляли не горячие гэнгнамские мамаши, а аджумма-христианки, очень чопорные старые девы.

Перебежчики пошли вдоль кольца стульев, представляясь собравшимся, сообщая возраст, место рождения и дату бегства из Северной Кореи. Потом каждому предстояло назвать три особенности жизни в Южной Корее, которые показались наиболее привлекательными. Называли обычное: свободу, открывшиеся возможности, интернет и тому подобное.

Красивая осанистая женщина с глазами, скрытыми за стеклами темных очков, напоминала Ди-Джею кого-то из знаменитых перебежчиков. Без аккордеона он с трудом узнал ее.

— Меня зовут Мина, — говорила она, — из провинции Северный Хэмджионг. До начала своих несчастий была школьной учительницей. — То ли по рассеянности, то ли не поняв, что от нее требуется, она перечислила, что считается привлекательным в жизни на севере: — Скучаю по караоке, куда мы ходили с друзьями, по горячим ключам. Но больше всего по своим ученикам, — она помолчала и добавила: — В это время года погода заставляет меня думать об оленях. Перед голодом отец охотился на них ради рогов. Я очень любила маленькие рожки, они на ощупь, как мох, и пахли холодной водой из ручья.

Северная Корея — страна головорезов, коррупции и жестокости. Но Мина была права. Чанджин был по-своему красив. Там под покровом пушистого инея даже корпуса старых

советских фабрик становились прекрасны — долговязые краны, замерзшие под пухлыми белыми облаками; заброшенные оцинкованные тележки, кажущиеся зазубренными от инея; ржавые конвейерные ленты, стоящие, как часовые, над сверкающими айсбергами, плывущими на юг от Владивостока.

Ди-Джей рассматривал стрижку и глаза Мины, которые, казалось, избегали его взгляда. Единственное в Чанджине место с караоке — работавший допоздна "Клуб моряков", излюбленный партийными шишками. Чтобы посещать горячие источники Онфо, требовались знакомства в военных кругах. Ди-Джей подумал: уж не высокопоставленный ли военно-морской офицер муж Мины? Чего-чего, а всяких званий было столько, что только благодаря этому можно было оказаться среди пропавших.

Очередь говорить о себе дошла до Ди-Джея. Ему не хотелось признаваться, что он из Пхеньяна, и он ограничился тем, что сказал:

— Я перебежал из провинции Северный Пхеньян.

Перечисляя, что ему больше всего нравится на юге, он назвал бургеры, возможность путешествовать по земному шару с помощью Гугла и очки для чтения, которые ему подарили. Он не хочет погружаться в мечты о севере. Да, он скучает по Чанджину, по соленому запаху развешанных для просушки рыбацких сетей, нефритово-зеленым волнам Японского моря, по девушкам-регулировщицам уличного движения, по жилым кварталам пастельных тонов и по попадающимся на рассвете группам людей, занимающихся гимнастикой, которых больше никогда не увидит. Скучает по женщинам в кроличьих шубах. Скучает по зимней редьке, которую вынимают из раскисшей земли и начисто вытирают снегом. Скучает по ежевечерним отключениям электроэнергии. Скучает по тому, как на тебя и того, с кем ты оказался, набрасывают в общежитии одеяло, по тому, как вдруг в голове под вечер начинают проигрываться откровенные разговоры, которые ты вел в течение дня.

Он почувствовал на себе внимательный взгляд Мины и понял, что все смотрят именно на него.

— Мне нравится демократия, свобода и разнообразие телевизионных программ, — сказал он и, помолчав, добавил: — Но я скучаю по ночной темноте, которая была дома. — Такое контрпродуктивное замечание вызвало несколько разочарованных взглядов, и Ди-Джей их заметил.

Под конец собрания Йезу-Ниму снова были оказаны почести. Мина выскользнула из церкви и пошла по Бонгчен-Ро в сторону парка Борами, Ди-Джей последовал за ней.

— Слышал на днях, как вы играете на станции “Энгук”, — сказал Ди-Джей, нагнав Мину.

Она посмотрела на него то ли с подозрением, то ли с любопытством.

— Вы очень талантливы, — продолжал он.

Она не ответила.

— Вы учились в Мэнджийонгди или в консерватории?

— Целыми днями разучивала с детьми патриотические песни, — сказала она. — Для этого надо владеть аккордеоном. — У входа в парк на постаментах было выставлено звено устаревших реактивных истребителей, обращенных на север. Мина свернула в парк и пошла по слегка заметенной снегом тропинке. — А ваши учителя не играли на аккордеонах? — спросила она.

Ди-Джей покачал головой.

— Откуда вы?

— Из Пхеньяна.

— Мне приходилось слышать такой акцент, как у вас, — сказала она. — Может быть, некоторые мои ученики действительно учились в Пхеньяне. В наших местах все было иначе. В школе девочек разделили на очень красивых и не очень. Красивых куда-то услали. У нас были аккордеоны. Вот так. До чего ненавидишь аккордеон, не имело никакого значения.

Ди-Джей хотел сказать ей, что она очень красива, но промолчал. Хотел спросить, зачем она рисковала жизнью, решив бежать с инструментом, который ненавидела, но не спросил.

Они подошли к группе женщин, тесно прижавшихся друг к другу, чтобы согреться, и танцующих что-то вроде медленного танца. Все двигались в такт, каждая, казалось, целую вечность проводила рукой у себя перед лицом, ступня отрывалась от земли и, казалось, никогда не будет поставлена на нее снова. Ди-Джей и Мина прошли мимо, едва сдерживая смех. Через некоторое время она сказала:

— В Хэноуоне вы были с мужчиной, он был старше вас. Это ваш отец?

Со времени получения инженерного диплома Ди-Джей не видел своих родителей, которые стали для него чем-то вроде памятной фотографии, изображение, на которое он смотрел так долго, что оно стало заменять изображенное.

— Это Сун-О, — сказал Ди-Джей. — Вместе зарабатывали иностранную валюту.

Мина с подозрением посмотрела на него.

— Ничего опасного, — сказал Ди-Джей. — Машины похищали в Японии, переправляли во Владивосток, разделывали

в Чонг-Джине, потом перекидывали на север по железной дороге, там китайцы подделывали документы. Кто-то богател. Надо было что-то есть.

Они направились к открытому ледяному катку. Пары взрослых и стайки подростков катались, двигаясь по кругу против часовой стрелки, кто-то танцевал под музыку, которой Ди-Джей прежде не слышал.



— Неужели никто не узнает песен, которые вы играете? — спросил он.

— Только северокорейцы, — сказала Мина.

— Вам попадались здесь люди, которых вы знали на севере?

— Да, несколько человек.

— Но не тот, кого вы ищете?

Она покачал головой.

Опираясь на ограду, они смотрели, как катающиеся режут лед. Громко играла музыка, заглушая скрежет коньков, рисующих узоры на льду. Парень, распоряжавшийся музыкой, был в наушниках и перчатках без кончиков пальцев, чтобы удобней было нажимать на кнопки и вращать рукой пластинки.

— Хотелось бы услышать, как вы играете.

Мина взглянула на семьи, скользившие на коньках.

— Можете, если хотите, — сказала она. — Но имейте в виду, я играю для своего мужа.

Ди-Джей изо всех сил постарался улыбнуться.

Рядом с ними подросток на коньках ритмично двигался под музыку.

— Как называется эта вещь? — спросил Ди-Джей о песне.

Услышав акцент Ди-Джея, подросток остановился и покачнулся.

— Спросите диск жокея, — сказал он.

Ди-Джей не понял.

— Вы с севера, верно? — спросил подросток.

Ди-Джей кивнул.

— У вас там диск-жокеи есть? Вы понимаете, о чем я?

— Ди-джеи?

— Как объяснить, что такое ди-джей? — сказал сам себе подросток. — Ну, такой артист. Берет разного рода музыку, понимаете, в стиле фанк, странную и старомодную. И даже плохую. Вы такую и слушать не станете. Затем смешивает все пьесы. Так вот, эта смесь и есть почерк ди-джея.

В пятницу Ди-Джей пошел встречаться с Сун-О в заведении сети “Бургер-Кинг”. Едва он открыл дверь, показался Сун-О с тремя огромными порциями в пакетах навынос.

— А для кого третья? — спросил Ди-Джей.

— Идем, — сказал Сун-О, — надо тебе кое-что показать.

Прихрамывая и подволакивая ногу, он пошел впереди.

Через два квартала они остановились перед "тойотой-короллой".

Ди-Джей знал эти машины.

— Седан LE, — сказал он, — с апгрейдом.

— Давай, — сказал Сун-О, — проверь.

Ди-Джей нагнулся и осмотрел выхлопную трубу — труба, естественно, была с зарубками. Их делали для того, чтобы следить за машинами, которые сами же "раздевали". Ди-Джей выпрямился и улыбнулся.

— Я шел по улице, и тут — она, — сказал Сун-О. — Представь себе ее путь — от Ниигата до Владивостока, далее в Чанджин, потом в Сеул к нам.

Своим ключом он отпер машину, и они сели внутрь.

Прежде чем закрыть дверь, Ди-Джей выкинул на тротуар стопку учебников. По привычке опустил солнцезащитный козырек, приподнял коврик на полу и открыл бардачок. В японской машине можно было обнаружить самые удивительные вещи. Помимо еды и денег, они однажды нашли мегафон, надувную женщину и термос, в котором помещался один-единственный глаз. Нашли однажды даже котенка, жившего в кузове и питавшегося сморщенными яблоками.

Три пакета бургеров поставили между передними сиденьями. Ди-Джей перевел взгляд с них на Сун-О.

— Скажу тебе, для кого третий бургер, — сказал он, — но сначала надо остановиться.

Они поехали в сторону университетского госпиталя в Синчондонге. Пока пересекали Олимпик, Ди-Джей сообразил, что, передвигаясь по Сеулу на метро, он, по сути, города не видел. С моста были видны Юдо, здания Национальной ассамблеи и туристические катера, выстроившиеся вдоль Ханганг. Они въехали на мост Согэнг, и он впервые увидел островки Бэмзом с огромными стаями диких уток и мандаринками[1], нежащимися в лучах полуденного солнца.

У госпиталя Сун-О остановился напротив входа в приемный покой, загородив пандус, предназначенный для машин скорой помощи.

— Скоро вернусь, — сказал он, и медленно захромал к дверям приемного покоя. Ди-Джей наклонился, рассматривая одометр, который показывал двадцать семь тысяч километ-

1. Небольшая птица семейства утиных.

ров. Потом постучал костяшками пальцев по месту, где должна была помещаться подушка безопасности, – пусто.

Довольно скоро из больницы двое охранников вывели человека, державшего несколько десятков воздушных шаров. Охранники попытались отобрать их, но не смогли и толкнули человека на землю. Ко времени возвращения к машине Сун-О был уже мертвенно бледен и бормотал ругательства, сердито поглядывая в сторону родильного отделения. Потом стал запихивать шары с надписью "У меня мальчик!" на заднее сиденье автомобиля.



– Я бы заплатил им, черт возьми! – процедил Сун-О. – Может пятьдесят мальчиков родиться за один вечер? Не может. Тогда на кой черт в магазине подарков все эти шарики?

Ди-Джей понятия не имел, что́ все это значит, но теперь он понимал, кому предназначалась третья порция бургеров.

– Этого бургера она так и не дождется, – сказал Ди-Джей. – Ты это понимаешь, верно?

Сун-О перенес свой гнев на Ди-Джея.

– Неважно, получит Ива бургер или нет, – сказал он. – Важно, что мы его отправили.

Они повернули по шоссе "один" на север в сторону демилитаризованной зоны. За рулем сидел Сун-О и вел машину так, будто находится в Северной Корее и несется по пустым дорогам шириной в сто метров, имея пропуск на все случаи жизни, полученный от самого диктатора.

– Йезу-Ним! – кричал Ди-Джей в машине, несущейся поперек плотных потоков транспорта.

Ди-Джей обернулся, опасаясь, что из-за них случилась авария, но сзади из-за шариков ничего не было видно.

Сун-О свирепо посмотрел на повернувшегося назад Ди-Джея.

– Йезу-Ним? – он покачал головой.

– Ты бы поосторожней, – сказал Ди-Джей. – Это единственная в Южной Корее машина без подушек безопасности.

Они пересекли Имджингэнг и остановились у автовокзала Дорасан на стоянке экскурсионных автобусов. Пахло дизельным топливом и праздничной пищей. Пробрались через толпы туристов к биноклям на площадке обозрения и стали смотреть в сторону Северной Кореи на гору Сонэксэн, долину Гоэсеонг и колхозы возле Джимемгол, где несколько быков тянули что-то невидимое в высокой рыжей траве.

– Ты посмотри на эти мирные долины, – сказал Сун-О, наводя на резкость. – Кажется, домой можно пешком дойти, верно?

Ди-Джей оторвался от пейзажа.

— Да, хорошая была бы прогулка, если бы не семь миллионов мин.

Подошла группа старшеклассников, ребята остановились, прислонились спинами к парапету и стали посмеиваться. Вероятно, смех вызывали шарики Сун-О. Ребят больше интересовал жареный сладкий картофель, чем возможность взглянуть на Северную Корею.

При их приближении Сун-О ощетинился и уставился в бинокль — его раздражали подростки в униформе, но в другой одежде, казалось, — еще сильнее.

— Представь, какими идиотами мы представляемся своим соотечественникам, — сказал Сун-О. — Вообрази, что думают настоящие корейцы о наших кепочках с блестками, футболках, как в японских комиксах, и кедах.

Ди-Джей, рассматривая в бинокль зимний сельский пейзаж, видел только крестьян, работающих в тяжелых полотняных пальто, грунтовые дороги и крыши из волнистой жести. Машин не было видно, не говоря уж о шоссе, больницах или людях, рассматривающих Южную Корею.

— Ничего не запускать, — закричал кто-то, — ничего не запускать!

Они обернулись и увидели черные с белым шлемы пробиравшихся сквозь толпу пограничников. Быстрым движением Сун-О спрятал бургер Ивы в пластиковый пакет, и привязал к его ручкам шары.

— Ничего не запускать! — прокричал солдат.

Тут Сун-О отпустил шары, и они понеслись с огромной скоростью по ветру, веявшему над полями. Миновав группу деревьев, шары поднялись высоко над северокорейской землей.

— Кто тут контрабанду запускает? — рявкнул подошедший солдат.

Ди-Джей и Сун-О молчали, как и стоявшие рядом подростки.

Солдаты внимательно осмотрели всех и двинулись дальше, расспрашивая стоявших у биноклей. Сун-О подошел к школьникам и заговорил с самым высоким парнем, должно быть, баскетболистом.

— Не выдали, — сказал Сун-О, — мне это нравится. Не испугались южнокорейских солдат. Да, соображаешь. Но скажи мне, я должен знать: зачем вы так одеваетесь?

Молодой человек смущенно улыбнулся.

— Посмотри на своего друга, — продолжал Сун-О, указывая на другого школьника. — Вырядился, как певец, кумир публики. А тот подвел себе глаза. Понимаешь, для чего нужна косме-

тика? Косметика нужна девочкам-иностранкам, которых похитили и привезли в Пхеньян, чтобы обслуживать партийных чиновников. — Улыбка исчезла с лица парня. — Вы — корейцы, — продолжал Сун-О с презрением. — Корейцы победили джурчженей[1]. Корейцы победили манчжуров[2]. Мы прогнали монгольские орды. Шесть раз монголы пробовали завоевать нас, и шесть раз мы брали над ними верх.



— Хватит, — сказал Ди-Джей. — Это ж дети.

Но Сун-О все казалось недостаточно.

— Мы били японцев, — продолжал он, — мы пленили их при Джинджу, в битве при Окпо, мы вымели их из лесов Тибайка в сорок пятом. Мы даже американцам надрали задницу!

— Американцам? — улыбнулся молодой человек. — Ты ненормальный аджеосси[3]. Мы никогда не воевали с американцами. — Тут-то Сун-О и сделал движение к горлу молодого человека.

Ди-Джей стал между ними, но его схватили сзади и бросили на землю. Чья-то рука обхватила его за шею так, что ее локоть оказался у его горла, и он уловил запах пищи, исходивший от душившего его парня.

Ди-Джей пришел в себя, стоя на четвереньках, Сун-О похлопывал его по спине. Школьников рядом уже не было.

— Ну все, все, очухался, — говорил Сун-О. — Всего несколько минут пропустил.

У Ди-Джея изо рта капала слюна. К щекам пристал песок, из глаз лились слезы, все вокруг расплывалось.

— Приятно подраться, верно?

Ди-Джей хотел сказать, что нет, но издал звук, который обычно предшествует рвоте. Он поморгал и посмотрел на мокрый от слюны асфальт.

— Что происходит с нашей страной? — сказал Сун-О. Тон был философский, голос доносился как бы издалека. — Как это с нами случилось?

— Ты нездешний, — сказал Ди-Джей. — Это я понял. Но нет возможности вернуть тебя обратно. Начинай приспосабливаться, надо смириться, что тут все по-другому.

— Я тебе скажу, откуда мы, Дунгджу, — сказал Сун-О. — Мы предназначены для другого времени, для времени, которое уже прошло. Тогда у человека была жена и несколько детей,

1. Тунгусский народ, населявший один регион в Манчжурии до XVII в. С 1115-го по 1234-й в Китае правили манчжурские династии.
2. Народ, живущий в Северо-Восточном Китае.
3. "Человек из ниоткуда" — южнокорейский фильм режиссёра Ли Джон Бома.

и он проживал всю жизнь в деревне, где родился. Летом его семья пировала тем, что мог привезти домой боевой пони. Зимой члены семьи, чтобы не замерзнуть, прижимались друг к другу.

Сун-О помог Ди-Джею подняться на ноги.

— Нельзя нападать на людей, — сказал Ди-Джей. — Тут жизнь совсем другая.

На это Сун-О ничего не ответил.

— Что надо человеку? — вслух размышлял он, отряхивая Ди-Джея. — Тепло под полом, любимая женщина, лук из рога, который он унаследует от своего отца? Надо было нам родиться до этого бардака, Дунгджу. Чего бы я только ни дал, чтобы жить тысячу лет назад! Служил бы королю Горейо[1]. Жил бы в почете. В те времена, если ты переставал расти, то это из-за неурожая, а не оттого, что диктатор украл твою пищу. Если у тебя было сломано бедро, так это из-за свирепого быка, а не из-за чертовой тайной полиции.

— Я бы перенес тебя в то время, если б мог, — сказал Ди-Джей.

Сун-О в последний раз взглянул на север.

— Чепуха, — сказал он и еще раз хлопнул Ди-Джея по спине.

Мина позволила Ди-Джею послушать, как она играет на станциях "Апгуджон", "Оксу" и "Джимху". Они переезжали со станции на станцию по оранжевой ветке, ведущей к Дэва. Мина, играя, закрывала глаза, и Ди-Джей смотрел, как она отклоняется назад, растягивая меха, как ее правая рука легко двигается над клавиатурой, а левая нажимает кнопки и переключает регистры. В тот день она выбирала менее патриотические мелодии. Когда на станции "Йаксу" Мина играла "Хвипарам", кто-то невидимый свистнул из глубины тоннеля. Заслушавшись песней "Мост-радуга" подошла женщина, которая когда-то бежала из Хэманга, а теперь держала лоток на рынке, где торговали приготовленным по-северокорейски тофу[2]. После песни "Банджап сумнида"[3] подошел парень из Нампо, продававший нейнгмаин[4] с небольшой тележки.

— Вы новенькие, сразу видно, — сказал он и бросил несколько вон в футляр аккордеона. — Потерпите, и Сеул станет кормить и вас тоже.

Он ушел, и они посмеялись его словам.

1. Корейская династия, правившая с 918 г.
2. Соевый творог.
3. "Счастлива видеть вас" (*кор.*).
4. Корейская лапша с приправами.

Станция “Дунгук”, как оказалось, находилась под церковью, одетой в голубое стекло, которая как бы парила над городом. Здесь, когда прихожане после проповеди расходились к поездам, Мина, аккомпанируя себе на аккордеоне, спела “Жду его”. Народ собрался вокруг, вероятно, не понимая, что тот, о ком она поет, вовсе не их любимый Йезу-Ним. Мина поблагодарила слушателей, и, когда собравшиеся услышали ее акцент, деньги посыпались в футляр.

Толпа разошлась, и Мина в задумчивости сыграла пассаж в разных регистрах.

— На собраниях требуют, чтобы я бросила аккордеон, — сказала она.

Ди-Джей, оставаясь под впечатлением песни, сел на прохладный мраморный пол.

— Ты это серьезно?

— Говорят, я не приму юг, пока моя музыка отдает дань северу.

— Ну а как же муж? — спросил он. — Разве твоя задача — не отыскать его?

— Говорят, будь он здесь, был бы зарегистрирован в Хэноуоне.

Мина перестала работать мехами, так что нажатие на клавиши и кнопки теперь вызывало только тихое постукивание.

— Пусть его не найти, но важно, что ты его искала, ведь верно?

— Может быть, — неуверенно сказала Мина.

— Ты же не можешь перестать играть на аккордеоне, — сказал он. — Это единственное, в чем я уверен. Ведь ты — музыкант. Почему бы не разучить новые песни? А еще лучше — написать свои собственные.

— И о чем, по-твоему, мне следует петь? — спросила Мина, улыбнувшись.

— Ну, может, о женщине, которая ищет своего мужа. Пойдет? И будет искать всегда. Играет на аккордеоне на каждой станции сеульского метро.

— Думаешь, из этого выйдет стоящая песня?

— Шутишь? — сказал Ди-Джей. — С нею попадешь на какой-нибудь из здешних конкурсов. Прекрасная женщина после отчаянной попытки бежать из Северной Кореи в поисках любимого человека покоряет чужую страну, играя родные мелодии. Среди зрителей не найдется ни одного, у кого глаза бы ни увлажнились.

Мина снова стала играть.

— Я только сказала, что должна найти мужа, — сказала она. — Но не говорила, что люблю его.

"Не говорила, что люблю его". Ди-Джей мыл посуду в ресторане, и эти слова повторялись у него в мозгу всю смену. Вода была обжигающе горяча. Жар вливался в его кисти, заставлял сосредоточиться. Решетки с тарелками не иссякали. О них Ди-Джею думать не приходилось — грязные тарелки в облаках пара сами ехали к нему, и в голове снова и снова повторялись слова Мины. Другие работавшие в ресторане весь вечер обменивались рассказами об ухаживании за девицами, танцовщицами из квартала Гэнгнам, о грубых развлечениях в бане. Ди-Джей с удовольствием слушал истории, но сам их никогда не рассказывал. Что бы мог он рассказать о ночных клубах, парнѝх или о женщинах? Кроме того, он в жизни еще не рассказал ни единой истории, тем более — о себе.

Лежа в ту ночь на койке, Ди-Джей рассматривал южнокорейские лотерейные билеты, принесенные Сун-О.

Раньше они подделывали китайские лотерейные билеты, печатали их тысячами и сбывали торговцам по другую сторону границы. Печатный станок был довольно прост, поэтому все билеты, изготовленные с матрицы выигрышных, тоже оказывались выигрышными. Те же, что печатались с других матриц, были обречены на проигрыш.

Ди-Джей заметил, что на него смотрит парень с соседней койки, один из молодых ветеранов.

— Так ты с севера, — сказал ветеран.

— Верно, — сказал Ди-Джей.

— Зашибись, — сказал ветеран. — Поди, всякого повидал. И голод, и промывку мозгов, и дорогого руководителя. Что, все это дерьмо — правда?

— Боюсь, что да, — сказал Ди-Джей.

Ветеран кивнул.

— Так хочешь заняться лотереей? — спросил он, помолчав.

— Интересуюсь, — сказал Ди-Джей и предложил ветерану билет. — Попытаешь счастья?

— Нет, спасибо, — сказал ветеран. — Сколько везения в жизни отмерено, столько отмерено.

Ди-Джей кивнул. Было уже поздно. Вокруг слышались щелчки выключаемых ламп и закрываемых металлических шкафчиков. Он повернулся, чтобы выключить свою лампу, и тут ветеран заговорил.

— Знаешь, кто без ума от лотереи? Малайцы. Все наши поставщики были малайцы. В Ираке, я хочу сказать. Мусульмане, но, по-моему, дружелюбные, они нашу базу снабжали. Кажется, только об этом в жизни и думали. А придет пятница —

вокруг базы целая туча выброшенных лотерейных билетов носится на ветру, — ветеран бросил Ди-Джею монету.

— Это зачем? — удивился Ди-Джей.

— Номера открывать. Ведь надо поскоблить, верно? Так вот ею и скобли.

Ди-Джей повернулся на бок, чтобы ветеран мог видеть. На билете цифры были выведены в три колонки, и в каждой требовалось соскоблить по одному изображению драгоценного камня. Ди-Джей выбрал алмаз, сапфир и еще раз сапфир.

— И каков приговор? — спросил ветеран.

— Я проиграл.

— Поверь мне, — сказал ветеран, — я тебе дело говорю. Не растрачивай свое везение понапрасну. Когда я был там, все шло наперекосяк. Господи, я только и мечтал, чтобы оттуда выбраться. Мы в боевых действиях не участвовали. Только американцы. Но все у тебя на пути могло взорваться — машина, контейнер для мусора и сам мусор. И уж это дерьмо взрывалось! Я своими глазами видел. Приходилось принимать таблетки, иначе не уснуть. Забавно: теперь все думаю об Ираке, только о нем и думаю. Закрою глаза, только его и вижу.

Ди-Джей рассматривал проигравший билет. Соскоблил виниловую пленку, нанесенную на остальные поля, и увидел, что южнокорейские билеты отличаются от привычных. Если бы он выбрал алмаз, сапфир и изумруд, выиграл бы двадцать тысяч вон. Каждый билет мог выиграть при правильном выборе, то есть выборе, продиктованном судьбой владельца, а не чей-нибудь еще.

На следующий день Ди-Джей встретился с Миной у своего общежития. Накануне договорились, что она будет играть на станциях черной ветки, постепенно переезжая к Онсу, но теперь оказалось, что она не спешит. Мина села на скамью для курильщиков, положив аккордеон в футляре себе на колени.

— Что за люди здесь ночуют? — спросила она. — Мошенники? Они скрываются?

Ди-Джей ожидал таких вопросов.

— По-моему, это просто ребята, у которых сложности в жизни, — сказал он.

— По-твоему, человек может исправиться? — спросила она. — Может он изменить свою природу?

Ди-Джей прислонился к павильону автобусной остановки.

— Это два разных вопроса, — сказал он.

— Вот в таком заведении мог бы остановиться мой муж, — сказала Мина, глядя на вход в общежитие. Оттуда вышли двое осунувшихся людей и поморщились от холода. — В детстве я

считалась способной постоять за себя. Если у меня отбирали еду, я платила тем же, да еще с добавкой. Все знали, что меня злить не стоит — такая была у меня репутация. Когда мой муж уходил, люди покачивали головами. Когда он исчез с нашими сбережениями, цокали языками и говорили: "Бедняга. Мина будет охотиться за ним до конца дней своих". Вот такая я.

— Да?

— Забавно, меня тут никто не знает. А я вовсе не обязательно должна быть такой, какой меня представляют.

— Тогда перестань его искать. И играть на аккордеоне в метро.

— Но кем же я тогда буду? — спросила она.

У Ди-Джея на этот вопрос ответа не нашлось.

Послышались сигналы автомобиля и крики. Они обернулись и увидели медленно приближавшийся черный седан "БМВ". Он ехал по улице с односторонним движением в запрещенном направлении, и водитель кричал на всех стоявших на пути. Машина подъехала, за рулем сидел Сун-О. Водитель другого автомобиля остановился прямо перед "БМВ" и в растерянности поднял руки. Сун-О навалился на кнопку звукового сигнала и левой рукой бросил пригоршню куриных костей ему на капот.

Ди-Джей подошел к седану.

— Тебе жить надоело?

— Нет, — сказал Сун-О. — Время обедать, — и он поднял бумажное ведерко с курицей, жаренной по-кентуккийски.

— Но сегодня не день жареного, не пятница, — сказал Ди-Джей.

— Скажи это ветру, сегодня он северный. Садитесь, пока он не передумал.

Задние сиденья были заняты воздушными шарами, поэтому Мина с Ди-Джеем и аккордеоном втиснулись на переднее. Сун-О включил сцепление и двинулся навстречу потоку автомобилей. Прижатый к нему Ди-Джей обратил внимание на новое пальто Сун-О.

— Похоже, кто-то прошелся по магазинам, — сказал Ди-Джей.

— Одна сексуальная мамаша из Гэнгнама сводила меня в Шилла, там товар не облагается налоговой пошлиной. Я после этого еще не пришел в себя. К тому же эти дамочки по-прежнему отдают мне свои старые "самсунги", — сказал Сун-О, вручая Ди-Джею и Мине по телефону.

— И что мне с ним делать? — спросил Ди-Джей.

— Я все тебе объяснять должен? — сказал Сун-О.

— Вот, обзавелся "самсунгом", теперь ты просто обречен стать хорошим перебежчиком. Гарантированно получаешь

гражданство. Немедленно. Потом правительство дарит тебе "хёндаи", флаг и Библию.

Ди-Джей поднял руки.

— Кто нассал тебе в овсянку? — спросил он.

— С "самсунгом" можешь обновлять личные данные на сайте "Любовь с первого взгляда" и получать тексты от самого Йезу-Нима. С таким благословением станешь важным южнокорейским бизнесменом и станешь интернет-провайдером. Наконец, обретешь статус перебежчика-знаменитости. Да, откроешь собственное шоу "Час D7". Будешь вести душевные интервью с такими же прекрасными перебежчиками, как присутствующая здесь Мина.

Мина покачала головой.

— Понимаешь, почему я приняла его за твоего отца?

— Ну да, легко смеяться над стариком Сун-О, но настанет день, когда он потребуется. Помнишь тот день, Ди-Джей? День, когда я тебе потребовался.

Повернув направо, Сун-О встроился в поток транспорта, двигавшегося в разрешенном направлении ко въезду на шоссе, ведущему на север.

— Не забыл, — сказал Ди-Джей.

— Что это за день? — спросила Мина.

— О, это очень занятная история, — сказал Сун-О. — У Ди-Джея она лучше получается, верно?

Ди-Джей посмотрел на Мину.

— Давай, — сказала она.

— Начинается все с человека по имени Чен Ир, — начал Ди-Джей.

— Я, кстати, никогда не встречался с этим Чен Иром, — заметил Сун-О. — Не знаю даже, существует ли он на самом деле.

— Мы с Чен Иром вместе учились на инженеров, — продолжал Ди-Джей. — Его отец был очень хитер. Назвал своего сына так же, как Ким Ир Сен своего, и поэтому никто не мог обидеть человека, носящего то же имя, что и дорогой руководитель. Чен Ир был умен, и мы с ним соревновались. Одну неделю я был лучшим студентом, другую — Чен Ир. Мы постоянно боролись за звание лучшего студента, всегда старались превзойти друг друга. Но было между нами также и уважение. Если я узнавал про неожиданно назначенный экзамен, я говорил Чен Иру, то же делал и он. В конце концов, я закончил учебу лучшим.

— Можно подумать, что у истории будет счастливый конец, — сказал Сун-О. — Разумеется, все кончится просто чудесно.

— И вот Чен Ир оказывается в Вонсэне, изготавливает поддельные лекарственные препараты. Делать таблетки просто: берется слабительный порошок, а машина придает ему форму

и цвет. В лаборатории с Чен Иром работал Мэн-Суокей, тоже учился с нами, он делал настоящие лекарства, вроде экстази. Главное в поддельной фармацевтике — упаковка, поэтому Чен Ир пользовался моим печатным станком для изготовления четырехцветных ярлыков и фольги с "карманами" для таблеток.

— Твоим станком? — спросила Мина.

— Это долгая история, — сказал Ди-Джей. — И вот однажды Чен Ир позвонил мне и говорит, что произошла ошибка. По его словам, что-то перепутали, и какое-то нехорошее лекарство направили не в Китай, а в Пхеньян, и люди в столице заболели. Будто бы полетели головы, и команды Мэн-Суокея больше нет. Будто бы за ним, Чен Иром, тоже уже приехали на грузовике. Уже подъезжают к дому. Беги, говорит мне Чен Ир, и на этом линия разъединяется.

— Дунгджу сообщает мне об этом? — спрашивает Сун-О Мину. — Разумеется, нет. Он приходит ко мне и велит отключить напряжение, отправить всех по домам, сгрести все лотерейные билеты и подогнать машину. Дунгджу знает и дизайн, и бухгалтерию, и спецификацию, и все такое. Я знаю людей. Я с ними дело имею. Я знаю, когда кто-то лжет. Я бы сразу узнал, что это подстава. Сначала путаница в производстве, затем бардак в логистике? Эти люди ничего не путают. Кто станет управлять производством, когда мы внезапно перебежим? Чен Ир, вот кто.

— Бардак случается, — сказал Ди-Джей. — Мы его сами организуем. Как насчет поезда с "лексусами"? Как насчет "Безумия маджонг"[1]? Забыл, как сжег десять тысяч билетов?

— И вот едем мы на север к границе, — сказал Сун-О, — прямо, как сейчас. "Быстрей" — это единственное слово только и твердит мне Дунгджу. И ничего больше.

— Только об этом я и думал, — сказал Ди-Джей. — Родители, сотрудники, их семьи. Идея бежать была странной мечтой — возможной и невозможной одновременно. И только когда подъехали к границе, она стала реальностью. Только тогда я подумал, что не могу там оставить Сун-О.

— Признай правду, — сказал Сун-О. — Ты думал, что Сун-О часто пересекает границу и знает пограничников. А сам ты никогда не пересекал.

— Я думал: вот стану свободным, а ты — нет. Как-то некрасиво после стольких лет дружбы.

— Ты никогда не видел заграницы. Не знал ни единого человека в Китае. Не знал ничего о реальном мире. Ты боялся.

— Я боялся, что меня убьют.

1. Японский фильм 1967 г., а также компьютерная игра.

Некоторое время Сун-О вел машину молча. Слышно было только, как ветер шевелит шарики на заднем сиденье.

— И он не говорит мне, что мы собираемся перебежать. Ты можешь в такое поверить? Я понятия не имел, что мы навсегда покидаем родину. Не мог ни с кем попрощаться, не мог повидать Иву или хотя бы услышать напоследок ее голос.

— Кто это — Ива? — спросила Мина.

— Почему бы тебе не сказать Мине, что́ ты сказал тому пограничнику? — сказал Сун-О.

— То была ошибка, — сказал Ди-Джей. — Я никогда этого не отрицал.

— Мы были на мосту, — сказал Сун-О, обращаясь к Мине. — По ту сторону начинался Китай. Я проезжал по этому мосту раз в месяц, отвозил лотерейные билеты и подписывал договоры о поставках автомобилей. И вот я, как обычно, раздаю всем сигареты, и тут Дунгджу опускает заднее стекло и говорит: "Мы больше не увидимся". Пограничнику. Пограничник говорит: "Что?" А Дунгджу говорит: "А вы тут все перемрете". У пограничника на лице появляется такое серьезное выражение и, едва он кладет руку на кобуру, я жму на газ. Вот поэтому я не мог просто оставить Дунгджу в Китае и раздать еще сигарет по возвращении.

— Я сказал это грустно, — заметил Ди-Джей. — Думал: никогда больше не увижу эти холмы, не увижу Чанджин, своих родителей. А этот пограничник был совсем мальчишка, ему и девятнадцати не исполнилось. Сказал в точности то, что думал, что мы уезжаем, а они там все погибнут.

— И что было дальше? — спросила Мина.

— Что было? — рявкнул Сун-О. — То и было. Мы застряли в Южной Корее! — Мина отпрянула, увидев его гнев. — Я хочу сказать, это что, была шутка? Что стало с твоим бизнесом? Кто теперь его возглавляет? Чен Ир, вот кто!

Ди-Джей смотрел в окно на пригороды, на серые дома с синими крышами.

— Этого мы не знаем, — сказал он.

— Зато я знаю, — сказал Сун-О и повторил сквозь зубы: — Я знаю.

Хмурые облака нависли над автомобильной стоянкой демилитаризованной зоны, низкие, серые, они упорно ползли на север. Сун-О остановил машину за четырьмя стоящими в ряд автобусами. С заднего сидения вытащил серебряные шарики с разнообразными надписями-поздравлениями с днем рождения. Несмотря на холод, Сун-О снял новую куртку и привязал к ней шары.

— В прошлый раз моя ошибка заключалась в том, что я запустил шары с места, где патрулируют пограничники. Этой

куртке предстоит долгий путь, так что лишний километр погоды не сделает.

Ди-Джей смотрел, как шарики дергаются на ветру, порываясь доставить свой легковесный груз. Он представлял себе, как прежде бургер, а теперь и куртка полетят к полевому рабочему. Ветер дул на север, так что лететь предстояло через Пэнманджом[1] и город Гаэсонг по направлению к Пхеньяну. В воображении Ди-Джея шарики должны были прилететь прямо к его родителям в Потонганге. Он представлял себе груз, подлетевший уже совсем близко к родителям, стоящим с распростертыми объятиями на балконе лицом на юг, и вот уже с высоты видны выражения их лиц, и то, как они постарели — и тут вдруг воображение отказалось служить ему, и уже не было ничего.

Мина указала на противоположную сторону стоянки.

— Что это там?

Ди-Джей посмотрел в ту сторону, куда указывала Мина. Мимо автобусов проходила группа людей, окружая несколько вытянутых прозрачных баллонов, каждый из которых достигал высоты двух-трехэтажного дома. В группе были видны видеокамеры и микрофон на длинном кронштейне.

— Наверняка одна из этих перебежчиц-знаменитостей, — сказал Сун-О. — Большие глаза, печальная история, вышла рассказать миру, как сильно мы страдаем.

Они подошли ближе и увидели, что все толпились вокруг перебежчика-мужчины примерно того же возраста, что и Ди-Джей, и ростом с Сун-О. Он был в костюме, сиял улыбкой, к груди приколота карточка с именем Сио. Он же руководил заполнением баллонов гелием и загрузкой в привязанные к ним корзины огромного количества листовок.

Сио подошел к Сун-О и вручил ему листовку. В ней говорилось, что Ким Чен Ын — военный преступник, далее приводились цитаты из отчета ООН.

— Ты с севера, сразу видно, — сказал Сио. — Помоги нам распространять эти сведения.

Сун-О отдал листовку обратно.

— Что, по-твоему, с этим делать? На севере холодно. Если не положите спички, толку от вашей посылки не будет.

— Ты ошибаешься, — сказал Сио. — Мы должны распространять такие сведения.

— Они и так знают, что страдают, и нет нужды напоминать, что режим плох.

1. Деревня в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореями.

— Знают? — спросил Сио. — Скажу тебе по секрету, это я подозревал. Но не мог знать наверняка. Если бы мне попалась листовка, посланная с юга неравнодушными людьми, мои подозрения подтвердились бы. Возможно, я скорее бы начал действовать.

— Это куртка, — сказал Сун-О. — Куртка зимой — хорошая посылка. Она легкая, на пуху. Послушай, тут говорится, что "Норт-Фейс"[1] уже здесь, что "Норт-Фейс" — лучшая компания. В этом кармане калорийные батончики. — Сун-О раскрыл карман, в котором лежали два телефона фирмы "Самсунг". — И еще тут карта. — Сун-О расстегнул другой карман и вынул несколько билетов "Фортуна улыбается".

— Лотерейные билеты? — спросил Сио.

Сун-О в отчаянии посмотрел на куртку сверху вниз.

— Карты в другом кармане, — сказал он.

— Не хочу тебя обидеть, — сказал Сио, — но ты посылаешь угнетенным людям авторскую куртку и возможность испытать судьбу? Но им нужна правда.

— Я не верю в судьбу, — сказал Сун-О. — Все эти билеты — выигрышные.

— Откуда ты знаешь?

Сун-О ничего не ответил и только скрипнул зубами.

— Ким Чен Ына обвиняют в нарушении прав человека, — сказал Сио. — ООН заявляет об этом официально. Самая важная наша работа — распространять эти сведения. А ты прежде всего освободи сознание. Тогда освободится и тело.

— Спасибо за философию, — сказал Сун-О. — Проведем мысленный эксперимент? Отпустим шары одновременно и представим людей в полях, которые заметят их приближение. Один шар — с брошюрами, другой принесет теплый пуховик с едой, сотовыми телефонами и выигрышными лотерейными билетами. Представь, к какому из шаров побегут крестьяне?

— Невозможно запустить твой шар одновременно с моим.

— Отчего же? Боишься узнать правду?

— Какое сегодня число? — спросил Сио.

— Тринадцатое февраля, — сказал Сун-О. — И ты родился в Северной Корее?

— Ага, — сказал Сио, взглянув с подозрением. — А кто родился шестнадцатого февраля?

— Ким Чен Ир, — сказал Сун-О и поморщился.

— А что написано на твоих шарах? — Сун-О не смог заставить себя дать ответ.

1. Американская компания, производящая снаряжение для туризма, в частности куртки.

— Я пытаюсь посылать сообщения, несущие истину и укрепляющие солидарность, — сказал Сио. — А ты, как видно, посылаешь подарки и пожелания в честь дорогого руководителя.

— Так может кому-то показаться, — сказал Сун-О и выпустил из рук куртку. Ветер подхватил ее вместе с шарами и быстро понес на север. Затем Сун-О подошел с Сио, и оба оказались в облаке пара, образованного дыханием. — Есть вести о правде и солидарности, которыми ты можешь поделиться со мной, — сказал Сун-О. — Скажи, где достать такие огромные баллоны?

Через два дня вечером зазвонил сотовый телефон, подаренный Сун-О Ди-Джею. Тот сел на койке. Вокруг храпели спящие. Слабый свет ночного города сочился в окна, оборудованные системой сигнализации. Ди-Джея не оставляло странное чувство, будто он проснулся на севере. Какое-то время ему казалось, что за металлическими койками и бетонными стенами комнаты стоят стальные скелеты заброшенных фабрик, а далее — ледяное спокойствие озаренного луной Японского моря. Просыпаясь так в Чанджине, он пил воду, настоенную на приставшем ко дну кастрюли рисе[1], и смотрел в окно на выстроенные рядами машины, над которыми им предстояло работать, машины, некогда принадлежавшие людям, жизнь которых он пытался себе представить.

Телефон дребезжал у него в руке. Ди-Джей натянул на него колючее шерстяное одеяло и под ним прикоснулся к экрану.

— Да, — прошептал он.

— Говорит помощник инспектора Канг из участка "Самсунг". У нас задержанный не желает назвать свое имя. Ваш номер — единственный у него в телефоне.

— Что он натворил?

— Тут сказано, его взяли за нарушение уличного движения, — сказал Канг. — Похоже, кричал на водителей за то, что они останавливались на красный свет. Наверно, алкоголик.

— Я его знаю, — сказал Ди-Джей. — Сейчас буду.

До участка надо было ехать по зеленой ветке метро, Ди-Джей добрался быстро. Полиция действовала эффективно, но полномочий не превышала. Один из сотрудников провел Ди-Джея мимо кулера в коридор, куда выходили двери отдельных камер.

1. После приготовления на дне кастрюли может оставаться корка приставшего к нему риса. Эта корка с давних пор считается целебной и помогающей, например, от тошноты, ее либо едят, либо заливают кипятком и настаивают, как чай.

Тут-то он и обнаружил Сун-О, лежавшего с открытыми глазами на металлической скамье. Ди-Джей сел на пол, заглянул в глаза другу и увидел усталое спокойствие, наводившее на мысль, что Сун-О подрался с полицией и что этот ничего не выражающий взгляд — следствие того, что ему пришлось сдаться, хоть и далеко не сразу.

— Это правда, друг мой, что ты выпил?

Сун-О покачал головой.

— Пойдем, мне разрешат забрать тебя домой.

— Я проведу ночь здесь, — сказал Сун-О. — Мне и тут неплохо. Тепло, и можно вытянуться.

— Что, на металлической скамье в камере?

— Хочу попросить тебя об одолжении, — сказал Сун-О. — Сделаешь?

— Что за одолжение?

— Зачем спрашиваешь? Забыл все, что я для тебя сделал? Не помнишь Наджин? А товарища Сока? Забыл первомайскую поставку?

— Я твою задницу тоже не раз спасал, — сказал Ди-Джей. — Из-за своего характера постоянно попадаешь в передряги.

— Просто приходи завтра вечером к "Гэнгнам"[1], ладно? Придешь на собрание, все поймешь. Все сразу приобретет смысл. Я — в самом высоком здании в Досен-дерау возле Сеоланг-ро. Встречу тебя на улице сразу после заката, прямо возле него.

— Тут что-то не так, — подумал Ди-Джей, но кивнул. — Тебе все-таки придется кое-что сделать для меня, — сказал он вслух. — Дай этому участку шанс. Я понимаю, требуется время, чтобы привыкнуть, я знаю. Но сегодня я видел автобусную остановку для пожилых женщин. У автобуса есть гидравлика или что-то такое, что позволяет ему наклониться так низко, что можно войти без труда. Такого у нас на родине быть не может. У нас никогда не создадут машину, которая бы кланялась человеку.

Но Сун-О не слушал.

— И свою новую подружку тоже приводи, — сказал он. — Послушать аккордеон никогда не вредно — поверь мне, дамам из Гэнгнама очень понравится.

— Она мне не подружка, — сказал Ди-Джей. — У нее муж есть.

Сун-О хмыкнул.

— Был муж. Все, что было на севере, прошло. Это и к нам относится. Твои родители, о которых ты не можешь говорить, — и их тоже нет. Всего, что было у меня, чем был я, ни-

1. Вероятно, имеется в виду станция метро в правительственном квартале.

чего этого здесь более не существует. — Сун-О повернулся на бок, лицом к стене. — А теперь иди, — сказал он.

— Не могу же я оставить тебя в участке.

— Не можешь? Почему?

— Это получается, что я тебя тут бросаю.

Сун-О посмотрел через плечо и впервые улыбнулся.

— Ты это слово произносишь так, как будто это что-то дурное.

На следующий вечер Ди-Джей сделал, как обещал. С наступлением сумерек они с Миной пришли в Апгуджонг[1] в Гэнгнэме. Здесь "Шинсыги" горел золотым и пурпурным светом, а Лакшери-Холл[2] куда-то стремился, переливаясь разными цветами. Были здесь и магазины, одетые в металлические доспехи, и магазины, чьи цветные черепицы спускались по стенам и разливались по улице. В одной витрине они увидели розового плюшевого медведя с алмазами вместо глаз. В другой — маленькие кексы, покрытые чешуйками золота. Не требовалось быть северным корейцем, чтобы знать о целых семьях, которые возвышались или исчезали из-за сумм, меньших, чем цены усыпанной драгоценными камнями бейсбольной кепки.

Мина достала аккордеон и, пока они шли вдоль витрин, обнаружила склонность к черному юмору и сыграла "Оставаться на вечеринке до конца".

На Досане возле "Сеоланг-ро"[3] их окликнул Сун-О.

— Идите сюда, друзья мои, сюда, — кричал он. Они подошли, и Мина сыграла несколько тактов из песни "Нигде без тебя".

— Так где будет это собрание? — спросила она.

Ди-Джей разглядывал куртку Сун-О фирмы "Норт-Фейс".

— Разве ты не эту отправил на север?

— У меня была еще одна такая же, — улыбнулся Сун-О.

Ди-Джей посмотрел на сверкающую огнями башню.

— Это здесь ты живешь?

Сун-О тоже с восторгом стал смотреть на здание.

— Хороша, а? — Он достал карточку-ключ и отпер зеркальные двери подъезда. Но вместо того чтобы направиться к лифтам, пошел к пожарной лестнице. Здесь он взялся за перила обеими руками и, качая на весу больной ногой, спрыгнул здоровой на следующую ступеньку. Ди-Джей и Мина спустились за ним на два пролета и оказались в бетонном коридоре, предна-

1. Административная часть района.
2. Универсальные магазины.
3. Название ресторана на улице или площади Досана, названные по имени писателя.

значенном для коммуникаций — тут располагались панели распределения, краны пожарных гидрантов и грузовой лифт. Сун-О своей карточкой открыл крошечную каморку, где пахло обертками от пищи из ресторанов быстрого питания и грязной одеждой. Почти всю ее занимал отлитый из пластика стул, на котором стоял черный рюкзак. С потолка свисали пластиковые пакеты и кувшины с водой, рядом со стулом оставалось место для единственной стопки картонных коробок.



Сун-О вытащил из коробки и переложил себе в карманы два сотовых телефона.

— Что это? — спросил Ди-Джей. — Какой-то склад?

Сун-О выложил два грязных ремня от автомобильного вентилятора.

— Ничто, — сказал он, — так хорошо не переносит нагрузку, как ремень автомобильного вентилятора фирмы “Тойота”.

Мина, молча, осмотрела каморку.

— Ты ведь живешь не здесь, — сказала она.

Сун-О надел рюкзак и повернулся к Ди-Джею.

— Жаль, у меня тут только один стул, — сказал Сун-О, глядя со странной серьезностью в глаза другу. — Могу добыть еще один, если хочешь. Хочешь, чтобы я достал еще стул?

Ди-Джей не знал, что сказать.

— На собрании стульев не хватает или как?

Сун-О, не отвечая, схватил стул, закрыл дверь, но Ди-Джей успел мельком увидеть, что́ находилось в каморке под стулом: кувшин для воды, заполненный чем-то похожим на мочу.

— Каким бы мог быть ответ на вопрос Мины, — подумал он. — Может ли человек жить в чулане? Может спать сидя?

Ди-Джей и Мина переглянулись. Сун-О со стулом уже шел по коридору к служебному лифту и, подойдя, нажал кнопку.

— Сколько ты уже в этом здании? — спросил Ди-Джей.

— Местоположение эксклюзивное, — сказал Сун-О.

Двери лифта открылись и все трое вошли. Сун-О провел карточкой перед панелью управления и нажал кнопку “крыша”. Тихие звуки отмечали этажи, мимо которых лифт проносился без остановки.

— Так собрание на крыше? — спросил Ди-Джей.

Сун-О отдал ему карточку.

— С нею сможете выйти из здания, — сказал он. На карточке значились чье-то имя и номер квартиры.

На крыше было темно и ветрено.

— Не понимаю, — сказал Ди-Джей.

— Нет никакого собрания, — сказала Мина.

— Думаете, хожу на промывание мозгов?

— А как же дамы из Гэнгнама? — спросил Ди-Джей. — Они существуют?

— Я бы никогда не предал Иву.

Ди-Джей вышел на крышу. Вар под ногами был мягок. Мимо пронеслись обрывки облака, отражающие свет транспортных потоков и рекламы. За парапетом небо мерцало янтарем. Далее тянулась темной веревкой река Хэн.

Когда глаза привыкли к слабому освещению, Ди-Джей обратил внимание на два металлических баллона с гелием.

Сун-О сразу стал прикреплять пластиковый стул веревкой к какой-то трубе, потом рымным узлом привязал ремни автомобильного вентилятора себе к предплечьям и стал заполнять высокий прозрачный баллон гелием.

Мина не могла поверить своим глазам и повернулась к Ди-Джею.

— Ты ведь его остановишь?

Это был хороший вопрос.

— Ты в самом деле решил? — спросил Ди-Джей. — Допустим, ты не умрешь от холода, нехватки кислорода и от удара в момент приземления. Тебе не кажется, что тебя убьют?

— Предателей, — сказал Сун-О. — Вот кого они убивают. Не героев.

— Не можешь же ты действительно в это верить. Убивают, кого захотят.

— Хорошо, тут я с тобой спорить не буду, — сказал Сун-О. — Но ты не должен за меня волноваться. — Он отвязал плетеный шнур первого баллона и привязал его к вентиляторному ремню. Стул приподнялся “на цыпочки”, удерживаемый теперь лишь одной веревкой. Сун-О стал заполнять второй высокий баллон, который нагнулся и бился на ветру. Шипел газ.

— Ива настолько моложе тебя, — сказал Ди-Джей.

Сун-О не ответил.

— Вы же еще почти не разговаривали друг с другом.

— Знаешь “Ариран”[1]? — спросил Сун-О, обращаясь к Мине. — Сыграешь?

Изумленная Мина открыла футляр, взяла аккордеон и нажатием кнопок извлекла первые медленные аккорды, затем на клавиатуре заиграла старинную мелодию.

— Да, прекрасно... — сказал Сун-О, привязывая к вентиляторному ремню второй шар. — Дунгджу говорил, ты талантлива. Знаешь, эта песня времен династии Джозиен? Шестьсот

1. Название перевала.

лет, вот сколько поет ее наш народ. Знаешь слова? Споешь для меня?

— Ариран, — запела Мина, — Ариран, Арарио.

Сун-О подкатил металлический баллон и привязал к нему стул. Потом сел и, положив рюкзак на колени, стал заполнять гелием следующий баллон.

— Послушай, я же тебе дело говорю, — сказал Ди-Джей. — Отец Ивы — член партии. Всякий, за кого выйдет его дочь, должен будет вступить в партию. Иначе и быть не может.

Сун-О, сидя на пластиковом стуле, взглянул на него снизу вверх.

— Не веришь, что можно начать новую жизнь? — спросил он. — Где же твое видение возможного? — И чтобы показать, что разговор на эту тему окончен, Сун-О стал подпевать Мине. Их дуэт сопровождали аккордеон и шипение гелия. Ди-Джей сердито посмотрел на надутые балонны, которые крутились и дергались на ветру.

Шесть баллонов заполнились гелием, и стало видно, что они легко могут поднять стул вместе с человеком.

Сун-О перевел свои большие печальные глаза на Ди-Джея.

— Тысячу ри[1] за один шаг, — сказал он. Так начинался пропагандистский лозунг, который их всех заставляли повторять по тысяче раз.

— Зачем тебе лететь в темноте? — спросил Ди-Джей.

— Свет, тьма — какая разница? — ответил Сун-О. — Никакой. Не хочу расставаться с вами. Вы — все, что у меня осталось, — сказал он и кивнул. — Взгляни на дело так: я — то, что у тебя было на севере, ты — то, что у меня на юге. Мы всегда будем такими друг для друга, всегда одной командой.

Ди-Джей покачал головой.

— Просто не могу поверить. Ты этого не сделаешь.

— Оставь, — сказал Сун-О. — Тысячу ри за один шаг...

Ди-Джей молчал.

— Тысячу ри за один шаг...

— ...пролетает крылатый конь Чолима, — наконец закончил лозунг Ди-Джей.

Сун-О широко улыбнулся и развязал узел, удерживавший пластиковый стул. Но тот не поднялся в небо. Ножки заскрежетали по крыше, стул стал двигаться к парапету со все большей скоростью, и, наконец, налетел на него. Баллоны бешено забились на ветру.

Ди-Джей подбежал и схватился за стул.

1. Деревня или административная единица.

— Разобьешься, — сказал он. — Ты даже с крыши улететь не можешь, не то, что в Северную Корею.

— Нелепая ошибка, — улыбнулся Сун-О. — Я просто забыл отдать тебе вот это, — он поднял рюкзак и протянул его Ди-Джею. Тот уже потянулся к рюкзаку.

— Не надо ездить на пароме, — сказал вдруг Сун-О, пристально вглядываясь своими большими глазами в лицо Ди-Джея. — Будешь играть по их правилам, станешь одним из них.

Ди-Джей взял тяжелый рюкзак, и Сун-О тотчас взмыл ввысь, бешено вращаясь и раскачиваясь под баллонами. Вскоре он исчез из виду.

В тяжелом рюкзаке позвякивало что-то металлическое. Не было нужды заглядывать внутрь, чтобы понять, что это каталитические конверторы. Ди-Джей продолжал смотреть на место в небе, где только что был виден Сун-О. Сун-О хотел невозможного: нельзя перенестись на тысячу лет в прошлое. Вероятно, ближе всего к его цели могла оказаться Северная Корея.

Мина перестала играть. Она закрепила спущенный мех и подошла к Ди-Джею, стоявшему у парапета.

Облака приближались и уплывали. Вскоре небо выглядело уже совсем не таким, в котором исчез Сун-О.

— Такого никогда бы не случилось на севере, — сказала Мина, покачав головой. Она все еще казалась ошеломленной. — Там все по плану. Мухлюют, естественно. Но это, однако... это было... неожиданно, вдруг, но на самом деле.

Ди-Джей обвел взглядом линию горизонта — тысячи, миллионы огней. Потемневшие окна домов по-прежнему выглядели более естественно, чем те, в которых горел свет. Но нигде не было видно ни огонька, который мог бы указать путь.

— Никогда не думала о возвращении? — спросил Ди-Джей.

Они стояли плечом к плечу, глядя на север.

— Обратно? — Мина покачала головой. — Мне все кажется, я только что добралась сюда.

— Да, — сказал Ди-Джей. — И мне тоже.

## *Ураганы безымянные*

НОНК на фургоне Объединенной службы доставки посылок подъезжает к ресторанчику “Чак И. Чизиз” и включает “аварийку”. Последняя работающая башня сотовой связи в городе Лейк-Чарльз штата Луизиана расположена неподалеку, поэтому раза по два в день Нонк заез-

жает сюда проверить, нет ли сообщений. Он оборачивается к сыну, который пристегнут к детскому сиденью, подвешенному на резиновых шнурах с крючками, и пытается забрать у него сотовый телефон. Малышу по имени Джеронимо два с половиной года.

— Глаз, — говорит Джеронимо в телефон. — Глаз.

Это одно из немногих слов, которые он пока знает, и Нонк понятия не имеет, что он им обозначает.

— Махнемся? — говорит Нонк, поднимая стакан с крышечкой и носиком. В стаканчике какао. — На гла-гла?

У Джеронимо припухлые детские глазенки, белые бугристые зубки и загар — лучше б его не было.

— Глаз, — отвечает он и этим ограничивается.

Нонк помахивает у него перед лицом ДИАДом, наладонным компьютером-планшетом, на котором клиенты расписываются в получении посылок. В ДИАДе есть Джи-пи-эс, Вай-Фай, сотовый телефон, блю-тус, хотя большинство этих функций после урагана не более чем названия. Малыш согласен меняться, и Нонк выходит на автостоянку, на которой теперь в шахматном порядке расставлены зеленые и голубые туристические палатки.

Рядом находится ресторанчик сети "Аутбэк стейкхаус" с заколоченными окнами. Здесь толпятся сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям. В центре их лагеря, разбитого в черте города, красуется потемневший кинотеатр сети "Эй-эм-си" с шестнадцатью экранами. Невероятно, но через несколько недель после потери всего имущества люди, по-видимому, имеют его более, чем когда-либо, — и это все та дрянь, от которой при обычных обстоятельствах хотелось бы избавиться: тефлоновые сковороды, старые полотенца, банки из-под кофе со столовым серебром внутри. Как отличить эти тонкие простыни от соседских? Можете отличить ваши пожелтевшие разрозненные коробки для хранения круп среди остальных? Всякого новенького хлама тут целые кучи. Непосредственно у лагеря валяются ярко-пурпурные лари для белья, предназначенного в стирку, отлитые из пластмассы садовые кресла и черная решетка для гриля фирмы "Вебер" — вот что бывает, когда главным вашим поставщиком оказывается магазин "Уолмарт".

Внутри работает пиццерия, народу полно, все загорелые, в одинаковых выданных футболках и тренировочных штанах с отвислыми задами, глаза остекленевшие. Нонк направляется в туалет, но, едва открывает дверь, в нос ему ударяет такой запах, будто тут только что справили большую нужду человек сто, и даже он пятится, хотя буквально на днях сумел

воспользоваться в качестве туалетной бумаги компрессами из набора первой помощи, миниатюрным Новым Заветом и корочкой от пиццы, испеченой в “Чак И. Чизиз”.



Нонк рассовывает по карманам все доступные салфетки и пластиковые ложки, потом проверяет голосовую почту, стараясь не смотреть на окружающих — все они, непонятные, жалкие, сидят целый день в “Чак И. Чизиз”, заведении, которое потому и открыто, что принадлежит христианской организации. Нонк, естественно, не хочет привлекать внимание к тому, что в последнее время его донимали москиты и что плотно прилегавшие солнечные очки оставили на коже на уровне глаз белую полосу, как у енота. Но с прошлого года после выселения из квартиры никто ему бесплатной одежды не выдает, расходы на телефонную связь не возмещает, и шериф продал с аукциона все его пожитки.

Первая эсемеска от его подружки Рел: “411 + XXX”[1].

Затем голосовое сообщение от начальника о ремонтной команде. Доставлять необходимое такой команде — задача непростая, поскольку каждый день ее местоположение меняется, и половину времени ее работники сами не знают, где находятся. Все они из Небраски и Арканзаса и, вызвавшись спасать Новый Орлеан после урагана “Катрина”, вовсе не в восторге от перспективы застрять в Лейк-Чарльзе после урагана “Рита”.

Последнее сообщение — от врача из Лос-Анджелеса об отце Нонка, представителе садовой разновидности мошенников, который на шкале плохих отцов, вероятно, занимал бы место где-нибудь посередине, но благодаря своей способности писать злобные и безжалостные заметки на самоклеющихся листочках был одной из самых избегаемых личностей в Лейк-Чарльзе вплоть до того самого дня, когда угнал у Нонка автомобиль, на котором и уехал из города. Отец лишился голосовых связок, поэтому раз или два в год Нонку звонит человек, которого припахали читать поток записочек на самоклеющихся листочках.

В эсемеске от врача говорилось: “Ваш отец очень плох и вряд ли”.

Отец Нонка и прежде лечился от рака, так что ничего нового доктор, вообще говоря, не сообщил. Тем не менее в чем-то доктор прав. Человек проживает жизнь “и вряд ли может на что-то рассчитывать” — разве не так должно было закончиться сообщение?

1. Вероятно, на языке СМС-сообщений это значит: “есть информация, целую”.

Нонк забирается на детский аттракцион[1], полицейский автобус, управляемый поющей крысой. Отсюда ему видно, что все эвакуированные носят оранжевые браслеты Агентства по чрезвычайным ситуациям и одинаковые дешевые кроссовки белого цвета. Едят целыми днями пиццу, смотрят телик — этим людям действительно досталось: сначала испытали на себе неистовство "Катрины", и их эвакуировали в Лейк-Чарльз только для того, чтобы тут через три недели город накрыла "Рита". Но ураганы уже в прошлом, пора уж избавиться от поноса и прийти в себя. Кто-то должен сказать этим людям, что без кофейных столиков и фотоальбомов им даже лучше. Кому-то придется им сообщить, что квартиры у них были не так уж хороши и что отсутствие вестей от половины родственников, вероятно, тоже к лучшему. Однако, подвести кое-какие невеселые итоги самостоятельно все же придется.

Нонк поднимает руку.

— Знает здесь кто-нибудь Марни Бруссард? — спрашивает он в очередной раз. — Это белая девушка из Трима в Новом Орлеане. Это мать моего мальчика.

Вскоре фургон Нонка, давя обломки, едет по мосту Лейк-Чарльза. Мост делит город надвое и обладает странным свойством — заставляет забыть. Нонк проезжает по нему раз по десять в день — возил запчасти для нефтехимических заводов, драже для казино на речных судах, емкости с креветками в теплоизоляционных пенопластовых контейнерах в аэропорт, — до ураганов он никогда всерьез не задумывался о значении моста. Этим утром доставил оболочки для сосисок на мясокомбинат в Локасине и электробатареи Тейзера в тюрьму "Кэлкашью". Обычно, едва он въезжает на мост, свиной визг в ушах вдруг смолкает, одежда перестает пахнуть пудрой от вшей и тюремной бамией[2]. Он чувствует лишь чистый запах барж с рисом, раскаленной на солнце сланцеватой глины, сложенной из раковин древних устриц, и перед ним открывается вид на размазанный, как масло по куску хлеба, океан, тянущийся на двадцать миль к югу.

Чтобы так же произошло и сейчас, важно не думать лишь об одном: на прошлой неделе женщина из Нового Орлеана столкнула с моста своих детей. Она выстроила малышей друг за дру-

1. "Чак И. Чизиз" рассчитан на посетителей с детьми, поэтому при ресторанах этой сети часто имеются комнаты с разноообразными игровыми автоматами.
2. Однолетнее травянистое растение семейства Мальвовых, овощная культура.

гом, скинула их всех сразу, а когда дело было сделано и пришла пора прыгать самой, струсила. Этот мост видал и других прыгунов — Нонк проезжает мимо почерневших от сажи венков и надписей вроде "Мы так скучаем", написанных аэрозольной краской на дорожном ограждении. Нонка донимает мысль, что родители отчуждаются от детей медленно, понемногу, на протяжении всей юности. Уж ты — отрезанный ломоть, а родители все звонят, напоминая о себе. Поэтому идея сбросить детей одним движением для Нонка обескураживающе нова, и он точно знает, как это будет обставлено: станут во всем винить ураган, женщину-детоубийцу поместят на год в "дом на полпути"[1], а затем она переедет в Вегас или куда-нибудь еще в этом роде и будет питаться говяжьей корейкой по доллару девяносто девять.

Нонк съезжает с моста и сворачивает на Лейк-стрит. Тут стоят шикарные дома с длинными причалами и домиками для лодок. Поскольку богатые все еще наслаждаются жизнью там, куда их эвакуировали, в этой части города работа коммуникаций будет восстановлена в последнюю очередь. Распиленные стволы упавших дубов, похожие на покрышки, перекатили в придорожную канаву. Фургон Нонка едет по кирпичному крошеву, образовавшемуся от упавших каминных труб, заставляя подпрыгивать желтый проигрыватель компакт-дисков Джеронимо.

— Гроу-гроу, — кричит малыш.

— Потише, ястребок ты мой, — говорит Нонк, продвигаясь по списку песен на компакт-диске. — Тут Эрни и Берт поют "Пространство для движения", потом идет "Бэтти-Бэт" в исполнении марионетки Дракулы. — И он прибавляет громкость, когда Гровер начинает петь песенку про алфавит[2].

Примерно через неделю до него дойдет, что малыш пытался сказать "Гровер".

Нонк стал "опекать" малыша на следующий день после "Катрины". Жителей Нового Орлеана эвакуировали, туда караваном въезжали автобусы, а город уже был во власти сброда с буровых вышек, стоящих в море. Нонк доставил в город груз Агентства по чрезвычайным ситуациям и должен был бродить по колено в воде по автостоянке казино среди тысяч людей в поисках единственного человека при галстуке. Вернувшись к своему фургону, Нонк обнаружил там Джеронимо вместе с проигрывателем компакт-дисков и сумкой с одеждой.

1. Учреждение для реабилитации отбывших наказание заключенных, вылечившихся наркоманов, алкоголиков, психически больных и т. п.
2. Перечисляются персонажи детского телевизионного сериала "Улица Сезам".

Марни даже записки не оставила. Надо ребенку чистить зубы или нет? Что делать, если он всю ночь не спит, а таращится в крышу фургона? Нонк многое бы отдал за подсказку. Что в репертуаре малыша означает слово “бвей”? А инициалы М и О? Нонк перебрал десятка два слов: “назад”, “кровать”, “беспорядок”, “сломана” — и так далее. “Гла-гла” — какао. Требуя помощи, Джеронимо говорит “ап, ап”. И потом этот “глаз”, слово, которое ребенок произносит вполне отчетливо — зачем? Для чего, черт возьми?

Рел научила малыша обниматься и целоваться. Можно сказать: “Малыш, поцелуй фургон”, и, хоть и видно, что ему не хочется, он подойдет, как робот, и приложится губами к пыльному бамперу. Рел говорит: “Малыш, обними табурет”, и довольна до полусмерти, до того ей это кажется остроумно. Джеронимо же переходит в режим “искать и ломать” и, не успеешь оглянуться, уже обнимается с ближайшим табуретом из бара. Это Рел надоумила малыша звать Нонка Нонком, а не настоящим его именем, Рэндал.

Нонк и Рел зовут малыша мошенником, Джи, Джи-Роном, Нимо и тому подобное, поскольку свое полное имя он не узнает, а произнести пока и подавно не может.

— Джеронимо, — сказал Нонк с видом “будь, что будет”, характерным для прыгающего с парашютом, когда Марни сообщила ему, что беременна. Он произнес это имя, вовсе не предполагая, что оно будет вписано в свидетельство о рождении, по крайней мере, так ему казалось. По одному можно судить, что за парень был Нонк в ту пору.

Марни переехала в Новый Орлеан, родила там малыша, и едва поняла, как получить с Нонка алименты, говорить больше стало не о чем. Вот так Нонк и Джеронимо и стали командой по доставке грузов — Нонк пристегнул ремнем высокий стульчик малыша к откидному сиденью, а столик для смены подгузников привесил к задней двери. И вот они выживают уже больше месяца — отдых Марни от ухода за ребенком не может продолжаться вечно. Ураган — не ураган, а мест, где в Лейк-Чарльзе можно скрыться, не так уж много.

Команды коммунальных предприятий кое-как расчистили проезд по Лейк-стрит. Кустарники здесь оказались постригжены осколками летевших стекол, на деревьях болтается сахарная вата хлопковой электроизоляции. Странно не само разрушение — видны трупоподобные пятна полуутопленных матрасов и взорвавшихся холодильников[1], — удру-

1. Из соображений защиты озонового слоя в холодильниках теперь используют изобутан и другие огнеопасные газы.

чающее впечатление производит одежда, свисающая с ветвей, отчего, при взгляде краем глаза, кажется, что это там люди, наблюдающие за вами. Жутковато в окнах домов видеть не свое отражение, а темные комнаты.

Впереди показывается несколько грузовиков из города Телса и фургон с начальством. Линейные монтеры пробираются по улице в ореоле опилок и выхлопов от двухтактного двигателя, меж тем как электрики с футболками на головах сидят в складных креслах для рыбалки в тени лежащей на боку яхты. Видно, что этих ребят хорошо снабжают — повсюду валяются контейнеры из-под коробок молока, полувыстиранная одежда хлопает на ветру, свисая со стрелы автокрана. Видимо, рабочие, всякий раз как испачкается сковорода, отыскивают себе новую, а в качестве нужников используют новые пятигалонные ведра. Сейчас легко жить в собственной машине. Как только смиришься со сложившейся ситуацией, жизнь становится вполне терпимой.

В посылке, которую Нонк берет с полки в фургоне, нет никакой инженерной экзотики или чего-то в этом роде. На этикетке мелькает слово “Амазон”. Нонк выходит из фургона с посылкой, Джеронимо следует за ним с ДИАДом в руках: собирать подписи — его работа. Электромонтер в поднятой сварочной маске спускается в корзине подъемника, чтобы провести Нонка и Джеронимо к адресату, сидящему с планом на коленях на единственном уцелевшем причале.

Это немолодой уже человек — ему, вероятно, за пятьдесят — в зеленой панаме армейского образца. На шее — довольно мощный бинокль с оранжевыми светофильтрами. Нонк с малышом подходят, и Нонк вслух читает адрес на этикетке: “Боб Волман, коммунальные предприятия города Телса для передачи в Лейк-Чарльз, Луизиана”.

— Это я, — говорит Волман, — благодарю Бога за Амазон и Единую службу доставки посылок, разумеется. — И складным ножом разрезает оберточную бумагу, из которой показывается “Болотные птицы штатов, прилегающих к Мексиканскому заливу”.

— Здесь птиц большей частью стреляют, — говорит Нонк.

Джеронимо протягивает ДИАД, инженер замечает малыша и стаскивает панаму. Запустив руку в тулью, он заставляет шляпу говорить, как Йода[1].

— Подпись нужна? Гм, — говорит панама. — А кто это у нас тут? Гм, ребенок. Мальчик, да?

1. Персонаж из фильма “Звёздные войны”.

Джеронимо приближается к шляпе и разглядывает складки, как бы пытаясь определить ее намерения.

Лицо Йода морщится.

— Серьезный мальчик. Гм. Немало пришлось ему повидать. — Инженер оглядывается на Нонка за подтверждением. — Все вокруг — сплошная неопределенность. — Шляпа смотрит в ту и другую сторону, но Джеронимо теряет к ней интерес. — Сломаны многие вещи, да, и находятся не на своих местах. — Волман заставляет панаму взять ручку и, бормоча, как будто у него полон рот, подписывает документ на ДИАДе. Это вызывает смех.

— У меня карапуз такого же возраста, — говорит Волман. — Двое детей в колледже, а еще Генри.

— Каджуны[1] называют это лагниап, — говорит Нонк. — Это значит получить больше, чем рассчитывал.

— До чего же тяжело было расстаться с ними, — говорит Волман, ероша волосы Джеронимо.

Нонк пробует представить себе, как Марни оставляет малыша в фургоне. Если бы только вообразить, что она сказала перед уходом о своем возвращении.

— Что вы ему сказали, — спрашивает Нонк, — ну, когда уходили?

— Кому? Генри?

— Да.

— Сказал, что скоро вернусь. Дети в таком возрасте не имеют представления о времени. Не знают, что такое месяц. Кроме того, они не помнят. Я делал ошибки, уж вы мне поверьте, несмотря на большой родительский опыт. В моем возрасте опыт накапливается.

— У нас это временно, — говорит Нонк. — Мальчик скоро вернется к маме.

— Ураган перевернул жизнь вверх дном, — говорит Волман. — Вы оба, видно, в том еще положении. Но если серьезно — мальчик не может бегать повсюду в пижаме. Смотреть на стекло и гвозди. Ему нужны ботинки и джинсы, что-то такое.

Пижама на самом деле — спортивный костюмчик, приспособленный Рел для мальчика, но Нонк ничего не говорит.

Волман берет свой новый определитель.

— В Амазоне тонны детских материалов.

При виде книги Джеронимо говорит:

— Птичка.

— Верно, — говорит Волман. — Давай найдем певчую птичку. — Он поднимает бинокль и делает жест Джеронимо по-

1. Представители индейского племени.

смотреть вместе с собой, каждый смотрит через свой окуляр. Морщась, они осматривают озеро. — Сегодня утром видел голубого ара, — говорит Волман. — Не совсем характерен для Луизианы, но до чего красив! Сидел на перевернувшейся барже, вот прямо там, над водой, со стручком перца "большой колокол" в клюве.

— Ара, — говорит малыш.

— Верно, — говорит Волман.

— Большая птичка.

— Верно, большая.

Стоя над ними, Нонк тоже осматривает водную поверхность. С отливом все отходы, плавающие в озере на пространстве трех миль коричневой зыби, устремляются к ним. Прикрыв глаза рукой, как козырьком, Нонк рассматривает деревянные крыши, мусорные баки, диванные подушки на деревянных рамах, и весь тот хлам, которым бывают заполнены гаражи и владельцем которого может быть человек. Вот, медленно поворачиваясь, будто движимый тягачом, плывет черный бак для сбора нечистот, вот из воды, как плавник акулы появляется корпус перевернутой лодки, сверкает килем и исчезает. Нонк представляет себе детей, сброшенных с моста, как они падают в голубую озерную воду. Воображает их открытые глаза, протянутые ручонки. Наверно, они знали, что нужны хотя бы друг другу. А здесь, в темной воде, баллоны с пропаном, доски, пятидесятипятигалонные бочки.

Нонк долго едет по берегу озера мимо перевозивших лед и брошенных грузовиков, из-под которых капает, едет мимо скота, ослепшего от питья соленой воды, мимо церкви, на маркизе которой выведены слова "Сердце урагана есть покой Христа". На этой стороне озера находится Юго-Западный туристический центр Луизианы, где работает Рел. Вместо того чтобы раздавать брошюры о Каджунской ривьере, теперь она рисует карты для спасателей, на которых обозначено, где прежде были такие города, как Гейдан и Грэнд-Шаниер. Ураган — не ураган, а штат получает большие доходы от азартных игр, поэтому каждый приехавший сюда по-прежнему получает сувенирную бутылочку соуса "Табаско"[1], бейсболку с надписью "Спортивный рай" и яркие пластиковые бусы, которые туристам надевают красивые девушки. Рел — красивая девушка.

Через окно он видит, как она говорит, по-видимому, с правительственными чиновниками, ребятами, имеющими беззa-

1. Изготавливается среди прочего из жгучего перца.

ботный вид, характерный для тех, кто может отсюда уехать. У каждого на шее по шесть нитей бус сразу, все чиновники смеются и улыбаются, а Рел, слушая их и дождавшись заключительной фразы, обмахивается книжечкой купонов. Нонк сигналит ей фарами, указывает через дорогу на придорожную закусочную, в которой Марни, бывало, проводила немало времени. Нонк, разворачиваясь, пересекает улицу, включает "аварийку" и втыкает трубочку в коробочку с соком.



— Малыш, пей сок, — говорит он и завладевает сотовым. — Нонк сейчас вернется.

Джеронимо поднимает руки и пытается выбраться из своего сиденья.

— Бвей, — говорит он, — бвей.

— Послушай, — говорит Нонк. — У Нонка есть дело.

В закусочной он быстро осматривается и сосредотачивается на стене, на полках, уставленных пивными кружками. Если проводить здесь много времени, на полке появляется кружка с вашим именем. Такая стена типична для Южной Луизианы, это своего рода реестр маловажных местных личностей, но кружки с именем Марни здесь нет. Бармен, похожий на рабочего, которого отпустили в увольнительную с нефтяной вышки, спрашивает:

— Так, и что это будет? — и когда Нонк отвечает: — Ничего, спасибо, — бармен дважды стучит по барной стойке костяшками пальцев, так делают речники, показывая, что чаевых не предвидится.

Нонк вполне небрежно спрашивает:

— Вы ведь знаете Марни Бруссард. Не видали ее тут?

— Пытаетесь со мной светский разговор завести? — спрашивает бармен. — Вы выпить хотите или что?

— Эта девушка, — говорит Нонк, — раньше здесь бывала, темные волосы, глубоко посаженные глаза.

Бармен набирает пива, ставит перед Нонком кружку, как будто это пиво — последнее на Земле.

— За прекращение ураганов, — говорит он. — За счет заведения.

Нонк раскрывает телефон и прокручивает список контактов до телефона врача. Сигнал, как выясняется, слаб, но все же ловится. Нонк еще точно не знает, что скажет, но все же звонит. Когда кажется, что трубку уже никто не возьмет, ее снимают, но на другом конце провода ничего не говорят. Потом становится слышно пощелкивание отцовского трахейного клапана. Эту штуку Нонк слышит во сне. История этого звука, этого влажного, хриплого стука — как песня в стиле кантри "Боевой гимн республики".

Если доктор прав, на этот раз отец Нонка точно умрет. Но истина заключается в том, что это не более чем событие. Жизнь полна событий — они происходят, человек приспосабливается, и жизнь продолжается. Но в какой-то момент, когда, например, ваша подружка Марни сообщает вам о своей беременности, вы понимаете, что некоторые события повлекут за собой целую череду других. Вы понимаете, что где-то там есть большой план, о котором вы ничего не знали, и такое важное событие — лишь первый шаг в новом направлении.

Кто-то сажает вам на колени ребенка — это важное событие, о котором вам становится известно. Ваша прежняя жена исчезает — на это плечами не пожмешь, от этого не отмахнешься. Это серьезное событие. Иногда происходит событие, которое можно было бы принять за важное — вам приходится платить алименты, ваш старик уезжает из города на вашей машине, вас выселяют из квартиры, арестовывают ваше имущество — но со временем вы приспосабливаетесь, снова находите дорогу и понимаете, что эти события вас не изменили, не сбили с пути. Это были просто события. Истина же заключается в том, что ураган не изменил жизнь Нонка ни на йоту. И смерть отца не изменит. Вся штука в том, чтобы отличать важное событие от простого.

Нонк сидит, глядя на телефон, когда в бар входит Рел. Она всегда ходит в ниспадающих тренировочных костюмах, выгодно подчеркивающих особенности ее фигуры. Костюмы эти она шьет сама из атласа.

— С кем говоришь? — спрашивает она.

— Это мой старик, — отвечает Нонк.

— Я думала, он умирает, — удивившись, говорит она.

Нонк пожимает плечами.

— Это ты ему позвонил или он тебе? — спрашивает Рел, но ответ написан у Нонка на лице. — Что ты ему сказал?

— Не знаю. Что тут говорить?

— Что тут говорить? Да ты трендишь о нем без умолку.

— Я? Это ты постоянно о нем заводишь. Вы даже незнакомы.

— Мне ни к чему с ним знакомиться, — Рел тянется к телефону. — О нем и так все известно.

Нонк знает, что Рел телефон давать нельзя — в ней есть безжалостная холодность правдоруба, но он все же дает.

На всякий случай Нонк спрашивает:

— Ты ведь знаешь, что он не может говорить?

Нонк кивает, она улыбается. Такая же улыбка появляется на лице девушки, когда заезжий турист наклоняет голову, чтобы ему на шею повесили бусы.

— Мистер Ричард, — говорит Рел в телефон. — Меня зовут Шерел. Я — подруга Рэндала и хочу рассказать вам одну историю. В некотором царстве был человек, который жил только для самого себя. Он использовал свою семью, выжимая из нее все возможное, как вы выжимаете максимум из прямоугольного кусочка туалетной бумаги. Он украл машину своего сына и, наконец, уехал. Таков счастливый конец. Что может быть нужно этому человеку теперь?

Она причиняет боль отцу, желая отомстить за Нонка, и ему от этого страшно, но приятно. Все же он говорит:

— Ох, я же говорил, он умирает на хрен.

Рел захлопывает телефон.

— Где Джи? — спрашивает она.

— Прохлаждается в своем сиденье. Не могу поверить, что ты только что сказала такое. Ты с моим отцом говорила, не со своим.

Рел берет кружку и пьет.

— У него была возможность.

Нонк тоже отпивает.

— Думаешь, его кремируют?

— Кто это?

— Ну, Калифорния.

— Типа правительство штата? Ни в коем случае, солнышко. Это денег стоит. Тебе придется поехать и привезти его сюда. Ты обязан обеспечить похороны, таков закон.

— Знаешь, что бы я сейчас охотно сделал? — говорит Нонк. — Я бы сейчас охотно взял его прах и рассыпал по маминой лужайке. То-то бы она в гробу перевернулась, верно?

— Я считаю, у тебя единственная возможность: едешь в Калифорнию, и, когда там поднимут простыню, чтобы ты мог его опознать, ты скажешь, что это не твой отец. Тогда раскошеливаться придется правительству.

Нонк тяжелым взглядом смотрит на Рел.

— Откуда в тебе это берется? — спрашивает он. — Дело не в деньгах. — Он видит, что Рел готова сказать что-то остроумное насчет того, как Марни получает с него алименты, но Рел сдерживается и уже сочувственно говорит:

— Эту машину ты больше не увидишь.

— Знаю, — говорит он. Это была всего лишь “тойота”, но такие машинки бегают вечно.

Тогда Рел вытаскивает фотографию и толкает ее по столу Нонку. Это расплывчатый портрет лежащей на столе женщины.

— Ты теперь что, морги проверяешь? — спрашивает он.

— Нет, — говорит она, — в Агентстве чрезвычайных ситуаций есть альбом, который можно полистать.

— Не хотелось бы тебя огорчать, но это не Марни.

— Ты хорошо посмотрел? Пять футов четыре дюйма, соломенная блондинка, глаза, как при фетальном алкогольном синдроме[1].

— Хватит чушь нести.

— Марни делала кесарево?

— Откуда мне знать? — говорит он.

— Слушай, мне ни к чему, чтобы это была она, — говорит Рел. — Никто никому смерти не желает. Я хочу сказать, этому малышу нужна шикарная мама.

— Марни жива, — говорит Нонк. — Она просто отдыхает от ухода за ребенком, только и всего. Откалывать подобные номера вполне в ее духе.

Рел пожимает плечами.

— Тогда почему бы не съездить в Бомонт? Почему не посмотреть? Если это не она, так и ладно. Ничего не меняется. Если все же это она, тоже ничего не меняется, только тогда ты сможешь планировать, предпринять какие-то шаги.

Нонк толкает фотографию по столу в сторону Рел.

— Ты Марни не знаешь. Она не из тех, кто может потонуть в "Квик-Март"[2]. Из урагана выйдет целее, чем была.

— По крайней мере, похудеет.

— У нее, наверно, есть деньги Агентства по чрезвычайным ситуациям, она на них живет. Кончатся — вернется.

— Кто ж бросает ребенка в хорошее время и возвращается в плохое?

На этот вопрос у Нонка нет ответа.

Рел открывает сумочку и начинает в ней что-то искать.

— Почему ты не хочешь ее найти? — спрашивает она.

Нонк отпивает из кружки и отставляет ее.

— Ищу так же, как ты.

Из сумочки Рел достает палочку с ватным тампоном на конце в пластиковой пробирке.

— Почти забыла, — говорит она.

— Что забыла?

— Открой пошире, — говорит она.

— Для чего?

— Просто открой, — говорит она, вынимая палочку из пробирки. Нонк открывает рот, Рел прикасается тампоном к деснам и проворачивает его.

1. Группа отклонений в психофизическом развитии ребёнка, вызванных употреблением его матерью алкоголя до и во время беременности.
2. Сеть магазинов.

– Что это было, черт возьми?

– Тампон.

– Тампон чего?

Рел прихлебывает пива и убирает тампон в пластиковую пробирку. – Надо бы проверить маленького человечка, – говорит она. – Потому что мне пора идти.

На улице на фоне скрежета пивных крышечек, гонимых ветром по мостовой, они слышат голос Джеронимо в фургоне:

– Ап, ап.

Нонк заглядывает в фургон и видит: Джеронимо сумел снять крышку с одного из термосов. Вокруг него бегают креветки, сам же он в ужасе пританцовывает в своем сиденье.

– Э-ге, – говорит Рел, – вечеринка для одного.

Она уже хочет забраться в фургон, но Нонк говорит:

– Все ясно.

– Разозлился?

– Нет, – говорит он, – об этом вечером поговорим.

– На собрании Анонимных алкоголиков?

Малыш пытается выбраться из сиденья, тянет за резиновые шнуры.

– А где ж еще, черт?! – говорит Нонк. – Слушай, мне надо прибрать.

Но вместо того чтобы уйти, Рел забирается в фургон.

– Он такой милый, – говорит она. – Когда-нибудь заведем себе такого же. – И засовывает тампон малышу в рот.

– Какого хрена?!

– Это просто анализ, – говорит она и выбирается из фургона. – Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям делает его бесплатно, помогает семьям воссоединяться.

Нонк идет за Рел.

– С ума сошла? – говорит он. – Это мой ребенок. Здесь он мой.

– Этого ты не знаешь, – говорит она и бросается через улицу.

Нонк забирается в фургон. Креветки щелкают клешнями. У Джеронимо начинается икота, такое с ним бывает от испуга.

– Ап, ап, – повторяет малыш. Он сучит ногами и натягивает резиновые шнуры, на которых подвешено его сиденье.

Нонку досадно видеть его в таком положении.

– Эй, красавец, – говорит он. – Не бойся ты этих ребят. Нонк здесь, все нормально. Нонк защитит тебя.

Нонк отстегивает резиновые шнуры от потолка, малыш понимает. Он весь дрожит, сопли размазаны по лицу. Хоть он и сухой, Нонк переносит его в заднюю часть фургона поменять подгузник. Малыша это всегда успокаивает.

— Все хорошо, хорошо, — шепчет Нонк и укладывает его спиной на столик. Малыш опасливо стреляет глазами по сторонам, опасаясь креветок.

— Нонк вернулся, все в порядке. Нонк всегда возвращается, — но объяснить это малышу невозможно. Сейчас он испуган, и ему кажется, что опасность повсюду.

Нонк стягивает с малыша штаны, расстегивает и отбрасывает подгузник, хоть тот еще вполне сухой и чистый. Джеронимо постепенно успокаивается, а Нонк надевает на него новый подгузник, повторяя "ш-ш", и, когда он просит малыша поднять ноги, Джеронимо молча повинуется — поднимает их и держит. Тут для Нонка наступает самая любимая часть процедуры. Он берет флакон с детской пудрой, высоко поднимает его, и пудра сыпется тонкой струйкой. Пудра прохладна и приятно пахнет. Нонк слегка потряхивает флакон, а малыш следит, как медленно оседает белая пелена, за которой он готов следить часами.

Двор Единой службы доставки посылок почти пуст, большая часть ее сотрудников — водители — в пути. Нонк ставит свой фургон так, чтобы можно было помыть его и заправить топливом перед следующей поездкой. Джеронимо хватает шланг, а Нонк выметает креветок на тротуар. Малыш струей гонит их в ливневую канализацию. Его приводит в восторг то, как они несутся против водяной струи. Но вот креветки исчезают, проскользнув сквозь решетку люка, и малыш выглядит растерянным.

В службе Нонку позволяют держать все его питание и молоко в складе-холодильнике, тут же между поездками он может подкрепиться бутербродами с арахисовым маслом и желе и запастись напитками. Служба в этом отношении ведет себя по-джентльменски: Нонку позволяют не возвращать на ночь фургон, сходным образом полицейскому оставляют на ночь патрульную машину. Кроме того, здесь сквозь пальцы смотрят на Джеронимо, занимающего место рядом с водительским сиденьем. Пока человек не нарывается на неприятности и не получает от полиции бумагу, на которой указано его имя, — служба на вашей стороне. Один водитель напился и заехал на своем фургоне в канаву. Фургон вытащили без вопросов. Дали ему несколько советов и отправили снова в дорогу.

Скачивая новые декларации на ДИАД, который указывает оптимальный маршрут проезда, Нонк сразу замечает, что один из адресов — его собственный, старый, квартира на Кёркман-авеню, откуда его выселили. Туда он и направляется в первую очередь. Здесь ветром повалило два белых дуба, отчего четырехквартирный дом непривычно освещен солнцем

так, что Нонк, подъехав, с трудом его узнает. Все четыре двери выбиты, на крыльце несколько ворон по очереди клюют из коробки с хлопьями.

В прошлом году Нонк заезжал домой и нашел дверь запертой. Наклейка, оставленная шерифом, сообщала, что все имущество Нонка будет распродано в уплату долгов за квартиру. Он входит и видит на стойке свой старый телевизор, покрытый плесенью диван, стол и стул усыпаны битым стеклом. Все остальное здесь — чужое: на полу блюда, сломанные рамки картин, у двери на боку лежит велосипед. Странно не то, что его пожитки перемешаны с чужими, а то, что его вещи для него прежде что-то значили. Когда у него было время сидеть на этом диване? Знал ли он когда-нибудь названия телепередач? Нонк чувствует себя здесь таким же чужаком, как человек, чьи семейные фотографии разбросаны сейчас на полу.

Тут-то Нонк смотрит на посылку и понимает, что она адресована его отцом ему самому, Рэндалу Ричарду. Он берет осколок стекла и разрезает бумажную упаковку коробки. Внутри записка от отца — в этом не может быть сомнения. “Если не считать, что Калифорния меня убивает, она — ничего. Тут мои пожитки. Меня спросили, что с ними делать, а я не знал”.

Нонк переворачивает записку, чтобы посмотреть, не написано ли чего-нибудь на обратной стороне, но там ничего нет. В коробке вещи отца: брюки, рубашка, ремень и бейсболка. Нонк вполне спокойно может думать о его смерти, но мысль, что тот никогда снова не оденется, что умрет в халате, кажется странной, даже абсурдной. Тут же находится бумажник. На коже вытеснено “Нонк”, сокращение от “n’oncle”, по-каджунски “дядя”, слово, которым называли близких друзей семьи. Это тот, кого в детстве он называл отцом, прежде чем стал звать по имени Харланом. Нонку приходит в голову, что он никогда не звал отца “папой”, и теперь, как ни странно, Джеронимо, обращаясь к нему, говорит “Нонк”, а не “папа”.

В бумажнике — членская карточка “Костко”[1], деньги, список от руки интернет-казино с логинами и паролями, калифорнийское водительское удостоверение с адресом в Лос-Анджелесе, который с помощью ДИАДа Нонк может увидеть на карте, а также старинное, закатанное в пластик врачебное удостоверение, подтверждающее отцовскую немоту. Нонк

1. Сеть “клубных” магазинов-складов компании “Костко хоулсейл”, торгующих товарами со скидкой по мелкооптовым ценам.

берет большую связку разнообразных автомобильных ключей от "тойоты", "форда" и "хёндай". Один из ключей — от моторной лодки фирмы "Грейди-Уайт", самой лучшей. Есть еще упаковка белых носовых платков, которыми отец протирал трубку, вставляемую в трахею. Все это Нонк выкладывает себе на колени. То ему кажется, будто он роется в чужих вещах тайком, что в любой момент могут войти и застать его, то — что отец давно умер, и это все, что от него осталось. Нонк сбрасывает на диван ключи, деньги, бейсболку Государственного университета Луизианы и встает, желая последний раз здесь осмотреться, мысленно разделить владельцев окружающих его вещей и сгруппировать сами вещи. Он хочет закрыть за собой дверь, но она выбита.

Чтобы отдохнуть от Джеронимо Нонк и Рел посещают происходящие в пресвитерианской церкви собрания Общества анонимных алкоголиков, во время которых пожилые женщины бесплатно присматривают за ребенком. По два часа за вечер Нонк и Рел пьют кофе и слушают о трудностях других людей. Сегодня Нонк приходит на собрание прежде Рел и, сдав малыша, берет себе кусок пирога. Стулья — половина пока свободны — составлены в круг. Нонк выбирает себе место. В церквях всегда так: можно подумать, происходит невесть что — деньги вам выдают в белых конвертах, малыши ходят в костюмах-тройках, полицейские в белых перчатках распоряжаются по субботам дорожным движением, — но в подвалах церкви всегда одно и то же: складные стулья, старое оборудование, лари для одежды умерших.

Начинают собираться завсегдатаи. Хоть алкоголики и "анонимные", но Лейк-Чарльз не настолько большой город, где Нонк уже успел постучать чуть не в каждую дверь. Появляется Линда Тассо, старшая дочь мэра. Опускаясь все ниже и ниже, она каждую неделю находит новое дно, о котором каждый раз и рассказывает. Джим Арсино приносит гигантский термос чаю со льдом, такие бывают на стоянках грузовиков. Раньше он содержал зоологический сад с многочисленными змеями и аллигаторами, находившийся в ведении нескольких штатов. Его обвинили в жестоком обращении с животными, поймав на том, что он дает приют слишком многим щенкам и котятам из пруда, и он сразу бросил пить. Появляется несколько человек из Нового Орлеана — их легко узнать по отсутствующему взгляду и одежде, — кажется, что одежда на них чужая.

Наконец входит Рел, на ней тренировочный костюм шоколадно-малинового цвета. Она садится, ссутулившись, в

круг напротив Нонка. Ткань штанов плотно облегает ее тело, так что обрисовывается промежность. Она старательно прихорашивается перед такими собраниями и не только потому, что это единственное время, когда они с Нонком свободны от забот о малыше. Похоже, ей приятно видеть, что приличные на вид люди, сделавшие карьеру и имеющие дома, на самом деле, судя по их же признаниям, слабы и подвержены дурному влиянию. Рел — красивая девушка, но в старших классах успехом не пользовалась, поэтому во время перерыва в собрании церковной группы, она очень любит постоять среди собравшихся, послушать разговоры, стрельнуть сигаретку и посмеяться, когда раздается вокруг смех. После перерыва, когда все направляются обратно в церковь на второй час, Рел берет Нонка за руку и уводит в фургон.

Она даже полюбила выступать на этих собраниях. Обожает при свидетелях обсуждать свои отношения с Нонком. Сегодня встревает в обсуждение с самого начала. Встает один эвакуированный из Нового Орлеана.

— Меня зовут Джеймс Б., — говорит он, — и я алкоголик. — Тут вступает Рел, но Нонк продолжает смотреть на Джеймса Б.: тот в новехонькой футблоке “Чак И. Чизиз”, из-за ее нетронутой белизны все остальное на нем кажется грязным, будто вывалянным в дерьме.

— Мой приятель, — говорит Рел и смотрит в потолок, как будто никто не подозревает, кто бы это мог быть, — мой приятель — очень сильный человек, но так же сильны его недостатки. Впереди есть трудности, которых он не предвидит. На горизонте — похороны, дорога. Я стараюсь помочь ему. Предлагаю свою помощь, но, боюсь, принять ее он не собирается.

Бил Мэк, владелец магазина “Охота и рыбалка”, говорит:

— Скажите вашему приятелю, что перед дорогой ему надо прийти на такое собрание, как у нас. Поверьте мне, его ждут.

— Похороны, — отваживается Линда Тассо, — у меня от них мурашки по коже. Это гарантированный штопор в депрессию.

Задача Нонка -- понять, о каких именно недостатках говорит Рел. Накануне вечером она сказала:

— Никому нет дела до отношений двух людей, — выразив этим свое отношение к ситуации, в которую поставила их обоих Марни. Ее, по мнению Рел, во что бы то ни стало необходимо найти. Но сегодня Нонк вовсе не уверен, что “недостатки” имеют отношение к Марни или тесту на отцовство, хотя и то и другое может оказаться важным событием, влекущим за собой череду других. Мать вашего ребенка погибла? Ваш ребенок — не ваш? Такого рода факты так же необрати-

мы, как падение с моста, и Нонк только понимает, что человек стремится свести количество важных событий в своей жизни к минимуму — несколько неизбежно случатся, но человек их не ищет и уж наверняка не является их причиной.

— Не могу отвечать за вашего приятеля, — говорит Нонк, — но, может, он думает: "Спасибо за помощь, но в ней нет необходимости, я в состоянии справиться сам". Может, в настоящий момент ему не нужна помощь.

Хоть имя Нонка и не было названо, собравшиеся, как один, поворачиваются и смотрят на него. Он понимает, что́ у них на уме:

— Балда, — думают они, — прими помощь.

Рел удивленно говорит:

— Вы хотите сказать, что мой приятель не нуждается в помощи?

— Примите ее помощь, — выкрикивает Джеймс Б. и переводит взгляд на потолок. — Господи, помоги ему принять помощь. — Человек обращается с мольбой к самому Создателю, и от этого в помещении возникает странно-торжественная атмосфера.

Нонк говорит:

— Я просто говорю, что, может, ваш приятель и так справляется. Ведь он не идет ко дну? Он делает шаг, потом другой, он держится.

Тут вступает Линда Тассо:

— Держится день за днем.

— Может, мой приятель так и думает, — говорит Рел, — но он застрял, он никуда не идет, он движется вспять. Я, понимаете ли, строю планы. Я пытаюсь увлечь его с собой.

— Почему вы думаете, что лучше него знаете его нужды?

— Он у меня в сердце, — говорит Рел. — И я его знаю лучше, чем он знает сам себя.

Люди поворачиваются к Нонку. Все уже почти сыты сегодняшним эпизодом Шерил-шоу, но Нонку все равно.

— Если этот парень у вас в сердце, — говорит он, — то там же и его ошибки — понимаете? — и там же его ребенок.

Рел, сидя, наклоняется вперед.

— Я создаю тебя, — говорит она, глядя Нонку в глаза. — Никто никогда тебя не создавал, никто не любил, как я. Прими мою помощь, позволь мне создать тебя.

Тут Джеймс Б. указывает на стропила.

— Крыша слаба, — говорит он, и все смотрят вверх. — Господи, пусть она будет слаба, позволь мне узнать где.

Наступает тишина, и Джеймс Б. встает. Выглядит он неважно.

– Я раньше представлял себе каждую выпивку, – говорит он. – Представлял каждый винный магазин, теперь вам следует думать о том, как избежать его, его ослепительных огней. Почему Господь сделал винные магазины светящимися? Теперь надо думать о складном стуле, о чашке кофе. – Он смотрит на свой стаканчик с кофе, как будто раньше его не видел. – Надо представлять себе туалет, автобус, кусочек отрезанной пиццы. Спустите собаку с цепи.

Джим Арсно говорит нервно:

– Хорошо, я считаю, все мы побывали в положении Джеймса.

– Возьмите нож с того стола, он вам понадобится, – говорит Джеймс Б., как человек из библейской притчи, как один из тех ребят, которые запечатлены в цветном стекле витража наверху.

Встает Джим Арсно и, фальшиво улыбаясь, говорит:

– Э, пожалуйста, без ножей. – Он смотрит на Била Мэка, всем своим видом показывая, что тому тоже следует подняться. – Джеймс Б., мы чувствуем твою боль, – говорит Джим. В руках у него Библия. Он раскидывает руки. – Желаете поговорить с глазу на глаз?

– Готовьтесь к тьме, – говорит Джеймс Б. – Вода у ваших стоп, у колен, у ваших ребер. Прежде я весь день дышал ради выпивки. Закрою глаза и по-прежнему вижу зарево, “Будвейзер” – голубой, “Курс” – желтый. Возьмите нож с собой на потолок, представьте свой путь через чердак. Остерегайтесь, эта изоляция плывет. Бутылку вы припрятали давно. Спустите собак, пожалуйста, спустите собак с цепи. В этом тесном пространстве изоляция вас облепит. Надо представлять себе крышу. Пожалуйста, позволь ей быть слабой. Режь, пока не увидишь зарево, в темной воде ищи свет его. Сделайся малым, проскребайся. Господи, сними цепь с крюка на крыльце, а иначе они утонут.

После перерыва Нонк высоко задирает ноги Шерел и входит в нее. В фургоне пахнет подгузниками малыша и креветками. Из церкви доносятся аккорды органа. Кто-то безбожно фальшивит, хотя старается играть правильно. Рел смотрит прямо на Нонка, не отводя взгляда. Это несколько раздражает, но она говорит, что ничего с этим не может поделать, и напоминает Нонку, что всякий раз кончает. Она напоминает ему, как хорошо их тела подходят друг другу, как удобно ему обнимать ее за плечи, а ее ногам обхватывать его за талию. Иногда Нонк чувствует, что она старается не кончать, будто сдерживает себя. Может, дело, скорее, в том, что она пробует

оттянуть момент, старается контролировать происходящее как можно дольше. Нонк чувствует, как в ней что-то нагнетается, и, когда она, наконец, сдается, когда позволяет себе поддаться, закрывает глаза.

В результате получается, что под ее взглядом Нонк сам закрывает глаза и оказывается в своем мирке. Тогда мысли легко разбредаются. Легко начать думать о Джеймсе Б., о том, что случилось с остальными жителями Нового Орлеана. Он представляет, как Марни ловит попутку, чтобы добраться в город и подкинуть ему Джеронимо, отдохнуть от ухода за ребенком. Но ясно, что с Марни и с малышом в Новом Орлеане случилась какая-то пакость.

Рел дотягивается до бедер Нонка и останавливает его. Иногда, когда она в плохом настроении, она останавливает его и заставляет надеть презерватив прямо посередине. Но безумной она не выглядит.

— Ты ведь слышал, что я там говорила? — спрашивает она. — Пытаюсь утвердиться у тебя в сердце.

— Ты и так там.

— Тогда мне надо, чтобы ты начал действовать, — говорит она. — Чтобы действовал, как я говорю.

— Хорошо, поеду в Бомонт, посмотрю, она это или нет.

Рел лезет к себе в сумочку.

— Это не она. Я звонила после ленча. Оказывается, это какая-то другая. — Рел вытаскивает голубую дебетовую карточку Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. — Я действую, — продолжает она, — создаю для нас будущее. Только дело в том, что, по мере того как я принимаю решения, по мере того как возможности материализуются, мне надо быть уверенной, что ты — со мной.

Нонк видел тысячи таких карточек, такая есть у каждого эвакуированного. Беда только в том, что они не помогают человеку выжить, потому что на них если что-то и можно купить, то только билет из Луизианы.

— Откуда она у тебя? — спрашивает Нонк.

— На ней пять тысяч, — говорит она. — Это грант на развитие малого бизнеса. Их раздают.

— Малого бизнеса?

Рел лезет в сумочку и вытаскивает самодельную брошюру “Что нужно Нонку”. На картинках изображены легавые собаки и утки, а также скан фотографии Нонка, сделанной в старших классах школы, и на задней странице обложки карта из Гугла кое-какой недвижимости, которой владеет ее отец на юге.

— Неплохо, а? — спрашивает она. — Изготовила на компьютере, он у меня на работе. А эти охотничьи собаки и все та-

кое? Картинки скопировала с сайта НАРО[1]. Вкладываем деньги в автомобиль с четырьмя ведущими колесами, и вот, пожалуйста, наш бизнес. Может, когда-нибудь выстроим охотничий домик. Или еще что-нибудь. Деньги можем тратить на что угодно.



Нонк мог бы ей напомнить, что ничего не знает об охоте на уток, равно как и она сама. Мог бы упомянуть, что ее отец разводил борзых, а не бладхаундов; что, с юридической точки зрения, это преступление, что из его доходов вычитают алименты. Но не может перестать думать о своей фотографии. На ней он улыбается с выражением оптимизма и облегчения, как будто с окончанием старшей школы самое трудное осталось позади. Такое сосунковое выражение лица бывает у людей, выходящих из автобусов, которые вывезли их из зоны бедствия "Катрины", пока они еще не знают о приближении "Риты".

— Люди звонят в туристический центр, — говорит Рел, — ищут проводников для охоты. Я принимаю звонки. И в свое дежурство рекомендую ребят, внесенных в список. И тут до меня доходит. Решение прямо на поверхности.

— И такое дерьмо тебя не беспокоит? — спрашивает он.

— Какое? — говорит Рел. — Охотники — это биржевые маклеры и все такое. Мы их туда только подвозим. У них шикарные ружья и позолоченные свистки.

— Дробовики, — говорит Нонк. — На птиц охотятся с дробовиками. И ты прекрасно понимаешь, о чем я.

— Хочешь знать, что меня беспокоит? — спрашивает она. — Меня беспокоит, что я ради стола и крыши над головой живу с ненормальными. Беспокоит, что для того, чтобы оказаться на свидании с тобой, мне приходится ходить на собрания "Анонимных алкоголиков".

Он рассматривает карту местности, где отец Рел владеет недвижимостью. Раньше он содержал там псарню беговых собак. Предприятие оказалось убыточным, и все знают, хоть никто и не скажет, что собаки там захоронены повсюду. Всякий раз, пребывая в плохом настроении из-за бегства отца из города, Нонк думает о Рел и о том, каково это было бы, если бы отец остался. По правде говоря, Рел не столько печется о воплощении планов и деньгах, сколько о том, чтобы начать жизнь заново. Принимая во внимание обстановку, в которой она росла, из нее получилось лучшее из того, что могло получиться.

1. Национальная ассоциация ружейных охотников.

— Только пока думаешь, насколько это хреново жить с ненормальными, — говорит он.

— Пожалуйста, — говорит она. — Сегодня я отправила эту брошюру четверым — они вот-вот пришлют свои реквизиты. Один из них живет в Голливуде.

Рел массирует Нонку плечи и снова принимает его в себя. Он видит, что она отгородилась от секса, от того, что происходит внизу, будто канат натянула. Затем, прищурившись, Рел вопросительно взглядывает на него. Взгляд не злой, она просто пытается понять, что у него на уме. Он закрывает глаза и видит придорожную закусочную под названием "Три короны" на шоссе 90, в которую раньше ходил с Марни, заведение, где они познакомились. Нонк вспоминает один вечер, проведенный вдвоем с нею — они не виделись перед этим долгое время, — и Марни сказала, что нет, пить она сегодня не в настроении. Нонка это не смутило, такое он вполне мог понять, и теперь, думая о событии, показавшемся тогда незначительным, у него возникает ощущение, что нет, оно было важное, чреватое последствиями. Он не знал еще месяц, но Марни уже в тот день знала, что беременна. Вот так события, чреватые последствиями, происходят прямо под носом, а их не замечают.

Когда приходит время, Нонк и Рел из церковной пристройки забирают Джеронимо.

У двери они задерживаются. Через маленькое окошко можно видеть разговаривающих между собой мо-мо, которые держат руки сложенными на груди. Рел говорит:

— У меня от этих женщин мурашки по коже.

— Не заговаривай с ними, — говорит Нонк.

— Не понимаю старух, — говорит она. — Кто они такие? Чего им надо?

Нонк вполне ее понимает. Пожилые женщины выглядят вполне невинными и добродетельными, но потом взглядом знатоков оценивают вашу задницу. Кроме того, все они похожи между собой — Нонк даже не уверен, что сейчас это те же, что были тут неделю назад.

В пристройке Джеронимо сидит на маленьком пластиковом стульчике. На нем халатик, завязанный на талии. Малыш раскатывает глину. Он даже не замечает, что за ним пришли. Нонк смотрит на малыша, на его выпуклый лоб и длинные ресницы. Джеронимо тянется почесать ухо, и Нонк понимает, что ребенка клонит в сон.

— Иди к Нонку, — зовет он и приседает, чтобы обнять бегущего малыша.

Но Джеронимо не двигается.

К нему идут мо-мо. Одна берет его за руку.

— Такой хороший мальчик, — говорит она.

— Невыносимо милый, — добавляет другая, стаскивая с него через голову халатик.

Когда Джеронимо приносят Нонку, оказывается, что его здесь постригли, и на обгоревшее лицо нанесли густой крем. На малыше подержанный комбинезон, по-видимому, доставшийся от вспомогательной службы.

— Купали его в ванне? — спрашивает Нонк.

— Слегка почистили, — говорит одна и добавляет: — Джеронимо — имя особенное.

— То же, что стойкость и целеустремленность[1].

— На языке апачей Джеронимо означает яростно-верный.

— Одна из последних книг, которые мы прочли вместе, была "Последний Паломино".

Женщины продолжают говорить о книжках, которые прочли с Джеронимо, о том, чем с ним занимались, перечисляя все, как будто на приеме, где малыш — важный гость, а Нонка и Рел ему представляют впервые.

Одна из женщин берет рисунок с желтыми круговыми линиями и прикрепляет его к комбинезону малыша. Рисунок называется "Ара".

— Несчастье испытывает людей, — говорит одна женщина.

— Особенно детей, — добавляет другая. Она держит коричневый бумажный пакет с аккуратно закрученной верхушкой. — Здесь пижама ребенка.

Нонк, не глядя, знает, что Рел морщится.

— Это не пижама, — говорит он. — Это спортивный костюмчик с кантом и так далее. Эту ткань привезли из...

— Марокко, — говорит Рел.

— Из Марокко.

В наступившей тишине пожилые дамы смотрят на Нонка как-то по-новому.

— Вы правильно сделали, придя к нам, — говорит одна из них. — Джеронимо здесь всегда рады. Всем вам рады. У него такой чудесный возраст.

— ...когда тяжело переживается разлука с родителями.

— Это может стать такой травмой.

— Может, я и есть мать мальчика, — говорит Рел. — Вы об этом подумали? Вы знаете, что я — не его мать?

1. В переводе с греческого Иеронимос — святое имя.

На улице уже темно. Нонк заводит двигатель, собираясь по дороге завезти Рел в "дом на полпути". Он не бродит по придорожным закусочным в поисках Марни, не осматривает благотворительные заведения. Он жмет на газ, чтобы москитов выдуло из салона, и они исчезают.

Фургон подъезжает к "дому на полпути", и двери открывает доктор Габи, что означает, что Нонк не будет спать на чистых простынях с Рел и Джеронимо, что утром не будет ни горячего душа, ни туалета. Увидев доктора Габи, Джеронимо бежит и прыгает на ее кресло-каталку, отчего Нонк внутренне сжимается: Рел предупредила его, что доктор Габи пользуется мочесборником, что это трудно заметить, поскольку он у нее под одеждой.

Доктор Габи с подозрением осматривает Нонка.

— Это *вы* его постригли, — говорит она.

— Как вы узнали, что это не я? — спрашивает Рел.

На это доктор Габи ничего не отвечает, но поворачивает лицо малыша в одну и другую стороны, рассматривая солнечный ожег.

— Сейчас лучше, — говорит она и бросает на Нонка неприязненный взгляд. Затем начинается обычная процедура: доктор Габи берет малыша за мочку уха, заглядывает в слуховой проход, проводит указательным пальцем по его зубам, большим пальцем оттягивает нижнее веко и рассматривает белок глазного яблока. Она не настоящий врач — до выхода на пенсию по инвалидности была психиатром.

— Ворот колется? — спрашивает она Джеронимо.

Малыш трет шею.

— Колется, — говорит он.

Доктор Габи сдувает мелкие волоски с постриженной шеи, затем объезжает малыша в кресле каталке и направляется в помещение.

Нонк и Рел идут за ней. Называть заведение "домом на полпути" на самом деле не совсем правильно. Здесь постоянно живут четыре человека с постоянными заболеваниями. Стоит сюда попасть, и останешься. У Рел нет никакой квалификации, поэтому ее работа больше похожа на работу няни, сидящей с детьми, и уж, можете поверить, у нее на все свои правила.

Сразу после "Катрины" сюда прибыла "команда лучших из лучших". Из автобуса, приписанного к Супердоуму[1], держась за руки, вышли восемь взрослых мужчин. Доктор Габи считает, что у них застарелый аутизм, но наверняка она не знает.

1. Выставочное и спортивное помещение под куполом в Новом Орлеане.

Они явились из неизвестного учреждения без документов, без историй болезни, никто не знал их полных имен. Где бы они ни находились до тех пор, они были вместе, привыкли не ложиться допоздна и начинали браниться, если вечером им не показывали видео. Сегодня, когда Нонк и Рел проходят мимо гостиной, в ней сидят эти люди, освещенные голубоватым светом телевизора и пьют диетическую содовую. Идет фильм Робина Уильямса.

— Меня от них трясет, — говорит Рел.

Нонк осматривает их непонимающие лица, стаканы с содовой.

— Такая жалость, — продолжает Рел. — Можешь представить себя на их месте? Вечно смотреть телевизор, который для тебя включают, жить в городе, куда тебя высадят из автобуса.

На кухне остывают решетки с печеньем, запах стоит потрясающий. Столы изготовлены на заказ по высоте кресла-каталки, поэтому высотой они вполне подошли бы для малыша. Перед Джеронимо, сидящего на коленях доктора Габи, большая миска. Доктор Габи дает ему яйцо, затем своей ладонью охватывает снаружи его кисть. Вместе они разбивают яйцо о край миски, и в нее вытекает желток. Не говоря ни слова, доктор Габи дает Джеронимо следующее яйцо. Он бьет им о край миски, затем отдает обратно, и доктор Габи разделяет скорлупу надвое.

Рел хватает печенье.

— Боже, овсяное! — говорит она с полным ртом. — Когда-нибудь наши дети будут питаться печеньем.

— Печенье для добровольцев, — говорит доктор Габи, обращаясь к Рел. — Завтрашний список на холодильнике, — она поворачивается к Нонку. — Вы уже поняли, что ваша подружка — далеко не душа нараспашку, но, должна я вам сказать, дайте этой девушке список, все из-под земли достанет.

— Так что, — спрашивает Нонк, — никто так и не востребовал ваших "лучших из лучших"? — Он знает, что приехавших так называть не следует. Это Рел придумала им такое прозвище, и только она продолжает его использовать назло доктору Габи.

— Сотни тысяч людей согнаны с насиженных мест, — говорит доктор Габи. — Я знаю вашу знаменитую точку зрения, что этот ураган — не бог весть что. Но для остальных, для нас, это не так.

— Что, если их так и не востребуют? — спрашивает Нонк.

— Что если? — повторяет доктор Габи и пожимает плечами. — И пока мы не слишком разговорились: я не могу позволить вам остаться, Рэндал. Я знаю, такое бывает, но я не могу следить за тем, что тут происходит, когда меня нет. Эти люди

сейчас очень ранимы, а им требуется неизменная обстановка. Кроме того, мне надо подумать о ребенке.

— Да не волнуйтесь вы о малыше, — говорит Нонк. — О нем хорошо заботятся.

— Боюсь вообразить, — говорит доктор Габи, — где проводит ночи этот ребенок. Но я говорю о благополучии мальчика в этом заведении. Не знаю истории этих людей, не знаю, на что они способны. Способность отличить правильное от неправильного — привилегия разумных. Надо предпринять все, чтобы ребенок спал здесь в безопасности. — Доктор Габи позволяет Джеронимо окунуть палец в взбитые яйца. — Ты где спишь? — спрашивает она.

— Фургон, — говорит он, просияв. — Малыш, поцелуй фургон.

— Целое предложение, — говорит доктор Габи. — Не хочу знать, что оно означает, но он у вас уже предложениями разговаривает.

— Это я научила, — говорит Рел.

— Мы спим в шикарном доме на берегу озера Приэн, — говорит Нонк.

Доктор Габи смотрит на него с выражением, которое можно было бы передать словами “Да уж!”.

— О Господи, — говорит Рел Нонку, — я обязательно должна тебе кое-что показать, — и начинает подниматься наверх.

— Ну и как вам в роли родителя? — спрашивает доктор Габи. — Что освоили по части отцовства?

— Не знаю, — отвечает Нонк.

Доктор Габи выжидательно смотрит на него.

— Пытаетесь меня смутить? — говорит он. — Так скажите, что я делаю не так? Прививки малышу мы сделали. Все, как вы сказали.

— У доктора Бенсон, в клинике?

Нонк кивает.

— Это хорошо, Рэндал. Это поступок. Вы когда-нибудь видели ребенка с краснухой? Господи боже, после стихийных бедствий такое часто бывает. Классическое Гауссово распределение.

Нонк берет печенье.

— Если эти ребята опасны, то как же вы, как ваша безопасность?

— Ах, это неважно, — говорит она. — Дело не в этом. В жизни многие важные решения принимают за нас.

Нонк предчувствует, что за этим последует длинная речь вроде той, которую доктор Габи закатила недели две назад насчет развития ребенка. Сказать по правде, дожив до двад-

цати шести лет, Нонк обнаружил, что слушает лекции с удовольствием. Никогда еще никто с ним так долго не разговаривал с единственной целью сделать его лучше.

— Я бы не стала жить в Лейк-Чарльзе, — говорит доктор Габи. — Моя замужняя жизнь сложилась не так, как я того желала. Моя болезнь... я ее не выбирала. Нечто похожее может произойти и с вами, верно? Но вы гибки, легко приспосабливаетесь. Это одно из ваших свойств. Но когда дело доходит до мальчика, вы не должны уступать. Вы должны выбрать его и быть на сто процентов уверенным, что сделали верный выбор. Не думайте об этом как о возможном выборе, воспримите это как принятое решение, которому надо следовать. Вы не можете сегодня остаться здесь, потому что я выбрала этих людей, и ничто не заставит меня от них отказаться. Вам надо создать семью, Рэндал. Вы выбираете членов своей семьи и не можете передумать. Родная кровь не значит ничего. Ваша родня — а я знаю, о ком говорю, — ничего не должна вашей семье. Шерел говорит, будто малыш не ваш, что есть анализ, который должен это показать. По-вашему, этот анализ для малыша что-то значит? Думаете, эти люди — мои родственники? Я даже не знаю точно, кого как зовут. Но я выбираю их, Рэндал. И я не передумаю.

По лицу доктора Габи видно, что ей еще есть, что сказать, но сверху спускается Рел с картиной, на которой изображена утка. Утка летит над водой, выпятив грудь, расправив крылья, и готова сесть на воду. Глядя на нее трудно не зажмуриться — кажется, того и гляди раздастся выстрел.

— Это еще что такое?! — спрашивает Нонк.

— Получила в Армии спасения, — говорит Рел. — Для сельского домика. Нашего охотничьего домика.

На южном берегу озера Приэн, на самом кончике мыса, сохранился фундамент дома, снесенного пятьдесят лет назад ураганом “Одри”. Фундамент кирпичный, цемент смешан с известковым сланцем, который странно светится в лунном свете. Нонк раньше оставлял здесь на ночь фургон, подъезжал, будто возвращается домой с работы, натягивал гамак между фургоном и одиноко стоявшей трубой от камина. Сейчас Нонку достался отборный мусор — “Рита” смыла все здешние дома в канал, где волны разбили их на части.

В полутьме, освещая дорогу фарами, Нонк подъезжает к возвышению фундамента, заезжает на него и останавливает фургон на месте гостиной. Затем у них с Джеронимо начинается процедура отхода ко сну. Оба стоят на прохладных керамических плитках кухни, ветер с озера треплет на них одежду, они чистят зубы и смотрят на зелено-красные огни,

размечающие фарватер канала, и дальше, на мигающие огоньки насосов, качающих нефть на морских платформах. Здесь есть и туалет, единственное уцелевшее помещение в доме, но, когда Нонк осторожно приподнимает крышку над унитазом, оказывается, туда уже нагадили. Нонк мочится в спальне, затем застегивает на малыше свежий подгузник, а старый бросает в болотную траву, отчего лягушки сразу замолкают.

Нонк складывает и прислоняет к стенке фургона полки для посылок, расстилает на полу пенополиуретановый коврик, и отец с сыном укладываются на ночь. Джеронимо лежит на спине, глядя на светильник в потолке фургона. Нонк поворачивается на бок и смотрит на малыша. В глазах Джеронимо мало блеска, как будто огонек в нем когда-нибудь может погаснуть. Дыхание его тихо, чисто и имеет приятный запах. Малыш пока не очень похож на Нонка, но все же брови у него насуплены, что предполагает неопределенность и осуждение — без сомнения, черта Харлана. Глубоко посаженные карие глаза с золотистыми искорками, безусловно, от Марни.

— Где мама? — спрашивает Нонк малыша.

Тот не сводит глаз со светильника.

— Глаз, — говорит он. Сказано вполне ясно и определенно, хоть и совершенно равнодушно.

— Глаз? — переспрашивает Нонк.

— Нарк, — говорит малыш.

— Нонк?

— Глаз, — говорит малыш.

Нонк замечает темные ободки под его ногтями, берет малыша за руку и колпачком от шариковой ручки округлыми движениями чистит их один за другим. Джеронимо переводит глаза на руки и безо всякого выражения следит за работой отца. Ногти малыша мягкие и гладкие, безупречной формы. По словам доктора Габи, о плохом питании ребенка можно судить по желобкам на ногтях — ногти Джеронимо свидетельствуют, что Марни кормила его хорошо.

Нонк однажды навещал малыша в Новом Орлеане. Под бдительным взглядом Марни они вместе с Джеронимо ели пудинг и играли в игры вроде “Сейчас схвачу твои темные очки, брошу на пол, и ничего ты с этим не поделаешь”. Нонк, надо признать, краем глаза осматривал квартиру, желая понять, на что Марни тратит деньги. Строго говоря, тогда он на самом деле не видел малыша, не видел, что тот совершенен, что нисколько не избалован. Нонк знает, что когда-нибудь, когда малыш вырастет и Марни заберет его к себе, он забудет и это время, и то, как они рано по утрам мылись в ду-

ше Красного Креста, как добывали себе пиццу, как колесили вдвоем по загородным дорогам в фургоне с коричневой панелью. Это, наверно, и хорошо, говорит себе Нонк. В смысле общего развития, для ребенка это должно быть хорошо. И Нонк гладит малыша по голове.



Раздается звонок – калифорнийский – и Джеронимо смотрит на телефон, предчувствуя недоброе. Говорит женский голос:

– Я звоню по просьбе Харлана Ричарда. Это Рэндал Ричард?

– Да, это Ри-и-шард, – говорит Нонк.

– Вы, возможно, не знаете, – говорит женский голос, – но ваш отец не может пользоваться голосовыми связками. Он просил меня прочесть записку.

– Вы медсестра?

– Помощница сестры.

– Он умирает?

– Такого на диаграмме не написано, – говорит она. – Но это богадельня.

– Из богадельни никто не выписывается, ведь верно?

– Я бы так не сказала.

– Как давно вы знаете моего отца?

– Я только заступила на смену, – говорит она и начинает без выражения читать записку. “Я знаю, что мало дал тебе, Рэндал. Не всегда у меня было много такого, что можно отдать. Это забавно. Все, что я должен тебе сказать, ты и без того уже знаешь. Есть кое-что, что я хочу передать тебе. Эти вещи могут тебе пригодиться. Врач говорит...

– Дайте ему трубку, – говорит Нонк.

– У него может сразу не получиться, – говорит она. – Он потерял способность говорить.

– Пожалуйста, – говорит Нонк. – Дайте ему трубку.

Услышав хрип и пощелкивание, Нонк говорит:

– Вот твой внук, – и передает телефон Джеронимо. – Это твой дед, – говорит он малышу, но тот сидит молча, светящиеся голубым кнопки телефонной клавиатуры подсвечивают его щеку. Он даже не говорит “Глаз”. “Дед” – слово, которое малыш, вероятно, никогда не слышал. Нонк шепчет:

– Это Гровер.

– Гроу-гроу? – спрашивает малыш. – Гроу-гроу? – И начинает на свой лад бормотать песню Гровера об алфавите. Джеронимо невидящим взглядом смотрит в пространство, и Нонку приходит в голову, что малыш никогда не видел персонажей “Улицы Сезам”, а только слышал их голоса на компакт-диске.

Через некоторое время Нонк забирает у малыша телефон.

— Надо тебе поговорить с внуком, — говорит он, — это было бы только справедливо, ведь верно? Не у каждого деда есть внук. Слушай, пап, ты не думай, тут на тебя зуб никто не имеет. Я тебя не виню. Скажи сам себе: "Я сделал, что мог", и дело с концом. И когда придет время, не оглядывайся назад, ладно?

Нонк закрывает телефон, потянув, закрывает заднюю дверь фургона, подергав ногой, выставляет ее из-под одеяла в качестве приманки для москитов, которых нужно отвлечь от его сына, и, прежде чем таймер выключит свет в потолочном светильнике фургона, Джеронимо начинает похрапывать, и оба они засыпают.

На следующее утро, как в тумане, Нонк использует возможности, предоставляемые компанией "Браун". Запасшись несколькими стаканчиками кофе и бутербродами, они с малышом едут на восток через Уэлш, Айову, Локасин, где вновь опустевшие свинарники свидетельствуют о возвращении былой славы колбасному комбинату. Доставив партию груза в аэропорт Шенолт, фургон сворачивает в сторону тюрьмы Кэлкашью-Пэриш, проезжает мимо магазинов, торгующих оборудованием, мимо приюта для мальчиков, и, наконец, сворачивает туда, где вдоль обочины стоят автофургоны поручителей[1].

Приняв заключенных Нового Орлеана, тюрьма Кэлкашью увеличила число своих обитателей втрое. На автостоянке за оградой тюрьмы эвакуированные семьи эвакуированных заключенных разбили лагерь, часть территории которого теперь временно используется для свиданий. На палящем солнце, держась руками за ограду, стоят родители и жены, по другую сторону отбывающие срок близко к ней не подходят и заняты тем, чем, кажется, всегда заняты заключенные: подтверждают и уверяют, стараются сделать так, чтобы их близким легче верилось в будущее.

Заключенный, посетитель и охранник в равной степени обязаны поставкам Красного Креста, поэтому от всех одинаково пахнет освежителем дыхания "Скоуп", гостиничным мылом, и у всех вокруг подмышек одинаковое кольцо алюминиевой соли[2]. Нонк привозил в эту тюрьму все, от видео-игр

1. Лицо, обладающее специальной лицензией. Стремясь найти заинтересованных в залоге, поручители практикуют в автоприцепах, которые подгоняют к местам, где их услуги более всего востребованы.
2. Дезодоранты содержат соли алюминия.

до пиджаков для венчания заключенных, но сегодня он, объезжая лежащих на пешеходных дорожках людей, катит ручную тележку, груженную ящиками с легко надеваемыми наручниками, жилетами, спасающими от удара ножом, и коробками компании "СлэмТек"[1].



Ожидая досмотра в очереди, Нонк прислоняется к этим ящикам и проверяет работу базы данных о заключенных, запущенную администрацией тюрьмы. Может быть, просто так — он не знает, как иначе это объяснить. Нонк подходит к охраннику и говорит, что хочет повидать Марни Бруссард, что он ее брат, Даллас. Охранник указывает пальцем через стопки бланков, на которых должно отмечаться местоположение отпущенных под залог, и делает запрос о Марни по радиоустройству.

— Если такая есть, — говорит он, — ее сейчас выведут.

Нонк сдает привезенный груз, покупает бутылку содовой, потом ждет в фургоне с Джеронимо, читает газету, между тем компакт-диск доигрывает до конца и автоматически начинает сначала. В газетной статье говорится о женщине, сбросившей детей с моста. У них будто бы не было никаких документов, свидетельств о рождении, ничего такого. Она родила их, вероятно, дома, в ветхом здании, и потом ни в школу не водила, ни врачу не показывала. Как ни странно, даже имен их не помнила и, как ни старалась, так и не могла надумать, что же с ними делать.

— Неужели, — думает Нонк, — такое возможно, чтобы никаких документов у человека не было? Может, если только жизнь идет наперекосяк, если живешь вне общества.

Наконец, через ветровое стекло он видит, как выводят Марни, ее поднятые руки ярко освещены солнцем. Вокруг суетится народ в разноцветных тренировочных костюмах, но, увидев точно так же одетую и Марни, Нонк поражен.

— Ты только посмотри, — говорит он сыну, выходит из фургона, пересекает площадку и берется за ограду. Марни, глядя на него, качает головой.

— Надо было мне догадаться, — говорит она. — Брат бы никогда не приехал меня навестить.

— Какого черта ты здесь делаешь? — спрашивает Нонк. — Я тебя искал.

— Как малыш? — спрашивает она.

— Нормально, — говорит Нонк. — Что с тобой стряслось?

1. Компания среди прочего продаёт браслеты, позволяющие определять местонахождение человека.

— Это ошибка, все скоро выяснится.

— Что ты натворила?

— Ничего, я же говорю, это ошибка.

— Пыталась надуть Агентство по чрезвычайным ситуациям?

Марни выставляет руку.

— Слушай, хватит. Ты не представляешь, что здесь делается? Тут пол-Нового Орлеана собралось. Душа нет, я сплю на столике в кафетерии. Мужчины и женщины вместе, трансвеститы, насильники. Нас отправляют на время в Йенскую государственную тюрьму умеренно-строгого режима. — Она смотрит на него молча, дает время осознать сказанное. — Там было несколько кошмарных стерв.

Рядом с ними осужденный папаша пытается ободрить свою жену и дочь, которые, как понимает Нонк, слушают Марни с величайшим участием.

— Что происходит? — спрашивает Нонк.

— Слушай, — говорит Марни. — Я была с этим парнем и не знала, во что он впутался. И меня в это время взяли. Давно бы выпустили, если бы не перегрузка тюрьмы. Тут передо мной в очереди тысяча человек. Мне еще даже обвинение не предъявили.

— Обвинение в чем?

— Я же тебе говорю, ни в чем. Я ничего не нарушила.

— Я бываю тут каждый день, Марни. Могла бы и сообщить. Мне нужна была твоя помощь.

— У тебя все получится, а я выйду отсюда, не успеешь оглянуться. Он хороший мальчик, никаких указаний не требуется.

— Ну да, — говорит Нонк. — Скажи, что означает “бвей”?

Она смеется.

— Ты серьезно? А что, по-твоему?

— Понятия не имею.

— Это волшебное слово, Рэндал. “Бвей” означает “пожалуйста”.

— Он говорит “глаз” — это что такое? — спрашивает Нонк.

— Говорит “глаз”? — переспрашивает она. — К чему бы это?

Нонк качает головой.

— А что это за инициалы МО?

— Господи, Рэндал, да ты что, издеваешься? Попробуй ему почитать. Я оставила книжку “Большие каникулы Элмо”.

— Он говорит “нарк”.

— А ты слушай больше.

Нонк замечает, что сетчатая ограда, за которую он держится, дергается. Он смотрит вдоль ряда посетителей и ви-

дит на некотором расстоянии экскаватор, с помощью которого команда заключенных, заслуживших доверие начальства тюрьмы, пытается выправить опоры изгороди, согнутые “Ритой”.



— Думаешь, хорошо ему видеть тебя вот так? — спрашивает Нонк.

— Так он здесь? Ты привез моего мальчика и не даешь мне на него взглянуть?

— У меня есть несколько вопросов к тебе, Марни, я хочу получить на них ответы.

— Не будь дерьмом, — говорит она. — Где он?

Нонк, не отвечая, пристально смотрит на нее.

— Ты дерьмо, — говорит Марни. — Вся моя вина в том, что я позволила Аллену позвонить по моему телефону. Вот и все, клянусь тебе. Он вляпался в какую-то историю, а я об этом ничего не знала. — Говоря это, она пытается спрятать руки в карманы, но у нее нет карманов.

Нонк и Марни не встречались чуть ли не два месяца, но он хорошо помнит ее взгляд, который, по его мнению, говорит о хороших шансах. Сейчас она снова так смотрит, только на этот раз не в будущее, а чтобы не видеть прошлого.

— Слушай, они думают, что я доставляла дурь. Что носилась по округе весь вечер, развозила амфитамин. У меня ребенок. У меня есть обязанности. Я в жизни не прикасалась к амфитамину, — Марни прикрывает ладонью глаза, как бы желая отгородиться от ужасной нелепости. — Господи, боже, Аллен такой болван. Надо было мне с тобой оставаться, — говорит она и начинается смеяться. Смех жалкий, полный раскаянья, говорит он о том, что от этого ее жизнь стала бы еще горше.

Нонк вспоминает Джеймса Б. и то, как тот трясся. О том, как Джеймс Б. не мог поверить, что Господь создал винные магазины сверкающими.

— У меня вопрос, — говорит Нонк. — И давай без увертoк, ладно? Джеронимо его настоящее имя?

— О чем ты говоришь?

— Я спрашиваю, как ребенка назвали при рождении.

— Ты шутишь? — спрашивает она. — Ты же сам его так назвал.

— Я никогда не видел свидетельства о рождении или чего-то подобного.

— Где ты этого набрался?

— Просто думал о той женщине, — говорит Нонк. — Ну, знаешь, о той, которая скинула своих детей с моста. Она, наверно, тоже здесь. Черт, да ты, пожалуй, ее знаешь.

— О Господи, — говорит Марни и смеется оскорбленно. — Какая же ты задница!

— Что?

— Так я тебе и поверила. Задница — ты. Я так люблю этого ребенка, что ты и представить себе не можешь.

— Что я такого сказал?

— Я понимаю, к чему ты клонишь, потому ты и задница. Давай, прямо скажи. Выкладывай.

Нонк начинает пятиться к фургону, берет на руки малыша, гладит его по голове, потом дает ему в руку рисунок ара и говорит:

— Подари маме.

Они снова идут через площадку, но вскоре Джеронимо пускается бежать. Нонк отстает, держится на расстоянии, смотрит, как мальчик хватается за проволочную сетку. Нонк видит, как Марни начинает плакать, смахивая слезы дрожащими пальцами. Это — подлинное. Это — горе. Эта женщина не думает о том, что увидит своего ребенка через неделю; как раз наоборот; и Нонку вдруг становится ясно, что с малышом ему предстоит провести еще долгое время.

В ресторанчике "Чак И. Чизиз" пахнет давно не мытыми обитателями, разместившимися в полуотгороженных от зала "кабинетах", но идти больше некуда. Огонек, теплящийся в Джеронимо, тускл, поэтому Нонк, медленно обходя игровую комнату, дает ему возможность поиграть на всех автоматах, покататься на всех машинках и лошадках. Самая жуткая, мысль, которая не идет у него из головы, пока он бросает жетоны в автоматы — что он не знает, кто оставил малыша у него в фургоне. Эта мысль пришла ему в голову лишь по дороге из тюрьмы, и стоит Нонку представить Джеронимо на руках незнакомого человека, пицца начинает гореть у него в желудке.

Нонк становится на колени, приближается лицом к безупречным щекам Джеронимо, его широко расставленным зубам, глазам, черным, как вода в дельте реки, — малыш "едет" на полевой кухне со скоростью миля в час.

— Кто мне принес тебя? — спрашивает Нонк у малыша.

Нонк протягивает руку и проводит ею перед его глазами, но Джеронимо не обращает на это внимания, тем самым показывая, что не видит места, в котором его мать постоянно отсутствует. Нонк прикасается к мочке его уха, смотрит ему в глаза. Если бы ребенок просто заплакал, Нонк знал бы, что делать. Когда ребенок плачет, его надо дружелюбно встряхнуть и шлепнуть по мягкому месту.

Нонк опускает несколько жетонов в автомат, затем звонит Рел.

Она берет трубку, и он говорит:

— Ты серьезно насчет этой затеи с лесным домиком? Я потому спрашиваю, что мне надо знать — это не шутка?

— В чем дело? — говорит она. — Что-то случилось?

— Скажи, что все это всерьез, что так и будет. Нельзя воспитывать сына в фургоне вечно.

— Разумеется, всего можно добиться, если захочешь. Гусей ты там видел. Уток полно. Покупаем автомобиль, превращаем псарню в охотничий домик, а там, не успеешь оглянуться, — у нас уже шеф-повар свой и сауна. Оглянуться не успеешь, а уж народ валит к нам на медовый месяц.

— Я могу купить машину с четырьмя ведущими колесами, но если с твоей стороны это какая-то комбинация...

— Народ уже шлет реквизиты, — говорит она. — Когда я была не на твоей стороне? В целом мире — я, единственная, всегда на твоей стороне.

Нонк некоторое время смотрит на Джеронимо, медленно помешивая ложечкой в чайной чашке.

— Больше никаких разговоров об анализах ДНК, договорились? Он — мой сын, это окончательно. И я больше не хочу слышать о Марни.

— Ты прав, — говорит Рел. — Мне не следовало делать этот анализ. Ребенок твой, это очевидно. А это значит, что он будет твой всегда, что бы с тобой ни случилось и куда бы ты ни поехал.

— Так-то лучше, — говорит Нонк. — Сейчас мне надо позвонить, а тебе пора собирать вещи.

— А как же малыш?

— Отныне мы все будем делать правильно.

Нонк протирает лицо водой из красного пластикового стаканчика, кладет влажную руку на плечо малыша и набирает калифорнийский номер. Трубку берет его отец, и Нонк говорит:

— Позови кого-нибудь. Надо поговорить.

Через минуту трубку берет дежурный.

— Энрике aquí[1].

— Энрике, — говорит Нонк. — Не поможете мне поговорить с отцом?

1. У телефона (*исп.*).

— Э, — отвечает Энрике, — вы тот самый парень, за которого подружка говорила? Я слышал об этом разговоре. Это бессердечно.

— Это был кто-то другой, — говорит Нонк.

— Хорошо-хорошо, — говорит Энрике, — а то ваш старик меня достал. Мой папаша, знаете, заскорузлый был тип. Ваш отец мне его напоминает.

— Как он поживает?

— Он умер, — говорит Энрике.

— Умер?

— Да, в прошлом году. Подождите, вы о своем отце спрашиваете или о моем? Я думал, вы о моем старике.

— Вы мне мозг канифолите? — говорит Нонк.

Энрике не отвечает. Слышно, как он говорит:

— Это ваш сын, хочет знать, как вы поживаете. — Затем, уже обращаясь к Нонку: — Придется подождать, пока он напечатает.

— У него что, ноутбук?

— В богадельне есть вай-фай, — говорит Энрике. — С помощью компьютера он может говорить, понимаете?

Затем дежурный медленно читает, по мере того как Харлан печатает:

— Видел ураган по телевизору. Все в порядке?

Нонк не понимает, к кому может относиться слово “все”, но говорит:

— Да, скажите ему, много народу пропало без вести, но мы пережили.

Энрике повторяет это, затем читает следующую фразу:

— Детям очень тяжело. Мне было шесть, когда налетел “Одри”. Говорят, из-за него у меня рост прекратился. В тот год после “Одри”.

Нонк слышал рассказы старожилов об “Одри”, о морском прибое, бушевавшем на суше в двадцати милях от побережья как раз на месте стадиона возле Лейк-Чарльз, о том, что не было предупреждения, что аллигаторы спали под деревьями, ожидая, пока тела, застрявшие в ветвях сгниют и свалятся. Но Харлан об этом никогда не упоминал.

— Если бы я остался в Лейк-Чарльзе, — читает дальше Энрике, — меня бы унес ураган. Вот где мне следовало быть. Вот так, говорят, погибли каджуны.

— Передайте ему, что я получил его посылку, — говорит Нонк.

Энрике передает и это, затем говорит:

— Числа в моем бумажнике — интернетные покерные счета. Это мой банк. Ни налогов, ни каких-либо следов.

Через сеть перечисляю туда, через сеть можно вывести обратно.

— Спросите его, — говорит Нонк, — есть у него машина с четырьмя ведущими колесами?

— Э, ребята, — говорит Энрике, — как насчет разговора по душам? Вы ведете себя как дальние родственники, а не как члены семьи.

— Каков его ответ? У него есть?

Энрике спрашивает, затем читает ответ:

— Как ты назвал малыша?

— Джеронимо, — говорит Нонк.

— Ты назвал малыша Джеронимо? Это жестоко[1]. У тебя вырастет жестокий ребенок. Имена в таких случаях определяют судьбу. Мое настоящее имя Максимилиан.

— Спросите его, — говорит Нонк, — это внедорожник или пикап — ну, знаете? — и каков пробег.

Энрике спрашивает, затем говорит в трубку:

— У меня несколько автомобилей, чего бы они ни стоили, они — твои. Я собирался оставить их прокаженным.

Этой фразы Нонк не слышал с детства. Тогда люди выставляли старую мебель на пристань к приходу судна, которое снабжало остров Карвиль, где находился лепрозорий. Харлан шутил, что человек на самом деле ничем не владеет, просто любое имущество предоставлено ему в пользование на время прокаженными. Харлан не смеялся, с тех пор как лишился голосовых связок, — только и мог, что делать глаза пошире да губы потоньше, — но Нонк помнил его сочувственный смех над судьбой прокаженных, как если бы они были ближайшей к каджунам ветвью на эволюционном древе.

— Не похоже, чтобы он умирал, — говорит Нонк. — Считаете, что он умирает?

— Спросите его, — говорит Энрике. — Он хочет с вами поговорить.

— Что?

— Он пробует говорить последнее время. Упражняется.

— На компьютере?

— Нет, говорить вслух. Понять невозможно, но можно догадаться, что он пытается сказать.

Нонк берет телефон поудобней, думая, о чем это отец хочет поговорить: о полях боя, с которых он бежал, о памяти,

1. Для американцев имя Джеронимо стойко ассоциируется с носившим это имя вождём апачей, возглавившим кровопролитное восстание.

которая по нему останется, о том, где бы он хотел быть похороненным. Но когда Харлан берет трубку, и раздается хриплое влажное потрескивание из глубины пищевода, становится ясно, что речь о малыше. Нонк воображает отца с открытым ртом, который подобен одному из домов, лишившихся кровли, и, хоть звук ничем не напоминает человеческую речь, Нонк понимает, что отец хочет сказать о внуке, об урагане и о предстоящем годе.

Нонк едет к своему старому дому, хватает там с дивана ключи, деньги и бумажник. Среди валяющихся на полу вещей он замечает маленький бинокль, с каким можно пойти на футбольный матч, до самого "дома на полдороге" малыш смотрит на мир через одну из его половинок. Когда Нонк подъезжает и останавливает фургон на траве, "команда лучших из лучших" сидит в складных шезлонгах на террасе, а Рел медленно читает вслух полный список членов Луизианской психологической ассоциации. Прочитав имя, она осматривает лица слушателей в надежде на реакцию, повторяет его еще раз, затем читает дальше. Джеронимо бросается бегом от фургона и усаживается на террасе в пустой шезлонг.

Становится душно, ветер стих, все обложено облаками, сидящие на террасе вслушиваются в голос Рел, как будто она произносит их имена, как будто в любой момент каждый может быть причислен к числу уже имеющих имя.

Нонк поднимается на террасу по пандусу для кресла-каталки. Рел встает и роняет распечатку на свое кресло.

— Я уж думала, ты не приедешь, — говорит она. — На очереди Миссисипская психологическая ассоциация.

— Ты готова? — спрашивает он.

— Мы что, правда едем? — Как бы для того, чтобы убедиться в реальности происходящего, она добавляет: — Я хочу сказать, а как же твоя работа? Тебя не выгонят?

— Могут, — говорит он. — А может быть, спишут все на ураган.

Она оценивающе смотрит на него и, наконец, говорит:

— Ладно.

В кухне они застают доктора Габи — она заворачивает приготовленные бутерброды в пластиковую пленку. Джеронимо приносит из буфета миску и выжидательно замирает возле нее.

Как будто зная о причинах появления здесь Нонка, доктор Габи не оборачивается к нему.

— Узнали кого-нибудь в списке? — спрашивает она у Рел.

— Они не знают даже, как вас зовут, — говорит Рел.

— Они и не должны знать, — отвечает доктор Габи. — Просто должны узнать свое имя.

— Мы едем в Калифорнию, — вступает в разговор Нонк.

— Когда уезжаете? — спрашивает доктор Габи.

— Сейчас.

— И как поедете?

— На фургоне.

— Берете рабочий фургон в Калифорнию? А начальство не возражает?

Нонк пожимает плечами, но доктор Габи этого не видит. Она занята тем, что кладет каждый из приготовленных бутербродов в центр кусочка пластиковой пленки, затем подворачивает одну ее сторону, другую и закручивает их края между собой.

— Ребенка вам брать нельзя, — говорит она. — В угнанном фургоне. У вас там даже нормального сиденья нет.

— Знаю, — говорит Нонк. — Потому-то я здесь.

Доктор Габи разворачивается в кресле-каталке и оказывается лицом к нему.

— Доктор Габи, — говорит Нонк. — Я поступил по вашему совету. Я сделал выбор. Я решил стать отцом, как полагается. Из всех тех гадостей, которые мой отец сделал людям, есть надежда сделать что-то хорошее. Я прошу всего лишь неделю. Ехать с нами малышу ни к чему. Я знал, как вы посмотрите на это дело: ехать — не в его интересах.

— Пригоним сюда машину с четырьмя ведущими колесами, — говорит Рел.

— Вы хоть понимаете, — говорит доктор Габи, — во что ввязываетесь? Вам понадобится свидетельство о смерти, регистрация в другом штате, страховка и все это только для получения права на имущество. Боже упаси, если есть заверенная копия завещания.

— Мы окажемся там прежде, чем он умрет, — говорит Нонк.

Доктор Габи поворачивается к Рел.

— Кто поведет эту машину сюда? Рел? А если там будет ручная коробка передач? Или она поведет фургон?

— Тут дело не только в автомобиле с четырьмя ведущими колесами, — говорит Нонк.

— Хватит нас отговаривать, — говорит Рел. — Мы еще даже за дверь не вышли.

Доктор Габи передает Рел поднос с бутербродами.

— Пожалуйста, раздайте ленч.

Но Рел поднимается наверх закончить сборы.

— С малышом помогу, об этом не волнуйтесь, — говорит доктор Габи. — Мне мальчик нравится. Дело вот в чем: назовите мне хотя бы одного человека, который уехал из Луизианы и потом вернулся.

— Я этот человек, — говорит Нонк. — Я вернусь.

— Вы хоть понимаете, что говорите? Оставляя ребенка, вы не выполняете перед ним свои обязательства.

— Всего на неделю, — говорит Нонк.

Доктор Габи задумывается над этими словами. Она подъезжает в кресле-каталке к холодильнику, достает пакет молока, затем наливает Джеронимо бумажный стаканчик витамина D.

— Вы мои взгляды на эти вопросы знаете, верно? Понимаете, что, если ребенок останется со мной, мне придется делать то, что в его интересах. Этим я буду руководствоваться при принятии решений.

— Именно это мне и нужно, — говорит Нонк. — Потому-то я и здесь.

— Вы нашли его мать?

— Она в тюрьме "Кэлкашью Пэриш", мэм.

Доктор Габи вздыхает и смотрит на малыша.

— Можете дать мне номер, куда звонить? Если у вас сотовый сломается или окажется вне зоны обслуживания, есть там кто-нибудь, с кем можно связаться?

— Нет, — говорит Нонк.

— Можете точно сказать, когда вернетесь?

— Планирую через неделю. Два дня туда, два обратно, два на бюрократические формальности. Еще день на непредвиденные обстоятельства.

— Простите мне такую настойчивость, Рэндал, но не могли бы мы договориться о точном времени вашего возвращения?

Взгляд Нонка становится вдруг недоверчивым.

— Понимаете, всякое может случиться. Я не все предвижу. Если вы спрашиваете, могу ли я назвать точное время, то, пожалуй, мой ответ — нет.

— Тогда так и запишем: время возвращения вы можете указать только предположительно. Хорошо?

Нонк, чувствуя себя преданным, опускает голову.

— Рэндал, — говорит доктор Габи, — вы хоть понимаете, что делаете? Вам не надо ехать, понимаете? У вас есть работа, я могу помочь вам. Хотите, будете работать у меня. Я вас выберу. Так и сделаю.

— Слушайте, доктор Габи, — говорит Нонк. — Это же всего на неделю.

Доктор Габи кладет на стойку чистый лист бумаги и ищет карандаш.

— Надо, чтобы вы написали заявление о передаче мне прав опеки. Оно может понадобиться, если что-то случится, если медикам придется принимать решение о лечении.

— Временная опека.

— Разумеется, временная.

Доктор Габи спокойно вытаскивает небольшой контейнер-термос, чтобы дать им с собой в дорогу. Пока Нонк пишет заявление, она кладет в термос бутерброды, банки с диетической содовой и голубой лед, чтобы все это сохранить холодным. Пишется Нонку легко, но, когда он пытается перечитать готовое заявление, смысл как-то не складывается.

— Надо за ней приглядывать, — говорит доктор Габи, вручая Нонку контейнер. — Я всегда думала, что Шерел способна на хорошие поступки, но, честно говоря, не очень-то много их видела.

Уже направляясь к выходу, они видят Шерел, она вразвалку идет по лужайке, неся к фургону, как беременная свой живот, толстозадую швейную машинку.

— Ты что делаешь? — кричит ей Нонк. — Мы же сразу — обратно.

— Я никуда не езжу, — кряхтя, отвечает Рел, — без швейной машинки.

Доктор Габи смотрит на Нонка. Таким взглядом на него смотрят в церкви пожилые женщины.

— Что? — спрашивает он.

Она продолжает смотреть на него.

— Ничего, — отвечает она.

Нонк идет к фургону, чтобы достать Джеронимо желтый проигрыватель компакт-дисков и остальные его вещи в сумке, сложенные Марни. Казалось, перед отъездом Нонку предстоит переделать кучу дел, но на самом деле — нет. Он возвращается к крыльцу и ставит на него сумку с вещами. Джеронимо сидит на пандусе, свесив ноги, держит в руках бинокль и смотрит только в одну половину так, чтобы Нонк мог смотреть в другую.

— Большая птица, — говорит Джеронимо.

Нонк приседает к малышу.

— Нонку надо ехать, — говорит он. — Но он сразу вернется. Запомни, Нонк всегда возвращается. — Затем он достает ДИАД и вручает его Джеронимо. — В этой штуке есть чип Джи-пи-эс. Куда бы ты ни поехал и что бы с тобой ни случилось, с помощью этой штуки я смогу тебя найти. Если случится что-нибудь непредвиденное, я поговорю с друзьями из

Единой службы доставки посылок и таким образом смогу тебя найти. — Нонк целует малыша в лоб. — Помни, что Нонк — твой настоящий отец, — говорит он, — и что он сразу вернется.

Прежде чем он успевает попрощаться с доктором Габи, она в кресле-каталке уезжает в дом. Нонк забирается в фургон, рядом с водителем уже сидит Рел, снимая с крюков сиденье Джеронимо, висевшее между пассажирским и водительским сиденьями. Затем достает распечатку с материалами, которые она нашла в интернете, под заголовком "Библия охотника за квартирой в Л.-А.[1]".

— Что? — говорит она, заметив взгляд Нонка. — Нельзя же в Л. А. спать в фургоне.

Все идет нормально, думает Нонк, заводя двигатель. Эта часть предприятия прошла легче, чем он рассчитывал. Нонк боялся, что прощание с Джеронимо огорчит малыша, что он сам расстроится и начало получится неудачное. Но все складывается неплохо.

— Надо будет наверстать время, — говорит Нонк, когда они едут по аллее к улице, и он последний раз машет из окна. "Команда лучших из лучших" равнодушно провожает фургон глазами. Малыш смотрит на него одним глазом.

— В бинокль, — думает Нонк, — я должен казаться ему огромным, занимать все поле зрения.

Они сворачивают на Лейк-стрит, и план начинает претворяться в жизнь. На этот раз вместо того, чтобы события происходили с Нонком, он сам заставляет их происходить, и это — новое, приятное чувство. Для воплощения плана потребуются лучшие его качества, это он понимает. Для успеха потребуются все его способности.

Рел начинает менять настройки радиоприемника.

— Кое-кто говорит, что Нью-Йорк — столица моды, — говорит она, — но на самом деле столица моды — Л. А.

Нонк вспоминает единственный раз, когда он ездил с Рел к ее отцу и пытался себе представить, где хоронили тамошних собак. Куда бы ни шел, он представлял переплетение их тел у себя под ногами, но теперь от таких мыслей надо избавляться. Там у них домики с каркасами в форме буквы А, их привозят в разобранном виде, и хозяин может собрать их где угодно. Вот о чем следует думать.

1. Лос-Анджелес.

— Знаешь, из кого получился бы великолепный шеф-повар? — говорит он. — Из брата Донни Труссо. Этот парень тебе что угодно приготовит.

— Да, он молодец, — говорит Рел, открывает контейнер и достает две банки содовой. Затем хватает бутерброды. — Я таких тысячу съела, — говорит она и выбрасывает их на дорогу.

Нонк смотрит, как они кувыркаются в зеркале заднего вида. Он вдруг вспоминает, что собирался оставить доктору Габи список слов.

— Ах, черт, — говорит он. — Я хотел записать советы, как обращаться с малышом.

— Не волнуйся, — говорит Рел. — Доктор Габи — профессионал.

— Наверно, ты права.

— Конечно, я права, — говорит она. Они подъезжают к мосту I-210. — А тебе надо немного расслабиться, верно? Будь к себе помягче. Твой отец тебе больше не навредит, он уже почти мертв. И не имеет особого значения, вернемся мы на денек попозже или даже на неделю. Что тогда доктор Габи сделает? Закатает ребенка в ковер и положит на обочине? Нет, она его любит. Что бы ни случилось, все будет хорошо. Если мне придется задержаться в Денвере, все будет нормально.

— Тебе надо будет задержаться в Денвере?

Она берет его руку.

— Видишь, ты не расслабляешься.

Въезжая на мост Лейк-Чарльз, Нонк видит мышцы и локти нефтехимических заводов, из их труб рвется голубое пламя. Внизу — бегущие гребни коричневого прибоя, и повсюду — вскрытое брюхо Луизианы. На вершине моста нет никаких признаков того, что́ здесь случилось, ни пластикового стаканчика на пешеходной дорожке, ни детского сандалика. Нонк смотрит на город, похожий на библейскую иллюстрацию конца света, где все огромно и впечатляюще, но, если присмотреться, по углам на долю людей выпадают какие-нибудь ужасы. Нонк включает четвертую передачу, и даже такое движение кажется важным, как будто это первый шаг претворения в жизнь плана, который так велик, что его невозможно представить целиком. Всякий пустяк теперь кажется важным поворотом. Целуешь сына в макушку и, несомненно, это важный поступок. Включаешь зажигание и сцепление, и понимаешь, что это незаурядное событие. Переезжаешь на запад мост Лейк-Чарльз навстречу ветру, надвигаешь на глаза солнечные очки, и даже это движение кажется связанным с вечностью.

# *Интересные факты*

ИНТЕРЕСНЫЙ факт: хлопья фирмы “Тукан” сериал к моему погружению и быстро.

Не можете понять смысл? Это ничего. Я тоже пыталась и не раз, но без толку. Самое главное мы скрываем даже от самих себя.

На самом деле, тема умерших жен всплывала не так давно. Мы с мужем говорили об этом по дороге домой с литературного вечера. Дело было в Сан-Франциско, что означает дожди зимой, а мы как раз только что побывали на собрании, где читали короткий рассказ из сборника одной сексапильной писательницы из местных. Ей было двадцать с чем-то, руки худые, но мускулистые, блестящие черные волосы. Итак, вы уже поняли: я собираюсь обсуждать бюст всякой женщины, которая окажется у меня на пути. Ее же бюст не скрывался, не колебался демонстративно под белым атласом, но был крайне, мучительно нормален, и за это я ее возненавидела. В рассказе, который она читала, говорилось о человеке, решившем возобновить личную жизнь после смерти жены. Как это обычно бывает, умерла она то ли от аневризмы аорты, то ли попав в автокатастрофу, то ли после долгой борьбы с раком. Смерть от рака — самый плохой исход для жены, героини литературного произведения. Как бы то ни было, герой рассказа выжидает положенное время после потери жены — шестнадцать месяцев! — и собирается снова найти себе подругу. После такого горя он переполнен мечтами о женщине. Первая же цыпа, с которой он заговаривает, готова на все. После долгого воздержания он шаловлив и резв, и секс у них, сами понимаете, просто ах! Вдовец сорока с чем-то лет дрючит эту двадцати с чем-то штучку на корпусе своего перевернутого каяка. Заканчивался рассказ неявно выраженной моралью: любовь распускается еще более пышным цветом оттого, что мужчина на собственном опыте постигает болезненную хрупкость жизни. Ну хорошо: не на собственном — на чужом.

Аплодисменты, вопросы и ответы и снова аплодисменты.

Как я уже говорила, шли дожди. Мы вышли из “Буксмит” на Хейт-стрит. На тротуаре там и сям стояли мокрые попрошайки. Мы были такие гады, что никому не подавали.

— Как тебе рассказ? — спросил муж. Я видела, что ему понравился. Ему все нравится.

— Сочувствую умершей жене, — сказала я.

На что мой муж, величайший болван из лауреатов Пулитцеровской премии, сказал:

— Но... она даже не действующее лицо.

Все это было через год после того, как мне поставили диагноз, после операции, химиотерапии и разного рода вмешательств, уколов, унижений и лечения. Когда я заболела, наша младшая девочка превратила себя в лошадку: теперь наша дочка-лошадка не поддается выездке, ничего не говорит и только ржет. А перед этим прошла этап, который у нас назывался “Интересные факты”. Дочка объявляла:

— Интересный факт, — и затем делилась с нами тем, что ее удивило: кит-убийца в море не убил ни единого человека; в тканях насекомых много белка; колибри испытывают разнообразные чувства и часто грустят.

А вот вам мои интересные факты. Люрпон, помимо того, что прекращает овуляцию, используется для химической кастрации насильников. Винбластин прерывает деление клетки. Этот ядовитый алколоид получают из пурпурных цветов барвинка. От тамоксифена у вас начинает поскрипывать тазобедренный сустав. Через год после последней химиотерапии у меня выпали брови. И долгое время после удаления груди, вам все кажется, что она на месте. Она мерзнет, болит при физической нагрузке, кажется, что она мокра после душа и можете вытираться полотенцем, как ненормальная, все равно сохраняется ощущение, что с нее капает.

Еще до получения мужем Пулитцеровской премии мы заключили своего рода договор: я буду обожать его, даже если он наберет несколько фунтов, а он будет обожать меня, даже после двусторонней мастектомии. Кому еще мы такие нужны? Кому в самом деле? Теперь среди героев, про которых он читает, полно молодых Дороти Паркер, толпящихся вокруг моего мужа. В написанном им романе действие самой плохой части разворачивается в Северной Корее, поэтому его приглашают на все эти мероприятия, где полно корейских светских львиц, корейских доноров, корейских активистов, корейских писателей и прочих столпов корейского общества.

Я что, упустила какие-то женственные и прекрасные слова?

— Вы так чувствительны ко всему корейскому, — сказала моему мужу корейская светская львица.

— О, он у нас по этой части силен. Он всегда говорит: “А это моя прекрасная жена”.

Не обращая на меня внимания, корейская светская львица добавляет:

— Вы должны посетить наш книжный клуб.

Если б только я могла нажимать на кнопку, когда кто-то из них произносит эту фразу.

Но я просто устала. А вот места, в которые удаляется мой мозг, когда я устаю. Мы — в четырех кварталах от дома, где находятся наши дети, достаточно взрослые, чтобы их можно было оставить без няни. В такие вечера наш сын — ему одиннадцать с половиной — рисует комиксы о монгольском нашествии и о движении в защиту гражданских прав — его учитель истории позволяет ему сдавать сочинения в картинках. (Сан-Франциско!) Наша дочка в девять лет увлекается приготовлением мучных изделий. Волосы стянуты в конский хвост, вся в муке, месит тесто. Дочка-лошадка, которой всего семь, занимается выездкой. Она — лошадка, которой не нужен всадник.

Но разговоры о детях — для другого рассказа. Теперь я едва успеваю их рассмотреть. Представлять себе их профили, подобные черным камеям, слишком тяжело.

Мы с мужем идем под дождем и за руки не держимся. Я по-прежнему чувствую винбластин в ногтевых ложах, это места, где, как выясняется, человеческое тело накапливает яды. У вас никогда не возникало желания сорвать с себя ногти и почесать под ними, отодрать их, отломать, чтобы чесать, чесать, чесать?

Сгибаю пальцы, чешу ногти о заклепки на кожаном ремне.

Я понимаю, от чего следует воздерживаться, и все же спрашиваю его:

— Сколько будешь ждать?

— Ждать чего?

— После моей смерти. Сколько пройдет месяцев, прежде чем пойдешь и подцепишь какую-нибудь двадцатилетнюю для секса на каяке?

Мне, конечно, не следовало говорить ничего подобного, я знаю. Он ведь понятия не имеет о том безумии, что творится у меня в голове.

Муж некоторое время раздумывает.

— Чтобы все было по закону, — говорит он, — потребуется свидетельство о смерти. Иначе это будет похоже на двоеженство или что-то такое. Так что придется ждать аутопсии, похорон, и пока не провернутся колеса бюрократической машины, и мне выдадут нужные бумаги. Наверняка месяца три-четыре.

— Получить свидетельство о смерти, — говорю я. — Да, это, должно быть, серьезное препятствие. Но погоди, ты же знаешь парня из городской управы. Кейф... как его?..

— Да, Кейф, — говорит он. — Кейф, конечно, свидетельство о смерти добудет мигом. Этот чувак мне обязан. Парень

вроде Кейфа может получить его, лично обойдет всех и соберет подписи. Уйдет, не знаю... от недели до двух.

— Так это и есть твой ответ: от недели до двух?

— Плюс-минус, разумеется. Тут свои закавыки. Кое-что от Кейфа не зависит. Будет слишком спешить, слишком настаивать — может нарваться на неприятности. Даже выгнать могут.

— Бедный Кейф. Теперь мне жаль его, ведь он зависит от милости вселенной и всего такого. А всего-то хотел помочь трахнуться убитому горем вдовцу.

Муж смотрит на меня озабоченно. Поворачиваем к магазину "Спиртное Франка" купить презервативы, хоть дома их у нас полно. Так муж деликатно говорит мне: "Ради бога, согласись на секс".

Мой муж ненавидит любые презервативы, но есть одна марка, которую он ненавидит менее прочих. Я не могу принимать противозачаточные таблетки, поскольку мой рак был чувствителен к эстрагену. Муж докторам не верит, не верит, что даже при действии тамоксифена, имитирующем менопаузу, можно забеременеть. Мужу сорок шесть. Мне сорок пять. Он считает, что в моем возрасте после рака, химиотерапии и вызванной таблетками менопаузы я не могу забеременеть, но, сестры, я свою матку знаю. Проверено.

— Думаешь, будут делать аутопсию? — спрашиваю я. Он разглядывает содержимое витрины. — Не могу спокойно думать, что меня вот так разрежут.

Он смотрит на меня.

— Мы шутим, верно? Пытаемся снять тревогу юмором и обменом шутками?

— Разумеется.

Он кивает.

— Ну да. Ты молода и здорова. Они захотят вскрыть тебя, чтобы посмотреть, что тебя подкосило.

У меня вырывается цитрусовый смешок, который, как я знаю, позволять себе нельзя.

Он говорит:

— Кроме того, если я начну отношения через неделю другую...

— Плюс-минус.

— Да, плюс-минус... окружающие захотят прекратить нечестную игру.

— Ты заслуживаешь права начать с чистого листа, — говорю я. — Кому это надо, чтобы тень смерти первой жены омрачала новую связь? Так будет несправедливо по отношению к новой девочке.

— Мне кажется, наш разговор уже утратил терапевтический характер, — говорит он и выбирает презерватив.

Интересный факт: тамоксифен сопровождается ужасным риском класса D — врожденные уродства у плода.

Интересный факт: мой муж отказывается делать вазэктомию[1].

Презерватив ему выдает пожилая женщина.

Под платьем болтаются обвисшие старушечьи груди.

Из-под кассы выезжает ящик для денег и сталкивается с ними.

Подруги говорят, что когда-нибудь я пойму, до чего мне повезло. Что я избегну этой обвислой судьбы. После двустороннего удаления я решила грудь не восстанавливать. Так что у меня ничего нет, просто два диагонально идущих шва, похожих на застежки-молнии, на том месте, где должны быть груди.

Мы сворачиваем на Коул-стрит.

Презервативы побуждают принимать желаемое за действительное. Мы оба знаем, что ко времени, когда мы придем домой, это побуждение уснет.

Интересный факт: я сплю по двенадцать-четырнадцать часов в сутки.

Интересный факт: от таксотира моча приобретает розовый цвет.

Интересный факт: цитоксан вызывает волдыри, по химической природе он близок горчичному газу. Переходя из крови в мочу, он вызывает рубцы в мочевом пузыре, вот почему я просыпаюсь каждый час каждую ночь, чтобы помочиться.

Понимаете, почему мне тяжело отличать сон от яви и как можно принять одно за другое?

— Как насчет обязательств коренного американца? — спрашиваю я мужа. — Может надо подождать сколько-то лун или что-нибудь такое?

Он молчит, и я с отвращением думаю о том, что только что сказала.

— Извини, — говорю я. — Сама не знаю, что со мной творится.

— Ты просто устала, — говорит он.

Дождь теперь больше напоминает туман. Я возненавидела женщину, читавшую сегодня рассказ. Возненавидела всех собравшихся. Возненавидела прытких несостоявшихся писа-

1. Хирургическая операция, при которой производится перевязка или удаление фрагмента семявыносящих протоков у мужчин.

телей в толпе. Я недолюбливаю прытких несостоявшихся писателей, особенно себя.

Я спрашиваю:

— Ты когда-нибудь задумывался о никогда?

— Никогда — что?

— Что никогда не бывает другой женщины.

— Зачем так говоришь? — говорит он. — Ты так уж давно не говорила.

— Можешь просто обходиться без, — говорю я. — Ну, знаешь, держаться.

— Мне, правда, нехорошо от того, что творится у тебя в голове, — говорит он.

Интересный факт: Чарльз Мэнсон[1] раньше жил у нас в квартале, в доме 636 на Коул-стрит.

Впереди показывается дом Мэнсона. Тут я всегда останавливаюсь и думаю о нем. Сейчас здание бежевое, но когда-то, когда Мэнсон набирал себе в нем девушек-убийц, оно было выкрашено в голубой цвет. Я использовала этот дом как место действия своего последнего романа, книги, которую никто не опубликует. Куда ушли все эти годы за письменным столом? Где находится сейчас эта книжка? Смотрю на дом Мэнсона. Собирая материал для романа, я наткнулась на фотографии с места убийства Шарон Тейт, самой известной из заколотых Мэнсоном жертв. Груди у нее тяжелые и круглые, полные молока, поскольку она беременна, соски большие и темные.

Смотрю на мужа. Он крупный, высокий, сложен, как игрок в регби. Не изящных нападающих изображают на календарях для болельщиков, но тяжеловесов-защитников, у которых животы свисают под спортивной формой.

— Мне надо знать, — говорю я. — Просто скажи, сколько будешь ждать?

Он кладет руку мне на плечо и выдерживает мой взгляд. Отвернуться невозможно.

— Ты никуда не уйдешь, — говорит он. — Я не позволю тебе уйти без нас. Мы все делаем вместе, так что, если одному надо уйти, мы уйдем все вместе. В нашем "боинге-777" произойдет разгерметизация салона. А еще лучше, это случится с нами в автофургоне. Мы едем к тихоокеанскому побережью, дети и даже собака. Бояться нет времени. Жилища нет.

1. Чарльз Майлз Мэнсон (р. 1934) — американский убийца, музыкант, лидер коммуны "Семья", члены которой в 1969 г. совершили ряд жестоких убийств.

Мы перевернемся. Покатимся, кувыркаясь, со склона. Ракетой полетим в сторону изрезанного берега. — Он сильно стискивает мне плечо, пожалуй, даже слишком сильно. — Вот так случится, понимаешь? И тогда все мы будем вместе. Уйдем разом.

Что-то во мне оттаивает. Только такими разговорами я и жива.

Муж и дети приехали со мной в больницу — мне должны были ввести первую дозу химиотерапии. Это случилось год назад? Три? Что для вас время — извлечение звука из арфы, чертовы до-ре-ми камертонов? Здесь двенадцать отгороженных кушеток для внутривенных капельниц, а наш маленький закуток нисколько не походит на то, как в интересных фактах представляются палаты химиотерапии.

В этот день она перестанет разговаривать и превратится в девочку-лошадку, которая будет носиться вокруг поста медсестры и выражать свои желания стуком копыт. Наш сын узнает мальчика, с которым вместе учился в школе. Я тоже его узнаю, мы встречались на собрании, посвященном художественной самодеятельности. Мальчик исполнял старинный комический номер, дополняя его чечеткой. Это все в прошлом. Тут он с матерью, изможденной, сильно потрепанной жизнью женщиной, которая тоже лежит под капельницей. Она, видимо, уже глубоко погрузилась в лечение, но даже мне было видно, что́ у нее получится. Я не говорила с нею. Кто бы стал приветствовать мертвую, кто бы завел непринужденный разговор с самой смертью? Я не позволяла себе смотреть на нее даже тогда, когда наши одинаковые пакеты с таксотиром сердито капали нам в вены.

Как все относились ко мне потом, вот точно так же относятся и сейчас, когда я вернулась домой и обнаружила мужа, сидящим на диване с Мегуми, мамой нашей одноклассницы из начальной школы. Муж и Мегуми разговаривают в свете эркера, на стеклах которого осели капельки тумана. На кофейном столике — курица-катсу на тарелке фирмы “Пирекс”. На Мегуми топик натянут туго, как батут. Ее рука лежит на плече мужа. Хоть она и мать двоих детей, груди у нее положительно как у девчонки-подростка. Они колышутся. Ее сиськи умеют все, разве только жевательную резинку не жуют и подушечки-сердечки “Привет, Китти” не вышивают.

— Что здесь происходит? — спрашиваю.

Эти двое нагло не обращают на меня внимания.

Мы познакомились с Мегуми на скамейке возле детской площадки, разговорились, глядя, как наши дочки качаются

на качелях. Мне понравилась ее прическа шинджуку, а ей нравится все старинное американское. Мы сошлись на токидоки[1] и Пэтси Кляйн[2].

— Чудесное платье, — первое, что она мне сказала. Платье было с розочками, разбросанными по зеленому фону, и с хомутиком вокруг шеи.

— Интересный факт: я из Флориды, — сказала я. — А Флорида известна тем, что люди там склонны носить старое. Богатые женщины из Нью-Йорка и Нью-Джерси переезжают жить туда на пенсии, берут с собой замечательные платья, накопившиеся за всю жизнь. А потом они умирают.

— Вот это мне нравится, — сказала она, как обычно, несколько официально. — В Токио никто не стал бы носить платье умершей женщины. — Потом она извинилась: ей показалось, что она могла ненароком меня оскорбить. — Сейчас я сказала самые странные слова со времени переезда в Америку, — добавила она.

Наша семья собиралась в Токио к выходу книжки мужа на японском языке. За несколько недель Мегуми с помощью палочек и ящичка с песком научила меня кандзи[3], это должно было помочь мне ориентироваться в аэропорту Нарита и на ветках метро Шинкансен и Маруноучи. Она спрашивала о муже и его книге.

— Писателей очень почитают в Японии, — сказала Мегуми.

— Я — тоже писатель, — сказала я.

Она оторвалась от кандзи и осмотрела меня так, будто видела впервые.

— Но никто не хочет публиковать мои книги, — добавила я.

Вероятно, именно за это признание она потом отплатила мне своим. Стоял холодный туманный день. Мы следили, как какой-то папаша все сильней раскачивал дочку на качелях, восхищались тем, как он упивается восторженным визгом ребенка.

— Если б моя жизнь была романом, — сказала вдруг Мегуми, — мне бы пришлось покинуть мужа. Ведь таково правило в литературе, не так ли? Что надо следовать велению сердца. Мой муж держится отстраненно и бесчувственно, — призналась она. — Я не понимала этого, пока мы не перебрались сюда. Америка меня научила.

1. Игрушки, производимые компанией с таким названием.
2. До замужества Вирджиния Патерсон Хенсли (1932–1963), исполнительница песен в стиле кантри.
3. Букв.: "ханьские буквы" — китайские иероглифы, используемые в современной японской письменности.

Вероятно, предполагалось, что я ее подбодрю. Напомню, что ее муж работает, света белого не видит, что все наладится. Но вместо этого я спросила:

— А как же дети?

Мегуми на это ничего не ответила.

И вот теперь я застаю их у нас на диване, и она держит руку на плече моего мужа!

Это я их познакомила. Вы можете поверить? Именно я достала ей экземпляр его романа на японском. Смотрю, как Мегуми открывает свои большие темные глаза, чтобы воспринять мужа. А уж я-то знаю, кого муж слушает с полным вниманием.

Не могу разобрать, что они говорят, но что-то такое явно не о литературе, уж вы мне поверьте. Тут мне на глаза попадается еще кое-что — стрелы. Стрелы повсюду — красное оперение, желтое, белое.

На кухне стоит блюдо из жаропрочного материала, завернутое в алюминиевую фольгу. Нет, два таких блюда.

Обнаруживаю больничный жетон у себя на запястье. Оставила его как знак почета, что ли? Или как аксессуар, для правильного восприятия которого требуется черный юмор? Или этот браслет — своего рода послание мне самой?

Интересный факт: знак кандзи для слова “иррациональное” выглядит как сочетание двух элементов: женщина и смерть. Не так давно имел место случай, который следовало бы поместить в колонку “сон и явь поменялись местами”. Я была в больнице. Там — ничего необычного. Присутствие семьи — прекрасно, все собрались вокруг меня и при этом, так уж получилось, возле кровати кого-то из больных. В помещении было полно стаканчиков из кофейни “Старбакс”, тут же находились и мой брат, и сестры, и родители, и так далее, и все болтали, как в добрые старые времена. Тема была — военные истории. Двоюродный дедушка рассказывал, как играли в футбол на дюнах Северной Африки после танковой битвы с Роммелем. Отец поведал печальную историю о том, как пытался помочь во время родов вьетконговского младенца возле Чу-Чи.

Тогда мой брат, который показался мне очень взволнованным, сказал:

— Вот, кажется, сейчас.

Все мы повернулись к кровати, рядом с которой сидели, и тут я заметила умиравшую женщину. Дыхание ее замедлилось, и стали слышны хрипы. Казалось, она становится легче прямо у нас на глазах. Надо отметить, я походила на нее. Но лишь немного — та женщина совсем исхудала, облысела и не поднимала глаз. Моя сестра спросила:

— Может, позвать медсестру?

Я представила себе, как к нам врывается тележка экстренной помощи со своими иглами, лопаточками и интубационным рукавом. Дело было не мое, но я подумала:

— Оставь человека в покое. Дай уйти.

Все мы посмотрели на отца, врача, много раз видевшего смерть.

Он родом из Джорджии. Глаза у него старые, влажные, постоянно поблескивают, как жемчуг.

Он повернулся к матери, которая плакала. Она покачала головой.

Вы, вероятно, слышали о том, что умирающие якобы видят свое тело со стороны. Вот и я испытала то же, глубокое переживание, будто покидаю этот мир и вхожу в незнакомую женщину как раз в тот момент, когда ее глаза перестают фокусироваться на чем-либо и губы обвисают. Тут же я почувствовала в ней действие морфина, то, как он все окружает ореолом голубого цвета, такого же, как полоска на рыбке, которая называется голубой неон. Я вошла в темный тоннель морфинового времени, где прошлое, настоящее и будущее можно видеть одновременно. Я снова стала девочкой, едущей на желтом велосипеде. Скоро я окажусь в парке "Золотые ворота", буду следить за лучниками, стреляющими в тумане. Всю неделю я вижу, как мои родители навещают эту женщину и читают ей книги о моей любимой Нэнси Дрю[1]. Желтые обложки этих книг заполняют все мое поле зрения. "Потайная лестница". "Шепчущая статуя". "Ключ к разгадке в дневнике". Знаете эту паузу между двумя ударами сердца, когда на мгновение оно как бы останавливается? Чувствую резонирующий басовый звук небытия. В глазах только вибрация черного, а рассудок заполнен ощущением, будто я на дне бассейна, а запас воздуха уже иссяк. Вдруг я вижу внутренности этой женщины изнутри, такая способность появляется у вас благодаря раку. Вот бугристая цепочка синеватых лимфатических узлов, вот внутриматочные усики жаждущей опухоли. Повсюду кристаллы кальцинированных метастазов. Молча появляется ваша лучшая подруга Китти, умершая от рака двенадцать лет назад. Она прикладывает палец к губам.

— Ш-ш, — говорит она.

Потом вы вдруг понимаете, что застряли в умирающей женщине. Вас хоронят заживо. "Будет" превращается в "есть"

1. Персонаж серии мистических произведений, написанных издателем Эдвардом Стратимейером. Первая книга вышла в 1930 г.

и далее в “было”. Вы уже больше не можете распознать красный цвет жакета “Святой Иоанн” вашей матери. Вы больше не можете расслышать дрожь в дыхании вашей сестры. Потом уже ничего нет, кроме неподвижности, окружающей неподвижности той женщины, в которой вы находитесь.

Потому вдруг — раз — и каким-то чудом, по счастью, вы оказываетесь вне ее.

Вы снова свободны, снова оказались в стране стаканчиков из “Старбакса” и автостоянок с почасовой оплатой.

Эта иллюзия присутствия в теле умершей женщины оказалась довольно серьезным упражнением для фантазии. Но таков могучий рак, вот такой бардак может он устроить у вас в голове. Даже и сейчас вы все еще не можете стряхнуть с себя это ощущение времени. И как теперь отличить то, что в прошлом, от того, что будет, не говоря уж о том, что есть сейчас?

Муж и дети пропустили весь этот кошмар. Они внизу едят суп.

Интересные факты: грудь удаляют в больнице “Кайзер-перманентс” на Гиари-стрит. Суп с клецками и яичной лапшой в тамошнем кафетерии восхитителен. Клецки домашнего приготовления, начинка из капусты и белого перца. “Кайзер” на Терк-стрит — центр химиотерапии. Кафетерий в подвальном этаже специализируется на вьетнамском фо[1], который здесь делают с коровьими ножками и сверху посыпают пурпурным базиликом. Мясо варят в огромных котлах. Не забудьте сарача[2]. “Кайзер” на Дивисадеро для тех, для кого конец уже близок. Тут лапша “шин” со свиными щеками — просто мечта. Кафетерий работает круглосуточно.

Мой откровенный рассказ о смерти той женщины производит странное впечатление на остальных членов нашей семьи. Самое странное то, что мне теперь трудно смотреть на собственных детей. Мысль о том, что они живут без меня, человека, чья единственная миссия — руководить ими, невыносима. У меня начинают трястись руки при мысли, до чего они приблизились к тому, чтобы их детские ду́ши оказались бесследно вынюханы. При мысли об их самостоятельном продвижении в этом мире мне хочется превратить вещи в деревяшки, и далее, размахивая топором, сокрушить в растопку все, что попадается мне на глаза. Я в жизни ничего не разрубила, и вообще человек я неумелый, поэтому я бы занесла

1. Суп из говядины и специй с добавлением лапши и мелконарезанных кусочков говядины или курятины.
2. Жгучий соус из пюре жгучего перца, уксуса, чеснока, сахара и соли.

топор в полной убежденности, что промахнусь, что плохой и невинный падут вместе.

Интересный факт: моя лучшая подруга Китти умерла от рака. В течение нескольких лет врачи удалили ей ногу, груди, горло и яичники. При этом они дважды бесплатно пересаживали ей костный мозг. Под конец я уже боялась ее навещать. Что бы я ей сказала? Что означают слова “до свидания”? Наконец, когда оставалось уже несколько дней, я собралась с духом и приехала. Чтобы сэкономить деньги, я полетела в Атланту, а от аэропорта поехала на автобусе. Но села не на тот! И поняла это, только оказавшись в Северной Каролине. Китти же умерла во Флориде.

Мой муж не сдается. Пытается разгрузить меня, начал рано вставать, готовит детям с собой в школу завтрак, встречает их после уроков. Дети тоже на взводе. Укладываются спать с отцом на большой кровати. Когда повсюду их руки и ноги, для ваших просто не остается места. Получается довольно унылая компания, но я понимаю: не так-то просто почти потерять близкого человека.

Провожу много времени в парке “Золотые ворота”, тут у меня улучшается настроение. Вижу проносящуюся мимо парящую чайку и точно знаю, где именно она приземлится. Развиваю у себя необъяснимую способность предсказывать погоду. Разглядывая растение, могу угадать его действие на человеческий организм.

Интересный факт: в ботаническом саду неподалеку от входа растет голубой стеблелист. Его ягоды легко размолоть, а затем выделить из них фиолетовое масло, заставляющее матку сокращаться. Прибрежные племена мивок использовали эти ягоды для искусственного прерывания беременности.

Все это тяжким бременем ложится на моего мужа, но пить он не начинает. Поэтому я горжусь им, хотя поняла бы его, если б он запил. Это стало бы указанием на то, как тяжело было ему чуть меня не потерять. Если бы он взялся за бурбон, я бы знала, насколько сильно он во мне нуждается. Но вместо этого муж купил набор гирь. Пока дети утром спят, он спускается в подвал и поднимает эти гири там часами, слушая записи программ об охоте с луком, о бразильском джиу-джитсу и индейском фольклоре. Он теряет в весе, что меня беспокоит. Фунты действительно слетают с него один за другим.

Он отводит детей на уроки музыки, боевых единоборств и к зубному. Существенную опасность представляет собой школа, где все утро слоняется целая кавалькада болтливых мамаш. Во вторник по утрам пьют кофе; закинув детей в школу, идут в

кафе “Раздумье” есть бенье[1], еще собирается книжный клуб у Зази. Эти мамаши либо одиночки, либо достаточно одиноки. Позвольте представить: Лидди, мать близнецов, знаменитая в Капустной долине тем, что изобрела и продает двойной мат-рюкзак для йоги. У нее нет ни унции жира, на бюсте размера А располагается пара вполне развитых прекрасных сосков. Есть мамаша-рокерша Сабина, основательно погруженная в тушь и стимпанковский[2] шик. Щупальца осьминога манят из ее декольте (бюст размера D). И не забудьте Салиму, выпускницу Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая никого не обдурит бюстом, спрятанным под несколькими слоями ткани. Салима не желает говорить о своем муже, будь он живой или мертвый, которого она оставила в Лахоре.

— Ну, как справляетесь? — спрашивают они мужа. — Если чем-то надо помочь, вы скажите. — Подвозят наших детей на дни рождения и на гостевые спортивные соревнования. Духовки у себя на кухне держат разогретыми в постоянной готовности. Но заходит к нам только Мегуми.

Интересный факт: Чак Норрис побеждает семнадцать плохих парней в “Пропавший без вести III”. Клинт Иствуд снова берется за карабин в “Непрощенном”. Джордж Клуни высокомерно уязвим в “Потомках”. Знаете почему? У них умерли жены.

Интересный факт: одной из жен, которая не умерла, была леди Мэри Уортли Монтегю[3]. В диссертации на соискание звания магистра изящных искусств я собрала сведения о ее стремлении преуспеть на писательском поприще вопреки детям, которые требовали заботы, вопреки знаменитому мужу и мучительной болезни. Мне мало что удалось сказать на эту тему. Я просто считала, что женщина она замечательная. Никто не дал себе труда ознакомиться с моей диссертацией, даже руководившая ею женщина-профессор не прочитала.

— Пишите, что знаете, — повторяла она. Но я не слушала.

Однажды я зашла далеко в парк “Золотые ворота”, дальше холма Хиппи, где торгуют наркотиками, дальше, чем музей де Янга со своей ржавой боевой рубкой подводной лодки, и даже

1. Пончики квадратной формы без отверстия в середине, посыпанные сверху сахарной пудрой.
2. Жанр фантастической литературы, получивший распространение в середине 1980-х гг.; заимствует образы, популярные на рубеже XIX-XX вв., в эпоху “паровых технологий”.
3. Мэри Уортли Монтегю (1689–1762) — английская аристократка, поэт, ныне известна главным образом своими письмами о путешествии в Османскую империю в качестве жены британского посла в Турции. Отстаивала необходимость введения прививок от оспы.

дальше загонов, где держат буйволов. На широком лугу на берегу Тихого океана я случайно застала своего мужа с детьми за стрельбой из лука. Что они тут делают? И давно сюда ходят? Они, не говоря ни слова, торжественно выпускают стрелы одну за другой в кипы спрессованной травы. Девочка-лошадка натягивает лук с отогнутыми вперед плечами, другая дочка — стреляет из олимпийского, а сын своими прекрасными тонкими руками — из длинного. Папочка натягивает составной лук, блоки и кулачки которого поскрипывают от нагрузки. Муж накупил сотни стрел, поэтому выпущенные они собирают редко. На закате наплывает туман, и дети самозабвенно стреляют в белую пелену. С наступлением темноты привязывают к мишеням шарики, чтобы по хлопку знать, что цель поражена. У меня появляется ясное ощущение траектории полета стрелы в темноте. Стою позади мужа, в его плечах ощущается энергия натянутой тетивы. Я шепчу "спускай", когда, как мне кажется, что он навел точно. Он меня слушается. Мне не надо идти в темноте вместе с ним, чтобы убедиться, что стрела попала в яблочко.

Потом, перед сном, он не читает детям книжки. Вместо этого все они собираются на нашей большой двуспальной кровати, и он им пересказывает историю, которую услышал в записи в исполнении сказителей сиу-лакота[1]. Муж никогда не упоминает о своем происхождении из этого племени. Он даже никогда не бывал в резервации. Все те, кто связывал его с нею, уже давно спились, погибли от несчастных случаев, полученных увечий или оказались в добровольном изгнании.

Муж рассказывает им историю о пони-призраке, которого очень ценили. Пони был мертв, поэтому убить его под всадником было невозможно. Он ничего не боялся, вставал на дыбы и считал свои подвиги. Только после битвы воины поняли, что с ними был еще и воин-призрак, скакавший без седла. Это он направлял каждое движение пони-призрака. Так воины, не покидая этой жизни, узнали о галопе смерти.

— Почему пони-призрак не отправился прямо в рай? — спрашивает девочка-лошадка.

Тут я спохватилась, что она впервые заговорила — с каких же это пор?

Ей отвечает старшая дочка:

— На самом деле это история о воине-призраке.

Девочка-лошадка спрашивает:

1. Индейское племя.

– Почему тогда воин-призрак не попал в рай?

Старшая дочка отвечает:

– Потому что у любого призрака должно быть незаконченное дело. Это все знают.

Сын спрашивает:

– А мама оставила незаконченное дело?

Муж говорит:

– Дело любой матери не может быть закончено.

Тема нездоровья может тяжело переживаться семьей. У меня сердце разрывается от подобных разговоров, будто меня уже нет. Если уж я настолько мертва, то где моя могила? И почему нет урны с моим прахом на каминной полке? Нет, это всего лишь знак того, что меня отнесло слишком далеко от домашних, что надо мне прийти, наконец, в себя. Не хочешь, чтобы о тебе говорили как о призраке – перестань вести себя, как призрак.

Интересный факт: в телевизионных фильмах задача мамаши-призрака – найти своему мужу подходящую замену. Тема эта стара как мир – посмотрите Геродота, Еврипида и Вергилия. Новейшие примеры можно найти в фильме "Одаренный мужчина" производства Си-би-эс, "Без сна" и "Тихая гавань" производства Эн-би-си, которые теперь часто повторяют по Ти-си-эм[1]. Телевизионная мамаша-призрак зрит сквозь золотоискателей и злых мачех и может найти бабенку с золотым сердцем, которая излечит душевные раны этих детишек, будет аплодировать речитативам под фортепиано, печь столь необходимые для поддержания настроения кексики и говорить что-нибудь вроде: "Твоя мама гордилась бы тобой".

Уверяю вас: таких конфетных женщин не существует. Никакая новая жена не станет заботиться о детях прежней. Эти дети – просто трудноустранимое препятствие на пути становления новой семьи. Именно для того и нужны восстановление семявыводящих протоков и швейцарские школы-интернаты. Будь я мамашей-призраком, моя задача заключалась бы в том, чтобы выколоть этим соперницам глаза, заколоть кинжалом их всех. Кинжалом, кинжалом, кинжалом.

Истина, однако, вот в чем: вовсе нет необходимости умирать, чтобы узнать, каково это быть призраком. В тот день, когда позвонил доктор сообщить мне диагноз, мы были в гостях в Нью-Йорке. Хотели познакомиться с молодой женщиной-продюсером "Дейли-шоу", собиравшейся снять материал

1. Тёрнер-классик-мувиз.

о моем муже. Молодая, гибкая, как тростинка, в черном, слишком тесном, платье, свой некогда безупречный бюст она свела к нулю диетой. С ходу приветствовала мужа европейскими поцелуями, стала смеяться без причины, потом показала ему свое горло. Я стояла буквально рядом! Вот и говорите после этого о невидимках. Потом зазвонил мой телефон — из "Кайзер-перманентс" — доктор сообщил о результатах биопсии. Я пыталась говорить, но слова не шли. Натыкалась на предметы. Потом оказалась в туалете, споласкивала себе лицо. Потом — на двадцать этажей ниже на Пятьдесят седьмой улице. Клянусь вам, я спустилась не на лифте. Просто оказалась. Потом ехала на автобусе по Северной Каролине, позволяя сильно подвыпившему проповеднику массировать себе плечи в то самое время, как во Флориде умирала моя подруга. Потом пришла моя очередь. Я видела собственные поминки, лужайку у родительского дома, уставленную машинами. Надо им купить морозилку, чтобы хранить все эти прибывающие печеные в меду окорочка. Мои друзья и домашние собираются у реки, медленно текущей мимо дома. Все по очереди рассказывают истории.

Мой двоюродный дедушка рассказывает о том, как я, еще маленькая, решила выйти замуж за жившего по соседству мальчика. Родители приготовили пирог и цветы, пригласили судью с нашей же улицы — он в мантии председательствовал на церемонии. Собралась вся округа, и каждый находил в происходящем какое-то свое удовольствие. На следующий день настал момент отрезвления — родителям пришлось сказать мне, что свадьба была понарошку.

Мой брат рассказывает о первом Рождестве, проведенном мною дома в студенческие годы, о том, как я принесла кипу холстов, чтобы показать всем обнаженную натуру, которую позволяла писать с себя ребятам-старшекурсникам.

Мама тоже пытается что-то рассказать. Я уж чувствую, это будет та самая байка о рождественском пуделе. Но ей становится плохо. Дети пугаются: будто в замедленной съемке, мама складывается и, как чехол для одежды, оседает на землю. Чтобы отвлечь детей, мой отец решает покатать их на каноэ — для них это всегда праздник. Они одевают оранжевые жилеты и отталкивают каноэ от берега, слезы меж тем струятся по щекам. Тут же девочка-лошадка начинает кричать, что боится воды. Кричит не своим голосом. Сын сидит на носу и пытается скрыть, что у него перехватило дыхание. Тут я замечаю вздрагивающие плечи другой дочери. Она крутит головой, в отчаянии смотрит туда-сюда, и я понимаю, что она ищет меня. Мой отец просто окаменел от огорчения и не

может поднять весло. Мой отец, проведший в полевых условиях более полутора тысяч операций неподалеку от Да-Нанга, мой отец, и глазом не моргнувший, когда отключилось электричество в благотворительной больнице Нового Орлеана, мой отец... он медленно закрывает свои перламутрово-серые глаза. Так каноэ и плывет по течению всего в каких-то двадцати футах от нас, слишком шаткое, чтобы дети могли утешить друг друга, а мы на берегу только и можем, что терзаться от невозможности дотянуться до них.

Но тогда на вечеринке в Нью-Йорке я поняла, что время остановилось: муж и продюсер смеялись одним и тем же смехом, в воздухе ощущалась лаймовая цедра их дыхания, и я видела в будущем всех этих холодноватых женщин с железным взором и сердцами из рисовой бумаги. Они хотели чего-то настоящего, подлинного. Они хотели того, что было у меня, — мужчину, готового броситься вместе со мной с утеса. Я вдруг поняла: они придут за ним в минуту слабости, когда не будет меня, чтобы их отогнать. Это была не истерия и не воображение. Я находилась в одной комнате вместе с одной из них. Вот она — безупречные зубы, хрупкая улыбка, чрево полое, как ящичек для бутылки сакэ.

— Это слишком смешная история, — сказала продюсер. — Не рассказывайте дальше. Оставьте для съемки.

Муж, исполнившись ложной скромности, пожал плечами и случайно расплескал содовую, стакан с которой держал в руке.

— Что ж, — сказал он, — если считаете, что пойдет для передачи...

Я положила руку на запястье продюсера. Она обернулась и удивилась, обнаружив меня.

Так я пыталась прикоснуться к ее душе, сознавая, что души-то и не хватает, я вычислила ее отсутствие так же, как леди Монтегю нанесла на схему микроскопическую картину расположения пустул оспы, а Вольтер научился взвешивать пар.

А вы будете мне рассказывать, кто, трам-та-ра-рам, призрак.

Стучат в дверь. Это Мегуми!

Муж открывает, и они обмениваются почти грустными взглядами.

Они явно сознают неправильность того, что задумали. Что бы то ни было.

Оба направляются наверх, где, как я понимаю, повсюду припрятаны коробки с презервативами: под раковиной, в аптечке, прикрепленной скотчем под тумбочкой возле кровати, в отделении для батарейки говорящей куклы-тигренка в натуральную величину.

Мегуми и муж входят в нашу спальню, и сразу случается самое худшее — они проходят мимо тех мест, где хранятся презервативы. Они вовсе не собираются ими воспользоваться.

Мамаша-призрак того типа, к которому принадлежу я, считает своим долгом помешать шлюшкам вроде Мегуми трахаться с удрученными горем вдовцами. Приди я слишком поздно, моя задача состояла бы в том, чтобы явиться к Мегуми поздно ночью, приблизиться к ее ветхому футону[1] одинокой мамаши и нанести пипеткой одну, две, три капли ей на губы, ровно столько, сколько требуется, чтобы она выкинула ребенка, которого он в нее вбрызнул. В ее чреве зародыш подергается и, мертвый, сложится вдвое.

Мегуми и муж не подходят к кровати, но идут к шкафу, рядом с которым стоит вешалка всех моих старых нарядов, которые я более не ношу с тех пор, как у меня уменьшился объем груди. Вешалку можно перекатывать на колесиках. Я перенесла свои платья на нее, но у меня не хватает духу выкатить ее из комнаты.

Мегуми перебирает платья, и ее взгляд останавливается на бюстгальтере, который я надевала на спортивные тренировки. Он тоже висит на вешалке.

Интересный факт: можно привыкнуть к отсутствию бюста, но гораздо трудней стряхнуть ощущение наготы из-за отсутствия бюстгальтера. Вы просто привыкаете к его объятиям. Рекомендую лифчики (размер бюста А), предназначенные для девочек-подростков. Мои украшены разноцветными символами мира[2].

Мегуми выбирает платье с вешалки и начинает его рассматривать. Оно розовато-серого цвета, приталенное, с конически расходящейся юбкой, белой отделкой и гофрированной нижней юбкой, широкий вырез “лодочка” у шеи почти целиком открывает ключицы. В университете Флориды, где мы с мужем познакомились, я трижды попадалась ему на глаза, прежде чем он, наконец, обратил на меня внимание. И случилось это как раз тогда, когда я была в этом платье. Интересно, помнит его муж или нет?

Мегуми, приложив платье к себе, поворачивается перед зеркалом. Затем, прижимая его, оборачивается к мужу за одобрением.

Интересный факт: знаки кандзи для слова “фигура” — сочетание “следующая” и “женщина”.

1. Хлопчатобумажный матрац.
2. Трёхпалая лапка голубя, вписанная в круг.

Смотрю в зеркало на собственную фигуру.

Интересный факт: утрата бюста делает ее не плоской, а вогнутой, с ввалившейся грудной клеткой. Из-за хирургического вмешательства почему-то выпячивается живот. Меня хирург об этом предупреждал. Но кто может себе такое представить? Кто по доброй воле согласится на такие превращения?

Мегуми ждет, прижимая к себе платье. Тут муж протягивает к ней руку, взгляд у него отсутствующий. Кончиками пальцев он поддергивает здесь, расправляет там, распределяя складки ткани по фигуре. Наконец, он кивает. Мегуми принимает платье и складывает его на весу.

Я не закалываю ее кинжалом. Стою и ничего не делаю.

Интересный факт: мой первый роман, который никто не опубликует, был о трофейных женах из Скотсдейла[1], то есть о престижных молодых и эффектных женах пожилых богачей. Эти женщины образовали бдительную группу для патрулирования своих охраняемых резиденций. В романе, среди прочего, убивают животное, называемое рысь рыжая, происходит трагедия в вечер игры в гольф, используется машина для собирания мячей для гольфа, а также имеет место эротическая сцена с участием мужчины и женщины с установленными в рюкзаках дозаторами напитков[2]. Называется роман "Бежевые береты".

Интересный факт: в моем втором романе, который никто не хочет печатать, рассказывается о двух девушках, обладающих редким даром: одна умеет читать ауры, другая видит призраков. Чтобы они могли проявить себя в общении с призраком-ангелом, я поселила их отца в бывшей квартире Чарльза Мэнсона. Чтобы сделать их более уязвимыми, я решила убить их мать, поэтому она у меня больна раком. Чтобы волосы вставали дыбом, у меня в романе по соседству с девушками живет сексуальный маньяк по имени мистер Роузиз. Это имя предложил мой муж. Он совершенно был очарован этим героем и очень помог с сочинением его прошлого и диалогов с его участием. Потом муж украл у меня этого типа и написал рассказ "Темная долина", в котором события излагаются от имени мистера Роузиза. Не могу без злобы вспоминать название этого романа.

1. Город на юге центральной части штата Аризона, престижный жилой пригород Финикса.
2. Такие дозаторы используются в барах и состоят из нескольких шлангов, в которые напитки поступают из бутылок. Шланги заканчиваются коммутирующим устройством с клавиатурой для выбора напитков.

Муж не возвращается к работе над романом, который начал писать до моего рака. Когда дети уснут, он заходит на вебсайт "ТревогаБольшиеСиськи" и просматривает его в режиме слайдов, так что дамы с чудовищными грудями появляются и пропадают, одна растворяясь в другой. Муж держит лосьон для рук наготове, но не мастурбирует. Он не сводит глаз с какой-то точки непосредственно позади компьютерного экрана. Я рассматриваю этих женщин. Все, что я вижу в их блюдцеподобных сосках и маятникоподобных грудях — сверхсила материнства. Вместо того чтобы смотреть на одиноких мужчин с выражением лица типа "иди ко мне", этим женщинам кормить бы голодных детей, заходить в приюты для подкидышей и нянчить сирот этого мира. Этих грудастых надо десантировать в зоны, пострадавшие от цунами, в эпицентры землетрясений и отдаленные провинции Северной Кореи!

Я становлюсь на колени возле мужа, ссутулившегося в эргономичном офисном кресле. Стараюсь понять, на что именно он смотрит, и не могу. Наши лица почти соприкасаются, и, хоть он потерян и печален, я все же чувствую исходящее от него обаяние.

— Пойдем в кровать, — шепчу я, и он как бы пробуждается. Но не поднимается на ноги и не направляется в спальню, а создает документ "ворд", смотрит на пустую страницу и, наконец, набирает на клавиатуре "Хлопья 'тукан'".

— Нет, — кричу я. — Это у меня рак, это я страдаю. Это мой рассказ. Он принадлежит мне!

Интересный факт: рак учит вас видеть внутреннее содержание вещей. Видите "can" в "uncanny"[1]? А "cer" в "concern"[2]? Если с вами хотят поболтать и, присмотревшись, замечают, что у вас под банданой нет волос, будет проще всего сказать:

— Простите, но I have some un*can*ny con*cer*ns right now[3].

А если у вас дурное настроение, попробуйте:

— "I feel ar*can*e and a*cer*bic"[4].

Кто такого не испытывал?

Но иногда у вас мозги набекрень от химиотерапии, и обмен веществ идет наперекосяк, и ногти зудят, как ненормальные, и говорить ни с кем неохота. Будьте к готовы вот к чему.

Вам, допустим, говорят:

— Господи, целую вечность не виделись. Как жизнь?

1. Жуткий (*англ.*).
2. Озабоченность. Части слова, в совокупности дающие "cancer", то есть рак (*англ.*).
3. Меня вот именно сейчас ждут жуткие заботы (*англ.*).
4. Чувствую себя замкнутой и язвительной (*англ.*).

Вы:

— "Tou*can cer*eal"[1].

Женщина 2:

— Ну, что нового?! Я так виновата. Наверно, не ответила тебе на десяток сообщений.

Вы:

— Vul*can* silen*cer*"[2]. — Ничего не выражающая улыбка. Так далее и улыбайтесь.

Стрелы рассекают ночь. Следя за ними, привстают на дыбки желтоглазые еноты. Весной щавель приморский, считавшийся в племени мивок афродизиаком, открывает свои листья, закрывающиеся, как ворота. Я не в состоянии видеть своих детей вблизи. Рассматриваю их издалека. Наблюдаю за мужем, отвозящим их в школу и обратно, с такого расстояния, что почти не могу отличить своих от чужих.

Хуже боли при раке те, кто льнет к вдовцам. Они, большеглазые, подходят к мужу и заставляют его говорить "Мы справляемся" или "Стараемся держать голову над водой". Но он не дурак — возвращает им тарелки за добавкой.

Дочка теперь подражает мне в манере говорить. Наблюдаю, как она напоминает брату и девочке-лошадке взять с собой в школу лекарство от астмы и велит почитать про себя перед сном. Когда они подцепляют вшей, муж поддается отчаянью и начинает на них кричать, старшая же дочка методически расчесывает им волосы.

Продолжаю внимательно следить за Мегуми. Она не заходит, что, как мне кажется, еще более подозрительно, чем если бы заходила. Уж не израсходовал ли муж часть денег из Пулитцеровской премии на студию по соседству? Ну, знаете, квартирки, чтобы спрятать от внутренней налоговой службы гонорары за книгу и вообще "заняться серьезной работой". Рассматриваю связку его ключей, но в ней нет ничего нового, просто ключи от дома, от конторы в Стэнфорде, от "хонды-одиссей" и пять ключей к замкам для велосипедов. Использую свои экстрасенсорные способности для обнаружения в окрестностях вывески так называемой "писательской студии". Пытаюсь засечь шипение шипучей воды, которая всегда оказывается там же, где и муж, поблескивание упаковки от презерватива или щелчок, издаваемый бретелькой бюстгальтера Мегуми. Но могу ощутить лишь наползание тумана, исчезновение квартала за кварталом

1. Хлопья "Тукан" (*англ.*).
2. Глушитель вулканов (*англ.*).

бодрствующего мира, начиная с проспектов, проходящих по окраинам.

Интересный факт: в племени мивок верили, что наступающий туман может перенести наблюдателя в загробный мир.

Интересный факт: возможность случайно соскользнуть в потустороннюю жизнь очень заботила людей племени мивок. Чтобы не потерять друг друга в тумане, они окрашивали кожу краской, которую получали из углей ядовитого дуба, помечали себе грудь запахом дудника пивного и разработали систему условных сигналов, понятных им одним.

Почему сегодня вечером мои домашние не занимаются стрельбой из лука и, когда дети ложатся, не рассказывают индейские легенды? Даже просмотр материалов сайта "ТревогаБольшиеСиськи" отложен до лучших времен. Сидя у себя в кабинете, муж открывает недавно созданный документ и продолжает красть мой рассказ. На этот раз я не кричу на него. Пишет он медленно и выразительно. Работа по выбору подходящих слов отражается у него на лице. Он пьет газированную воду, мочится в пластиковые бутылки из-под нее и продолжает работать большую часть ночи. Мне хочется поговорить с ним. Скучаю по ощущению, что всякое событие кажется непохожим на само себя, пока я не расскажу о нем мужу.

Интересный факт: в моем третьем, незаконченном, романе рассказывается о Теленке-Буйволе-Дороге-Женщине, воительнице из племени шайенов, нанесшей Кастеру в битве при реке Литл-Бигхорн смертельный удар[1]. Я писала о ней потому только, что ее жизнь показалась мне замечательной. Муж развернул перед собой подготовленные мною материалы: атласы костюмов американских племен, руководства по ботанике, обычаям и мифологии. Я считаю, ему полезно. Когда он нажимает последний раз за вечер на кнопку "сохранить", я, естественно, оказываюсь рядом. Поднимаюсь за ним в спальню. Дети спят на большой кровати. Он укладывается среди их разбросанных во сне рук и ног. Я бы тоже прилегла с ними, но не хватит места. Голова мужа опускается на

1. Битва на реке Литл-Бигхорн произошла в штате Монтана 25 июня 1876-го между индейцами племен тетонов и шайеннов, с одной стороны, и 7-м кавалерийским полком во главе с генералом Дж. Кастером, с другой. Опасаясь голода, индейцы покинули резервацию, чтобы начать охоту на бизонов, но им было приказано вернуться под угрозой применения силы. После отказа повиноваться индейский лагерь был атакован. Под натиском контратаки индейцев кавалеристы отступили, потеряв 265 человек убитыми, включая самого генерала Кастера. Это был последний случай, когда индейцам удалось одержать победу над армейским подразделением, уничтожив всех его солдат.

подушку, но глаза остаются открытыми, становятся все больше, фокусируются, как будто он пытается проследить за тем, что исчезает во мраке.

Интересный факт: муж не верит, что сны могут нести в себе важный смысл.

Интересный факт: однажды мне снился сон — я стою нагая в темноте. Ко мне подходит женщина. Приближается, и я вижу, что она — это я. Она сказала мне или, может быть, это я сама сказала себе:

— Это происходит сейчас.

Затем она протянула руку и коснулась моей левой груди. Я проснулась. Грудь была горячая, и что-то в ней изменилось. В той ее области, которая, как я потом узнала, называется верхний латеральный квадрант, я нащупала уплотнение. Утром я стала перед зеркалом, но уплотнения не нашла. Я рассказала об этом сне мужу. Он сказал:

— Жуть.

Я сказала, что сейчас же пойду к врачу.

— Я бы не беспокоился, — сказал он. — Наверно, показалось.

Вот наконец муж спит. Его рука тянется через одного ребенка и прикрывает другого. Забранные детьми подушки он частично вернул себе. Детское посапывание хорошо различимо на фоне его глубокого дыхания. Мне есть, что ему сказать.

Интересный факт: у моего мужа есть тайное имя, данное ему сиу.

Оно его смущает. Он не любит, когда к нему обращаются по этому имени, поскольку понимает, что не заслуживает его. Но когда я произношу это имя на языке лакота, он просыпается. Он видит меня, это я понимаю, не улыбается и не сразу узнает, но что-то в его лице наконец говорит, что узнал.

За стеклами эркера по Фредерик-стрит проносятся клочья тумана.

— По-моему, это происходит сейчас, — говорю я.

Он кивает и его снова уносит течением. Потом это покажется ему сном.

Подхожу к кровати и смотрю на детей. Вот мой сын, его спина окрепла благодаря стрельбе из лука. Вижу его по-прежнему детские щеки и длинные ресницы. По-прежнему вижу мальчика, с которым сиживала ночами без сна, который любил обнимать пожарные гидранты, бегал длинноволосый без рубашки по руслу медленной речки во Флориде. Волосы его сейчас всклокочены, как и у его отца, зрачки под веками медленно движутся, как будто ему снится неторопливая жизнь.

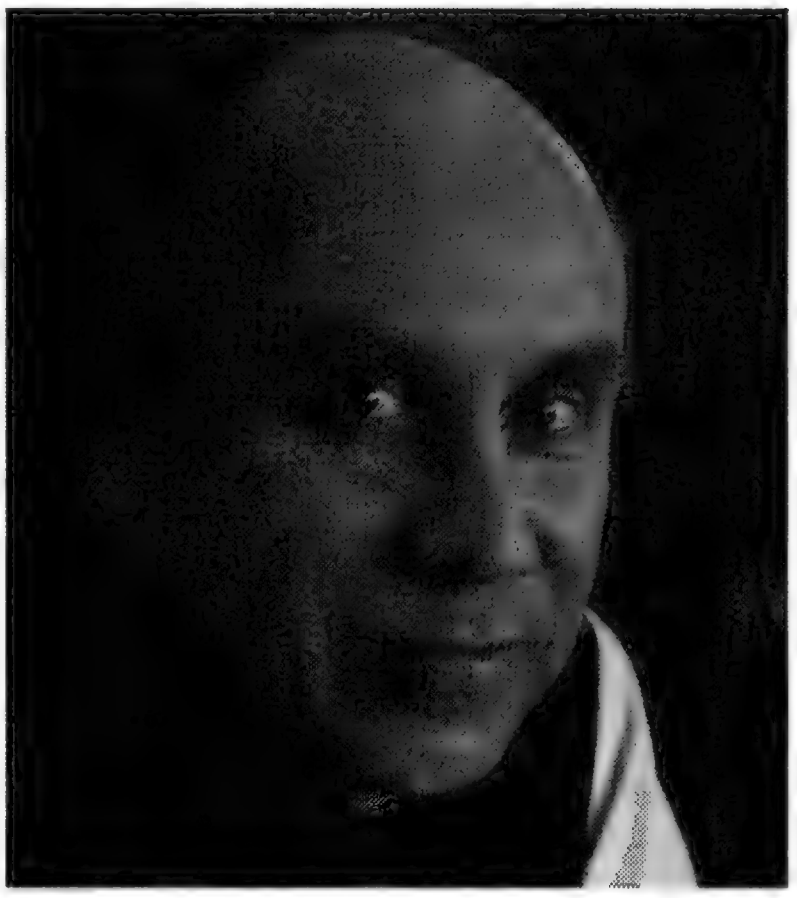
У дочери волосы черные, самого темного оттенка. Уж если у кого-то из детей и сказывается индейская кровь, то это у нее. Темнокожая, скорая на подъем, живые дальнозоркие глаза, она из тех, кто, не задумавшись, вступит в драку за брата, как это делала прославленная Теленок-Буйвол-Дорога-Женщина. Сейчас она спит, стиснув мой айфон, будильник поставлен на раннее утро, и в положении ее челюсти я угадываю список дел, которые ей предстоят: поднять брата и сестру, накормить и отправить в школу.

И, наконец, девочка-лошадка.

Интересный факт: увлечение нашей младшей интересными фактами проявлялось лишь на определенной стадии развития. Когда моя болезнь превратила ее в лошадку, она перестала рассказывать нам об интересных фактах — лошади ведь не могут говорить и чувствовать по-человечески. Лошади — неунывающие животные, они не чувствуют на себе человеческий груз.

Она снова стала человеком, представителем слабого и легко уязвимого вида. Кто знает, что она чувствовала, будучи лошадкой? Кто, обняв, объяснит ей, кто такая была я и через что прошла? Если бы она никогда не была лошадью! Если б она могла остаться ею чуть подольше! Чего бы я ни отдала, чтобы услышать ржание, которым она выражала свои желания, чтобы посмотреть, как деликатно она била копытом, желая получить морковку или кусочек сахару. Но все это в прошлом. Она никогда более не пройдется галопом на четвереньках и не нарисует себе фломастером гриву на спине. Это тоже станет пережитым этапом развития, который останется только в этом рассказе. Только в этом, мне кажется, и сохранюсь я — в рассказе о поре, когда они были маленькие.

# Томас Мёртон



## *Стихи*

*Перевод и вступление* Анны Курт

### Вселенная Томаса Мёртона

Томас Мёртон (1915—1968) — широко известный в католическом мире богослов, религиозный писатель, поэт. Он прожил не очень длинную и не особенно богатую событиями жизнь. Главные события происходили внутри него, в его душе.

Мёртон родился 31 января 1915 года на юге Франции в семье художника из Новой Зеландии Оуэна Мёртона и американки Рут Дженкинс. В шестнадцать лет Томас остался круглым сиротой.

Его одаренность проявилась очень рано. В возрасте, когда большинство школьников делают первые робкие попытки читать и писать, Том уже читал классические произведения на латинском, французском и немецком языках.

Проучившись год в Кембридже, он перебирается из Европы в США. Здесь, переболев коммунизмом, он в 1935 году поступает в Колумбийский университет в Нью-Йорке и начинает писать рецензии для различных периодических изданий и журналов (“Нью-Йорк геральд трибьюн”, “Нейшн”, “Спектейтор”).

На втором курсе Мёртон с увлечением изучает английскую литературу XVIII века, испанский и немецкий язык, французскую литературу эпохи Возрождения.

© Анна Курт. Перевод, вступление, 2017
Автор вступления благодарит переводчика и исследователя духовного наследия Томаса Мёртона Андрея Кириленкова за предоставленный им обширный биографический материал.

В 1938 году Томас получает степень бакалавра; его принимают в аспирантуру по английской литературе. Тема его диссертации — "Природа и искусство в творчестве Уильяма Блейка". "Что это было за время! Целый год я жил, соприкасаясь с даром и святостью Блейка... К концу лета я проникся мыслью, что жить можно только в мире, пронизанном реальным присутствием Бога"[1].

В 1939 году студент Колумбийского университета был награжден литературной премией как автор "образцовой английской поэзии" и назван одним из поэтов молодого поколения, сознающих "живую современность и всю боль, которую она может вместить"[2].

Одиннадцать томов его стихотворений подтвердили дальновидность и правильность этой оценки.

В том же 1939 году, читая биографию английского поэта и священника Джерарда Мэнли Хопкинса, чье творчество он будет изучать всю жизнь, Мёртон принял решение креститься.

В декабре 1941 года он поступает в траппистский монастырь Девы Марии Гефсиманской в штате Кентукки неподалеку от университетского городка Луисвилл.

В 1942 году по благословению духовного отца и аббата Фредерика Данна Мёртон начал писать стихи и книги для Ордена, а чуть позже — автобиографию "Семиярусная гора" (образ взят из поэмы Данте), которая принесла ему мировую славу. Исследователи ставят ее в один ряд с "Исповедью" блаженного Августина.

За 27 лет жизни в монастыре строжайшего устава он создал около семидесяти книг. На русский язык переведены лишь две из них — "Одинокие думы" и "Семена созерцания"[3].

Мёртон был энциклопедически образованным человеком. Непостижимым, поистине сверхъестественным образом он сочетал интерес к исламу, дзэн-буддизму, конфуцианству, Библии, Отцам церкви и отцам-пустынникам, средневековым мистикам, русской религиозной философии, европейской поэзии, а также борьбе за мир и разоружение. Обо всем этом он писал в своих книгах и эссе, дневниках и письмах.

В автобиографии и дневниках Мёртон подчеркивал, что из поэтов прошлого на него больше всего повлияли испанский мистик Хуан де ла Крус (св. Иоанн Креста) и Уильям Блейк, а из старших современников — Райнер Мария Рильке. Подобно Хуану де ла Крус, Мёртон сумел совместить призвание созерцателя и святого с литературным творчеством. Достигнув святости, он занял не последнее место в ряду американских поэтов. Его стихи печатались в престижных журналах ("Нью-Йоркер", "Поэтри") и включены в антологии американской поэзии.

1. T. Merton. Seven Storey Mountain // A Thomas Merton Reader. — N. Y.: Doubleday, 1974. — P. 230.
2. T. Merton. In the Dark Before Dawn / Introduction by Lynn R. Szabo. — N. Y.: New Directions, 2005. — P. xxi.
3. Отрывок из книги "Знак Ионы" вместе с хронологией жизни Мёртона опубликованы в журнале "Континент" (2003, № 116).

Мёртон восхищался Эмили Дикинсон, знал и ценил Уолта Уитмена, Джеймса Джойса, Т. С. Элиота, У. Х. Одена, Роберта Лоуэлла, Дилана Томаса, Федерико Гарсиа Лорку, Хорхе Карреру Андраде; с пристальным вниманием изучал русскую литературу и русскую религиозную философию. Прочитав "Доктора Живаго", он написал Б. Пастернаку о духовном родстве с ним[1], а в дневнике отметил, что Пастернак ему ближе, чем жители соседних городов[2]. Пастернак высоко оценил посвященную ему медитацию Мёртона о Прометее. В письме к немецким друзьям он скажет: "...его [Мёртона] безошибочное понимание и способность проникновения в сущность моего творчества кажутся совершенно невероятными"[3].

В письмах к Пастернаку Мёртон со свойственными ему смирением и скромностью признавался: "Мы — оба поэты: Вы — великий, а я — очень незначительный"; "...стихи мои, увы, не слишком хороши"[4]. Возможно, так оно и было, однако, при внимательном чтении в необъятном океане его духовного наследия можно обнаружить образцы подлинной поэзии.

Переводить их крайне сложно. Звукопись оригинала, как правило, пропадает в переводе. По словам его учителя и друга Марка Ван Дорена, "звук для Мёртона несет в себе смысл, это поэтическое средство, благодаря которому можно увидеть и ощутить опыт любого масштаба"[5].

Исследователи отмечают, что сокровенность, сложность и тайна многих его стихов вырастают из молчания и одиночества. "Молчание — мать речи", — писал он в одной из медитаций. Молчание и одиночество создают "прекрасный ужас" — парадоксальную силу, которая лежит в основе поэтики Мёртона.

Мёртон пришел к глубоко мистическому пониманию: молчание — это особый язык, обладающий такой же властью и воздействием, как слово. (Изучение и практика дзэн-буддизма подтверждали это откровение.) Звук должен выразить молчание, а не нарушить его.

Другая особенность поэтики Мёртона — ее метафоричность. В его поэтической системе метафора означает бесконечное стремление познать невидимую и неведомую реальность, выразить невыразимое и выйти за пределы самого языка.

Стихотворение "Зимняя ночь" насыщено роскошными метафорами: лунный луч скользит (буквально "звенит") внезапно, словно звук шагов, а свет звезд дзинькает (или звякает), как дверной замок.

В стихах, где автор оплакивает погибшего на войне брата, "безмолвные невидимые слезы" Христа "струятся, словно колокольный звон".

Огромная часть поэтического наследия Мёртона — переложения и переводы из латинской, французской, испанской, итальянской и китайской поэзии. В частности, стихотворение "Макарий и лошадь" — переложение

1. Переписка Мёртона и Пастернака опубликована в журнале "Континент" (1978, № 15, с. 323–341).
2. The Intimate Merton. – San Francisco: Harper, 1999. – P. 132.
3. Континент, 1978, № 15, с. 326.
4. Там же, с. 326, 332.
5. T. Merton. Selected Poems. – N. Y.: New Directions, 1967. – P. xv.

рассказа, взятого из книги Руфина Аквилейского "Жизнь отцов-пустынников". Этот маленький шедевр поражает "неслыханной", почти евангельской простотой и принадлежит к своеобразному жанру: эпизод из жития сочетается в нем с элементами фольклора и сюрреализма.

"Чтения из Ибн Аббада" отражают интерес Мёртона к исламу. Выбранный нами отрывок — пример афористичной поэзии. Чеканный стих, афористичность, музыкальность и образность свидетельствуют о подлинном вдохновении и мастерстве автора.

Стихи и проза Томаса Мёртона переведены на многие языки мира. Он мечтал быть переведенным и на русский язык. В XXI веке его мечта исполнилась.



## *Макарий и лошадь*

У людей, живущих
На краю пустыни,
Была маленькая дочка.
Как-то раз им примерещилось, что чародеи
Превратили ее в лошадку.

Поначалу родители ее бранили:
"И зачем ты стала лошадкой?"
А она не знала, что ответить.

Тогда, набросив ей на шею уздечку,
Повели они ее в пустыню,
Где в своей убогой келье
Жил святой отшельник
По имени Макарий.

"Отче, — сказали они старцу, —
Эта молодая кобылка
Когда-то была нашей дочкой.
Недруги, нечестивцы, чародеи
Превратили бедное созданье
В зверя, коего ты видишь.
Ты один молитвами своими
Можешь ей вернуть прежний облик".
"Молитвы мои, — молвил Макарий, —
Ничего не изменят, ибо
Никакой кобылицы я не вижу.
И зачем свое дивное чадо
Называете вы зверем?"

"Macarius and The Pony" By Thomas Merton, from THE COLLECTED POEMS OF THOMAS MERTON, copyright © 1963 by The Abbey of Gethsemani. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.

Вместе с родителями девицу
Повел он к себе в келью
И, помазав ее елеем,
Обратился с молитвой к Богу.
И, увидев, с какой любовью
Положил он ей руку на темя,
Они тотчас уразумели,
Что она никакая не лошадь,
Что она не меняла обличья,
А всегда оставалась девицей.

И тогда сказал им Макарий:
“Худший ваш враг — дурное око,
И корявые ваши мысли
(вразумлял их святой отшельник)
Превращают родных и близких
В птиц и зверей бездушных.
Ваша собственная злая воля
(обличал ясновидящий старец)
Призраками мир населяет”.

## *Моему брату, пропавшему без вести в 1943 году*

Мой нежный брат, мои бессонные глаза
Цветами будут для твоей могилы.
И если хлеб свой не могу вкушать,
Мой пост над ней пусть прорастет, как ива.
И если жажду мне не утолить,
Пускай забьет родник из этой жажды.
В какой земле под задымленным небом
Теперь лежит затерянный твой прах?
Скажи, в каком трагическом пейзаже
С дороги сбился твой несчастный дух?
В трудах моих найди себе надгробье,
В мои страданья голову склони,
И кровь, и жизнь мою возьми себе,
Чтоб ложе лучшее купить взамен.
Дыхание мое и даже смерть
Возьми и обрети упокоенье.

“For My Brother: Reported Missing in Action, 1943” By Thomas Merton, from THE COLLECTED POEMS OF THOMAS MERTON, copyright © 1948 by New Directions Publishing Corporation, 1977 by The Trustees of the Merton Legacy Trust. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.

Когда в боях все воины падут
И обратятся в пыль знамена,
Пусть возвещают наших два креста,
Что умер Бог на них за нас обоих.
Среди обломков твоего апреля
Оплакивает Он мою весну,
И в одинокую твою ладонь
Роняет золотые слитки слез —
То выкуп за тебя родной земле.
И над твоей могилой безымянной
Безмолвные, невидимые слезы
Струятся, словно колокольный звон.
Они зовут тебя домой вернуться.

## *Зимняя ночь*

Когда во тьме ночной трещат от стужи окна,
И дети, пробудившись, что-то шепчут,
И кажется, что лунный свет скрипит
По льду реки, как санные полозья,

И звезды, словно лезвие ножа,
Лучами зеркало пруда пронзают,
И, как замерзшая вода, деревья
Ждут вспышки света и посланья свыше.

Но далеко еще до Рождества,
Когда хрупка и, как они, невинна,
Запела нежно за окном звезда,
И ранний свет Великого Поста
Уже блестит на ледяных ступенях,
И дети покровителям святым
На сон грядущий пишут поздравленья.

Неужто ни певцов, ни струн в ночи не будет?
Никто со свадьбы не идет, нет вестника от Жениха?
(И девы сонные встают, чтобы светильники зажечь.)
Скользнет внезапно лунный луч по льду,
Как звук шагов, а звездный свет в саду
Тихонько дзинькает, что твой дверной замок,
И дети вновь, спросонья, что-то шепчут
И ангелов-хранителей зовут.

"The Winter's Night" By Thomas Merton, from THE COLLECTED POEMS OF THOMAS MERTON, copyright © 1944 by Our Lady of Gethsemani Monastery. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.

## *Послушнику, новициату*

(Из цикла “Чтения из Ибн Аббада”)

Тот, кто находит Аллаха,
Ни в чем не нуждается.
Тот, кто Аллаха теряет,
Ничего не имеет.
Ищущий Аллаха омоется скорбями,
Сердце его станет чище,
Скорбь сильней обостряет совесть,
Чем все посты и молитвы.
Пост и молитва не избавляют
От самолюбия, могут быть усладой,
Выражением скрытого греха,
Разрушающего всю их ценность.
*Но скорбь вырывает грех с корнем.*

## *Песня мая*

Май настал, и мы заблудились
В солнечном свете, в вереске,
В густом мху и в листьях.

Твоя синяя юбка промокла
От талого снега
И сотерна.

Мы обсыхаем на солнце.
Ты пересказываешь фильм,
Который я никогда не видел.

Лес наполняют нежные звуки,
Птицы поют
О том, что мы заблудились
В той части леса,
Где никакой пейзаж
Не обманет зренья,
Где все зыбко.

“Readings from Ibn Abbad” By Thomas Merton, from THE COLLECTED POEMS OF THOMAS MERTON, copyright © 1977 by The Trustees of the Merton Legacy Trust. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.
“May Song” By Thomas Merton, from EIGHTEEN POEMS, copyright © 1977, 1985 by The Trustees of the Merton Legacy Trust. Reprinted by permission of New Directions Publishing Corp.

Забытые слова стихов звучат,
И в твоем чутком сердце
Находят отклик, оживают вновь.
Дай мне прилечь в лесном раю,
В шатре твоих волос благоуханных
Под пологом твоих ресниц.
Твой мудрый долгий взгляд
Меня находит вновь,
Как будто волосы струятся с неба
И медленно нисходят вниз на землю,
Чтобы навек меня зарыть
В любви горячей
В недрах леса.

Здесь мы вкушаем сотворенье жизни
В той влажной точке,
Где сердце подпрыгивает
И трепещет
Рядом с твоим сердцем-птицей,
Бьющим крылами
В ласковом абрисе губ.

Мы заблудились в майском
Нежданном свете,
Мы тонем друг в друге.
Можешь ли, дорогая,
Еще дышать? В отчаянье
Прижимаюсь к округлым бедрам
И плачу.

Сдай мне внаем во имя Высшей любви
Спасательную шлюпку
Твоего тела
И тело мое спаси, чтобы я не погиб
В идеальном солнце.
И остуди меня — я сокрушен
Безмерным его совершенством.

Май на дворе,
Мы плачем от любви
В стране стволов,
В лесу несовершенном.
Ты — одинокая ладья,
Неси меня,
Пересекая море и вино.
Ты — крепкая и маленькая шлюпка,
Дай мне мое дитя.

# Лусия Берлин

## *Рассказы*

*Перевод и вступление* Светланы Силаковой

Сборник “Руководство для домработниц”, из которого взяты рассказы для нашей публикации, в 2015 году произвел фурор в США. Он вошел в списки “Лучшие книги года” самых разных англоязычных изданий — от “Нью-Йорк таймс бук ревью” и “Гардиан” до “Паблишерс уикли” и “Базфида”.

Между тем сборник, который принес Лусии Берлин громкую известность, появился спустя одиннадцать лет после ее смерти. Рассказы уже публиковались в 80—90-е годы или еще раньше. При жизни у Берлин был узкий круг горячих поклонников: друзья (в том числе писатели), коллеги-преподаватели и студенты (в 90-е годы она преподавала литературное мастерство в университете Колорадо), издатели и читатели ее книг, выходивших небольшими тиражами в маленьких независимых издательствах.

“Рассказы Лусии Берлин наэлектризованы, они искрят и гремят, словно соприкоснувшиеся провода под током. Отзываясь на эти импульсы, душа читателя, очарованная, впадающая в экстаз, тоже трепещет, и включаются, кажется, все нервные клетки. Именно это нам и требуется от чтения: чтобы голова работала, а сердце учащенно билось”, — написала в предисловии к этому сборнику американская писательница Лидия Дэвис, лауреат Международной Букеровской премии.

© Lucia Berlin, 2015
© Светлана Силакова. Перевод, вступление, 2017
Полностью сборник “Руководство для домработниц” выйдет в августе 2017 года в издательстве “Corpus”.

Писатель Стивен Эмерсон, составитель сборника и близкий друг Лусии Берлин, сравнил ее прозу с игрой ударника-виртуоза: "Не оттого, что ее произведения похожи на музыку для ударных, а потому, что в них столько всего происходит. Проза, раздирая бумагу когтями, срывается с книжных страниц. Она полна жизни. Она обнажает всю подноготную".

Можно ли считать рассказы Берлин автобиографическими? По крайней мере, писательница подарила героиням многие детали и обстоятельства своей собственной жизни. Лусия Берлин родилась на Аляске, росла в Техасе и Чили, с детства страдала сколиозом, свободно владела испанским, трижды была замужем (за скульптором и двумя джазовыми музыкантами, Берлин — фамилия третьего мужа), поднимала четверых сыновей, в основном, одна, работала то учительницей, то домработницей, то регистратором в больнице, поборола алкоголизм, в последние годы жизни тяжело болела... Обо всем этом — и многом другом — она пишет честно, ярко, не без горького юмора.

Но как говорил один из ее сыновей: "Наши семейные истории и воспоминания постепенно перекраивались, приукрашивались и редактировались до такой степени, что теперь я точно не знаю, как все происходило взаправду. Лусия утверждала: это неважно, главное — сам рассказ".

## *Д-р* Х. Э. М*ойнихан*

ШКОЛУ Святого Иосифа я ненавидела. Монахинь ужасно боялась, а однажды, знойным техасским днем, ударила сестру Цецилию, и меня исключили. Домашние придумали мне кару: все летние каникулы работать в дедушкином зубоврачебном кабинете. Я понимала: на самом деле они просто не хотели, чтобы я играла с соседскими детьми. С сирийцами и мексиканцами. Черных в нашем квартале не было, но мама всегда говорила: "Дайте только время...".

Не сомневаюсь, заодно они хотели оградить меня от умирания Мейми, от ее стонов, от бормотания ее молящихся подруг, от смрада и мух. Вечером Мейми затихала от морфия, а мама и дед пили порознь, она у себя в комнате, он — у себя. На террасе, где спала я, слышалось с разных сторон, не сливаясь, журчание кукурузного виски.

Все лето дед со мной почти не разговаривал. Я дезинфицировала и раскладывала его инструменты, повязывала очередному пациенту на шею полотенце, подносила чашку с "асептолином" — жидкостью для полоскания рта, приказывала выплюнуть. Когда пациентов не было, дед запирался в сво-

ей мастерской — делать протезы, либо в своей "конторе" — орудовать ножницами и клеем. В эти две комнаты вход мне был воспрещен. Дед вырезал и наклеивал Эрни Пайла[1] и ФДР[2]; статьи про войну с Японией шли в один альбом, про войну с Германией — в другой. Еще были альбомы "Криминал", "Техас", "Нелепые несчастья": мужчина, вспылив, вышвыривает со второго этажа арбуз, тот падает на голову его жене и пришибает ее насмерть, отскакивает в детскую коляску, младенец тоже насмерть, а арбуз даже не треснул.

Деда ненавидели все, кроме, пожалуй, меня и Мейми. Каждый вечер он напивался и свирепел. Жестокий был, нетерпимый и гордый. Повздорив с моим дядей Джоном, выстрелил в него и выбил глаз. Мою мать стыдил и унижал всю жизнь, с рождения. Она с ним не разговаривала, не желала даже близко подходить, потому что он весь зарос грязью, расплескивал суп, харкал, повсюду оставлял мокрые окурки. И весь был в белых крапинках гипса, потому что отливал модели для зубных протезов: не то скульптор, не то статуя.

Он был лучшим дантистом во всем Западном Техасе, а может, и во всем Техасе. Так говорили многие, и я им верила. Неправда, что к нему, как уверяла моя мать, ходили только подруги Мейми да старые пьянчуги. Очень известные люди приезжали, даже из самого Далласа, даже из Хьюстона, потому что зубные протезы он делал отменные. Они никогда не соскальзывали, никогда не присвистывали, а выглядели — от натуральных зубов не отличишь. Дед изобрел секретный состав для их окраски в правильные цвета, иногда делал даже щербатыми или пожелтевшими, с коронками и пломбами.

В свою мастерскую он никого не впускал: разве что пожарных, один-единственный раз. Там сорок лет никто не прибирался. Я заходила в мастерскую, когда дед отлучался в сортир. Окна заросли черной коркой из грязи вперемешку с гипсом. Комнату освещало только дрожащее голубое пламя двух бунзеновских горелок. Из здоровенных мешков, сложенных штабелями у стен, гипс высыпался на пол, усеянный обломками разбитых моделей; тут же стояли банки со всевозможными отдельными зубами. К стенам прилипли пухлые сгустки розового и белого воска, с них свисала паутина. Стеллажи заставлены заржавевшими инструментами да шеренга-

1. Эрнест Тейлор Пайл (1900—1945) — известный журналист, прославился репортажами об американской "глубинке" и американских солдатах на Второй мировой войне. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Президент США Фрэнклин Делано Рузвельт.

ми зубных протезов, которые ухмылялись (а перевернутые — хмуро кривились) на манер театральных масок. При работе дед напевал, от непогашенных окурков часто вспыхивали конфетные фантики или растекались глыбы воска. Дед заливал пожары кофе, окрашивая рыхлый гипсовый пол в густо-коричневый, какой-то пещерный цвет.



Мастерская соединялась с тесной конторой, где стоял стол с жалюзийной крышкой, за которым дед клеил вырезки в альбомы и выписывал чеки. Выводил свое имя, а потом непременно дергал пером, и на подпись падали брызги чернил; порой по цифрам расплывалась клякса, и тогда банковские кассиры поневоле звонили ему — уточняли сумму.

Между приемной и кабинетом, где дед обрабатывал пациентов, не было двери. Дед, не прерывая работы, размахивая бормашиной, оборачивался поговорить с людьми в приемной. Тем, кому требовалось прийти в себя после удаления зуба, предназначался шезлонг; остальные сидели на подоконниках или батареях. Иногда кто-нибудь устраивался в телефонной будке: большой, деревянной, где были таксофон, вентилятор и табличка: “Я никогда еще не встречал человека, который бы мне не понравился”[1].

Журналов в приемной не имелось. Если кто-нибудь приносил журнал с собой и оставлял, дедушка его выбрасывал. Просто из самодурства, говорила моя мать. А он говорил, что его бесит, когда кто-то сидит и листает страницы.

Пациенты, которым не сиделось на месте, бродили по приемной и забавлялись безделушками, расставленными на двух сейфах. Тут были фигурки Будды, и черепа, умевшие открывать и закрывать рот с пластмассовыми зубами на проволочках, и змеи, кусавшие тебя, если дернуть их за хвост, и шары, в которых, если их перевернуть, начинается снегопад. На потолке — табличка: КАКОГО ЧЕРТА ТЫ ТУТ НАВЕРХУ ВЫСМАТРИВАЕШЬ? В сейфах хранились золото и серебро — сырье для пломб, а также пачки денег и бутылки “Джека Дэниэлса”.

На всех окнах, выходивших на главную улицу Эль-Пасо, были огромные золотые буквы, которые складывались в слова: “Д-р Х. Э. Мойнихан. Негров не обслуживаю”. Вывески от-

1. Широко известный афоризм американского юмориста и журналиста Уилла Роджерса — часть фразы из его статьи 1926 г. о Льве Троцком: “Спорим, если бы я с ним повстречался и поболтал, то нашел бы его очень интересным и душевным человеком, поскольку никогда еще не встречал человека, который бы мне не понравился”.

ражались в зеркалах на трех остальных стенах. Тот же слоган был на двери, выходящей в коридор. Я никогда не садилась лицом к этой двери — боялась, что придут негры и заглянут внутрь поверх надписи. Правда, в нашем "Кейплс-билдинг"[1] я никогда не видала ни единого негра, кроме лифтера Джима.

Когда кто-нибудь звонил записаться, дед приказывал мне отвечать: он, мол, больше не принимает; и чем дальше, тем меньше было у меня дел. Под конец, незадолго до того, как умерла Мейми, пациентов вообще не стало. Дед просто запирался в мастерской или конторе и там сидел. Я иногда поднималась на крышу. Оттуда были видны и Хуарес[2], и весь центр Эль-Пасо. Я выбирала в толпе какого-нибудь прохожего и следила за ним, пока он не пропадал из виду. Но в основном просто сидела на батарее в приемной, глазея на Янделл-драйв. Целыми часами расшифровывала письма "Друзей капитана Марвела"[3], хотя это было очень скучно: шифр простейший, А значило Я, Б — Ю и т. п.

Ночи были долгие и душные. Подруги Мейми не отходили от нее, даже когда она спала: читали вслух Библию, иногда пели. Дедушка куда-нибудь отправлялся, в клуб "Ордена Лосей"[4] или в Хуарес. Потом таксист из компании "8—5" помогал ему подняться по лестнице. Мать тоже куда-то уходила, говорила, что идет играть в бридж, но возвращалась, как и дед, нетрезвая. Мексиканские ребята играли на улице допоздна. Я наблюдала с террасы за девчонками. Они, присев на корточки под фонарем, играли на бетонной площадке в мататенас[5]. Как же мне хотелось с ними поиграть. Звук фигурок казался мне волшебным: бросаешь, и они стучат, словно палочки по барабану или словно дождевые капли, когда порыв ветра швыряет их в оконное стекло.

Однажды утром дед разбудил меня еще затемно. Это было в воскресенье. Я оделась, пока он вызывал такси. Он делал так: просил телефонистку соединить с "8—5" и, когда ему отвечали, говорил: "Покатаете меня немножко?". Когда таксист спросил, зачем мы едем в кабинет в воскресенье, дед

1. Известное административное здание в Эль-Пасо (штат Техас).
2. Город в Мексике, примыкающий к американской границе в районе Эль-Пасо.
3. Герой популярных американских комиксов.
4. "Орден Лосей" — организация, объединяющая бизнесменов, квалифицированных специалистов и других представителей среднего и высшего классов (основана в 1868 г. в США).
5. Детская игра, распространенная в Мексике и США; развивает проворство. Фигурки в форме объемных звездочек — мататенас — нужно подбрасывать в воздух и ловить либо наперегонки подбирать с пола.

промолчал. В вестибюле было темно и страшно. По кафелю громко топали тараканы, из киосков, загороженных решетками, нам ухмылялись журналы. Дед повел лифт сам: бешено рванул вверх и обо что-то стукнулся кабиной, а потом вниз и тоже стукнулся, и снова вверх; наконец, мы замерли чуть выше пятого этажа и спрыгнули на площадку. Когда лифт встал, воцарилась тишина. Было слышно только трамвай из Хуареса да колокольный звон.



Я побоялась идти за ним в мастерскую — вконец перетрусила; дед меня туда затащил. Внутри было темно, как в кинотеатре. Дед зажег бунзеновские горелки, но они еле-еле теплились. Я не могла ничего разглядеть, не могла разглядеть то, что он хотел мне показать. Он взял с полки пару челюстей, поднес к огоньку над мраморной плитой. Я замотала головой.

— Смотри на них, смотри же, — дедушка разинул рот, и я перевела взгляд с искусственных зубов на его собственные, и обратно на искусственные.

— Это же твои! — сказала я.

Искусственные зубы были безукоризненной копией дедушкиных, даже десны — один в один, такого же некрасивого, нездорового розоватого оттенка. Зубы были с пломбами и трещинами, некоторые обколотые или стершиеся. Только один зуб он изменил — передний, на котором раньше была золотая коронка. Вот почему эти челюсти — произведение искусства, сказал он.

— Как тебе удалось передать все оттенки?

— Очень даже неплохо, а, черт подери? Ну как... шедевр получился?

— Да, — я пожала ему руку. Теперь я была рада, что он меня привел.

— Как ты их подгонишь по размеру? — спросила я. — Они подойдут?

Обычно он удалял пациенту все зубы, ждал, пока заживут десны, а потом делал с обнаженных десен слепки.

— Молодые иногда так делают: снимаешь слепок до удаления, готовишь протезы и вставляешь, пока десны не успеют съежиться.

— И когда ты выдернешь себе зубы?

— Прямо сейчас. С твоей помощью. Иди, подготовь что надо.

Я включила ржавый стерилизатор в розетку. Ободранный провод заискрил. Дед шагнул было к стерилизатору: “Да брось...” — но я его остановила: “Нет. Все должно быть стерильно” — и он захохотал. Поставил на поддон свою бутылку

виски, положил рядом пачку сигарет, закурил, налил полный бумажный стакан “Джека Дэниэлса”. Сел в кресло. Я отрегулировала отражатель, надела на деда нагрудник, сделала кресло повыше, откинула спинку.

— А знаешь, многие твои пациенты были бы счастливы оказаться сейчас на моем месте.

— Та фиговина пока не закипела?

— Нет.

Я налила несколько бумажных стаканчиков “асептолина”, достала пузырек с нюхательной солью. Спросила:

— А если у тебя случится обморок?

— Хорошо бы. Тогда будешь выдергивать сама. Хватай их как можно крепче, одновременно выворачивай и тяни. Дай выпить.

Я протянула ему стаканчик с “асептолином”.

— Ишь, мудрая какая.

Я налила ему виски:

— Никому из твоих пациентов выпивка не полагается.

— То моим пациентам, не твоим же.

— Хорошо, вот и закипело, — я вылила воду из стерилизатора в плевательницу, разложила полотенце. На другом полотенце, подстелив его на поддон на уровне дедова подбородка, разложила полукругом инструменты.

— Держи зеркальце так, чтоб я видел, — сказал он и взял щипцы.

Я встала между его колен на подставку, чтобы поднести зеркало поближе. Первые три зуба выдернулись без труда. Он передал их мне, а я кинула в бачок у стены. С резцами было сложнее, один вообще не поддавался. Дед срыгнул и застыл неподвижно, а корень зуба все еще торчал из десны. Смешно пискнув, дедушка вложил щипцы в мою руку: “Выдергивай! — Я потянула за корень. — Ножницами, дура!” Я присела на железную подставку у его ног: “Одну минутку, дедушка”.

Его рука, протянувшись над моей головой, схватила бутылку, он сделал глоток, взял с поддона какой-то инструмент. Начал удалять себе, обходясь без зеркала, все оставшиеся нижние зубы. Звук был такой, словно это деревья выкорчевывают из зимнего грунта. Кровь капала в поддон — плюх, плюх — и на железку, где сидела я, тоже.

Дед так заливисто захохотал, что я подумала: спятил. И повалился на меня. Я с перепугу вскочила — так рванулась, что запихнула его обратно в откинутое кресло. “Тащи!” — выдохнул он. Мне стало страшно, тут же возникла мысль: вот вырву я их, и он умрет, и что это будет — убийство?

— Вырывай! — он сплюнул, узкий красный водопад побежал по подбородку.

Я откинула спинку кресла еще дальше. Дед обмяк, словно бы и не почувствовал, как я сворачивала набок и выдергивала верхние коренные. Он потерял сознание, губы сомкнулись, точно серые створки ракушки. Я раскрыла ему рот, запихнула с одного бока бумажное полотенце, чтобы добраться до трех оставшихся коренных.

Все зубы были удалены. Я попробовала опустить кресло пониже, надавила ногой на педаль, да не на ту: кресло завертелось, пол украсился кругами из кровавых брызг. Мне не хотелось тревожить деда; кресло, тихо скрипнув, замерло. Так, чайные пакетики: дедушка приказывал пациентам их прикусывать, чтобы остановить кровь. Я вытрясла все ящики из стола Мейми: тальк, бумажные образки с молитвами, “Большое спасибо за цветы”. Чайные пакетики — около электроплитки, в жестянке.

Полотенце во рту набухло, сделалось малиновым. Я кинула полотенце на пол, засунула деду в рот пригоршню чайных пакетиков, сомкнула ему челюсти. И завопила. Без зубов лицо у него стало — форменный череп: костяная белизна, под ней — алое, кровавое горло. Жуткое чудовище, оживший чайник, желто-черные этикетки “Липтона” трепещут, как флажки на параде. Я побежала звонить матери. Ни одного пятицентовика. А в дедовы карманы не залезть: не могу его с места сдвинуть. Штаны на нем мокрые, моча капает на пол. В одной ноздре все время то надувается, то лопается кровавый пузырь.

Зазвонил телефон. Мать. Плачет. Тушеное мясо приготовила, прекрасный воскресный обед. Даже огурцы и лук, совсем как у Мейми. “На помощь! Дедушка!” — сказала я и повесила трубку.

Его вырвало. Вот и хорошо, подумала я, а потом хихикнула: нашла время радоваться. Вытащила из его рта пакетики, швырнула на загаженный пол, намочила пару полотенец, обтерла ему лицо. Откупорила нюхательную соль прямо у него под носом, вдохнула запах сама, содрогнулась.

— Мои зубы! — завопил он.

— Нет больше зубиков! — крикнула я, точно ребенку. — Все выдернула!

— Новые, дура!

Я пошла за зубами. Теперь-то я их узнала: точь-в-точь его прежние челюсти.

Он потянулся к ним, словно уличный попрошайка в Хуаресе к деньгам, но руки слишком тряслись.

— Я их вставлю. Сначала прополощи.

Сунула ему стаканчик. Он промыл рот, выплюнул, не поднимая головы. Я полила зубы перекисью водорода и вставила ему в рот. “Вот, смотри!” — поднесла зеркальце Мейми, с ручкой из слоновой кости.

— Што жа шелюсти! — и он засмеялся.

— Шедевр, дедушка! — я тоже засмеялась, поцеловала его в потный лоб.

— О Боже! — взвизгнула мать, рванулась ко мне, раскинув руки. Поскользнулась на крови, ударилась о бачки для вырванных зубов. Схватилась за них, чтобы удержаться на ногах.

— Посмотри на его зубы, мама.

Она даже не заметила. Не видела разницы. Он налил ей “Джека Дэниэлса”. Она взяла стакан, рассеянно буркнула: “За тебя”, выпила.

— Ты спятил, папа. Он спятил. Откуда столько чайных пакетиков?

Его рубашка отлепилась от кожи с таким треском, что мне почудилось — лопнула по швам. Я помогла ему вымыть грудь и морщинистый живот. Сама тоже умылась, переоделась в коралловую кофту Мейми. Пока мы ждали такси “8—5”, мать и дед молча пили. Я сама спустила нас на лифте, остановила его самую чуточку над нижним этажом. Когда мы добрались домой, таксист помог деду взойти по лестнице. Дед задержался у двери Мейми, но та спала.

Улегшись на кровать, дедушка тоже заснул, а зубы его скалились в ухмылке, как у Белы Лугоши[1]. Болели, наверное.

— Хорошо сработано, — сказала моя мать.

— Ты перестала его ненавидеть, мама, перестала ведь?

— Да нет, — сказала она. — Не перестала.

## *Звездочки и святые*

ПОДОЖДИТЕ, я сейчас все объясню.

В такие истории — как давеча утром с психиатром — я попадаю то и дело, с самого детства. Психиатр купил дом, затеял реконструкцию, а сам поселился в коттедже окнами на мой участок. Судя по лицу, человек был приятный и красавец, и мне, естественно, хотелось произве-

1. Американский актер венгерского происхождения; известен как исполнитель роли графа Дракулы.

сти на него хорошее впечатление. Была идея угостить его домашним печеньем, но вдруг он подумает, что я назойливая? Как-то спозаранку я, как обычно, пила кофе и смотрела в окно на свой сад, такой очаровательный: душистый горошек, и живокость, и космея. Настроение у меня было... ну-у-у... приподнятое... Почему я запинаюсь, прежде чем в этом признаться? А вдруг вы подумаете, что я сентиментальная, мне ведь хочется произвести на вас хорошее впечатление. В общем, смотрела я да радовалась, швырнула пригоршню корма на свою террасу и сидела, улыбаясь сама себе, когда десятки горлиц и зябликов слетелись поклевать. И вдруг — гром и молния — на террасу запрыгивают два гигантских кота и с громким чавканьем принимаются пожирать птиц, и перья разлетаются во все стороны, и в эту самую минуту психиатр выходит наружу. Таращится на меня, вскрикивает "Какой ужас!" и удирает без оглядки. С тех пор он всячески старается меня избегать; правда-правда, мне не почудилось. И как, скажите на милость, мне теперь объяснить ему, что все случилось в мгновение ока и улыбалась я не котам, истребляющим птичек. Просто во мне еще не успела погаснуть радость от зябликов и душистого горошка.

Сколько себя помню, первое впечатление я всегда производила крайне неудачное. Вот в Монтане, например: я просто хотела снять с Кента Шрива носки, чтобы мы могли прогуляться босиком. Я же не знала, что они у него пришпилены булавками к кальсонам. Но больше всего мне хочется рассказать про школу Святого Иосифа. Видите ли, психиатры (только, прошу вас, не поймите меня неправильно, я не зациклена на психиатрах, я вообще никогда ни на чем не зацикливаюсь)... мне кажется, психиатры уделяют слишком много внимания первичной сцене и доэдипальной депривации, но упускают из виду психологические травмы, нанесенные начальной школой и одноклассниками — жестокими, беспощадными.

О том, что случилось в школе Вилас — первой моей школе в Эль-Пасо, — я даже рассказывать не стану. Одно большое недоразумение. И вот когда с начала учебного года прошло почти три месяца, я, третьеклассница, стою на детской площадке перед школой Святого Иосифа. Моей новой школой. Стою и обмираю от ужаса. Я думала, что в школе, где носят форму, будет как-то полегче. Но на спину давит тяжелый металлический корсет, который нужен, чтобы у меня прошел сколиоз, как это называют... А если говорить прямо, он нужен, чтобы горб не рос. В общем, мне выбрали белую блузку и клетчатую юбку на несколько размеров больше, чтоб нале-

зали на корсет, а моя мать, естественно, не подумала хотя бы укоротить юбку.

Когда я проучилась там несколько месяцев, опять случилось большое недоразумение. Однажды по школе дежурила сестра Мерседес. Молоденькая, ласковая: наверно, в ее прошлом была трагическая любовь. Скорее всего, он был летчик и погиб на войне... Когда мы проходили парами мимо сестры Мерседес, она дотронулась до моего горба и шепнула: "Дитя мое, ты несешь тяжкий крест". Откуда ж ей было знать, что я успела сделаться религиозной фанатичкой и ее невинные слова убедят меня, что я предназначена нашему Спасителю?

(Ох, кстати, о матерях. На днях в автобус села мать с маленьким сыном. Она, очевидно, работает и, очевидно, забрала ребенка из садика после работы, она устала, но рада видеть сына, и вот она его расспрашивает, а он рассказывает обо всем, чем сегодня занимался. "Ты у меня особенный!" — восклицает мать, обнимая его. А мальчик: "Особенный? Значит, я дебил?!" На ресницах у него повисают огромные слезы, он весь дрожит от ужаса, а мать продолжает широко улыбаться — совсем как я тогда утром с птичками.)

В тот день на детской площадке я поняла, что никогда в жизни не войду в мир других. Не просто "не впишусь": меня даже не впустят. В углу площадки две девочки крутили тяжелую скакалку, а остальные, красивые, розовощекие, поочередно проскакивали под веревкой: прыг-скок и вовремя отскок назад, и снова в очередь. Топ-топ, ни одна не сбивалась с ритма. Посреди площадки была карусель с круглым сиденьем, которое головокружительно, беззаботно вертелось, никогда не останавливаясь, но хохочущие дети вскакивали на него и снова соскакивали, и не только не падали, а мчались дальше так же стремительно. Повсюду вокруг меня на площадке царила синхронность и симметрия. Две монахини: четки щелкают в унисон, аккуратные головки слаженно кивают детям. Мяч энергично стучит по бетону, дюжина матате-нас подбрасывается и тут же подхватывается одним взмахом маленькой ручонки. Хлоп-хлоп-хлоп: эти девочки заняты замысловатыми, дико сложными играми в ладошки. "Собака прибежала, хозяину сказала. Хлоп-хлоп". Я слонялась по площадке, не просто неспособная войти в их мир, но, казалось, невидимая, что было по-своему даже хорошо. Решила сбежать — завернула за угол школьного здания, где с кухни слышались смех и звяканье. Угол отгораживал меня от детской площадки, а приветливый смех в кухне успокаивал. Правда, туда мне тоже было нельзя. Но вдруг визг, крик, голос одной из монахинь: "Ой, разве я смогу, я ни за что не смогу", и тут я

смекнула: почему бы мне не зайти на кухню — монахиня ведь всего-навсего не может вынуть мышь из мышеловки. “Давайте, я это сделаю”, — предложила я. И монахини так обрадовались, что даже ничего не сказали насчет того, что я вломилась в кухню, только одна шепнула другой: “Протестантка”.



Вот так все началось. Они меня не только приняли, но даже дали оладью: горячую, вкуснющую, со сливочным маслом. Естественно, дома я завтракала, но оладья была такая вкусная, что я умяла ее моментально и получила еще одну. Итак, каждый день в награду за то, что я вынимала мышей из двух-трех мышеловок и клала туда приманку, мне доставались не только оладьи, но и бесплатный образок со святым Христофором — жетон на обед. Так я была избавлена от необходимости перед первым уроком, у всех на виду, стоять в очереди за жетонами, которые выдавались в обмен на десять центов.

Из-за больной спины мне разрешалось оставаться в классе, пока другие занимались физкультурой или на большой перемене носились по площадке. Только утром приходилось непросто, потому что школьный автобус привозил нас загодя, к запертым воротам. Я приказывала себе: попробуй с кем-нибудь подружиться, разговаривай с одноклассницами, но какое там. Все девочки были католички и учились вместе с подготовительного класса. Справедливости ради скажу, что они были добрые, нормальные. Но я была намного младше одноклассниц, потому что перепрыгнула через несколько классов. И вдобавок до войны жила исключительно в шахтерских поселках, в глуши. Я не умела задавать вопросы вроде: “Тебе понравился урок про Бельгийское Конго?” или “Какое у тебя хобби?” Нет, я подбиралась к одноклассникам бочком и выпаливала что-нибудь вроде: “У моего дяди один глаз стеклянный”. Или: “А я как-то нашла мертвого медведя-кадьяка, у него вся морда была в червях”. Девочки либо игнорировали меня, либо хихикали, либо говорили: “Врушка-врушка, мокрая подушка!”.

Итак, одно время у меня было где перекантоваться до начала уроков. Я чувствовала, что приношу пользу, что меня уважают. А потом обнаружила, что девочки шипят мне вслед не только “протестантка”, но и “нищенка”, а позднее — “крысоловка” и “Минни-Маус”. Я притворялась, что мне все равно, а кухню просто обожала: тихий смех и шепотки монахинь-кухарок в грубых холщовых рясах, похожих на ночные рубашки.

Естественно, к тому времени я решила стать монахиней — потому что они-то, судя по всему, никогда ни из-за чего не нервничали и, главное, потому что была очарована их чер-

ными рясами и белыми накрахмаленными чепцами, похожими на гигантские ирисы. Готова поклясться: когда монахини стали одеваться на манер самых обыкновенных контролерш с парковки, католическая церковь потеряла массу потенциальных послушниц. И вот однажды в школу зашла моя мать — поинтересоваться, как у меня идут дела. Ей сообщили, что успеваемость у меня отличная, поведение примерное. Сестра Цецилия сказала, что на кухне они очень ценят мою помощь и стараются накормить меня сытным завтраком. Сказала моей матери, моей высокомерной матери в старой облезлой жакетке с облезлой, ослепшей — стеклянные глаза давно вывалились — лисой. Мать почувствовала унижение, а еще гадливость — из-за мышей, и бешеную ярость — из-за образков со святым Христофором, потому что все это время я каждое утро получала от нее по десять центов и после уроков тратила их на конфеты. Хитрая маленькая воровка. Шлеп-шлеп по щекам. Какое унижение!

Больше никакой кухни! — а ведь это было чистой воды недоразумение. Наверно, монахини подумали, что возле кухни я кручусь, потому что голодаю, бедная крошка, и поручили мне мышеловки из милосердия, а не потому, будто моя помощь и вправду требовалась. Хуже другое: всю жизнь думаю и до сих пор не могу додуматься, как я могла бы своевременно развеять их заблуждения. Возможно, откажись я от той первой оладьи...

Вот так получилось, что теперь до начала уроков я отсиживалась в церкви и искренне решила стать монахиней или святой. Первая же тайна: пламя свечей, выстроившихся рядами под каждой статуей Иисуса, Марии и Иосифа, беспрерывно мерцает и дрожит, словно от порывов ветра, хотя огромная церковь наглухо закупорена и все тяжелые двери плотно закрыты. Я рассудила: в статуях столь крепок Дух Господень, что свечи трепещут и шипят, страдальчески трясутся. Когда свечи разгорались, озаряя раны на белых костлявых ступнях Иисуса, казалось, что кровь еще свежая.

Поначалу, зайдя в церковь, я оставалась у дверей; голова шла кругом от пьянящего запаха ладана. Я преклоняла колени и молилась. Стоять на коленях было ужасно больно: корсет врезался в позвоночник. Я не сомневалась, что боль приближает меня к святости и дана в наказание за грехи, но больно было так, что я перестала опускаться на колени, а просто сидела в церковном сумраке до звонка на первый урок. Обычно в церкви никого, кроме меня, не было: только по четвергам приходил отец Ансельмо и запирался в исповедальне. Несколько старух, старшеклассницы, иногда какая-нибудь девоч-

ка из начальной школы: все они проходили вперед, у алтаря останавливались преклонить колени и перекреститься, а потом еще раз становились на колени и крестились, прежде чем войти в исповедальню через вторую дверцу. Меня озадачивало, почему после исповеди одни молятся недолго, а другие — подолгу. Я отдала бы все на свете, лишь бы узнать, что происходит в исповедальне. Точно не скажу, сколько дней прошло, прежде чем я, как-то незаметно для себя, оказалась внутри, и сердце у меня бешено забилось. Обстановка была самая изысканная, превосходящая все мои фантазии. Надымлено миррой, подушка для коленей — бархатная, а сверху смотрит Пресвятая Дева, с неисчерпаемой жалостью и состраданием. За резной перегородкой — отец Ансельмо, в обычное время щуплый, вечно задерганный человечек. Но тут он предстал в виде силуэта — у Мейми висит похожий портрет мужчины в высокой шляпе. Он мог оказаться кем угодно: Тайроном Пауэром[1], моим отцом, Богом. Голос ничуть не похож на голос отца Ансельмо: низкий, отдается негромким эхом. Отец Ансельмо попросил меня прочитать молитву, которой я не знала, и тогда сам стал проговаривать ее по строчке, а я за ним повторяла: "...беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною". Потом он спросил про мои грехи. Я не собиралась лукавить. Мне, истинная правда, не в чем было исповедоваться. Ни единого греха. И я ужасно застыдилась: неужели так ничего и не придет в голову? Загляни в глубины своего сердца, дитя мое... Ничего. В отчаянии, из пламенного желания угодить, я выдумала один грех. Я стукнула свою сестру по голове щеткой для волос. Ты завидуешь сестре? О да, святой отец. Завидовать грешно, дитя мое, помолись, чтобы Господь разрешил тебя от этого греха. Три "Аве Мария". Я встала на колени и, начав молиться, сообразила, что наказание недолгое, в следующий раз надо заслужить что-нибудь получше. Но следующего раза не было. Сестра Цецилия в тот же день велела мне остаться после уроков. Хуже всего была ее доброта. Она понимает, как сильно мне хочется приобщиться к таинствам Церкви. К таинствам — ой как хочется! Но я протестантка: не крещена, не конфирмована. Мне дозволено ходить в их школу, и сестра Цецилия этому рада, потому что я хорошая послушная ученица, но участвовать в жизни их церкви мне нельзя. Я должна оставаться на детской площадке, вместе с другими девочками.

1. Известный актер (1914–1958).

Меня осенила страшная мысль, и я достала из кармана мои четыре карточки со святыми. За каждое “отлично” по чтению или арифметике полагалась одна звездочка. В пятницу ученица, у которой было больше всего звездочек, получала карточку со святым — очень похожую на карточки с бейсболистами[1], только у святых были нимбы, облепленные блестками, а у бейсболистов — нет.

— У меня не отберут моих святых? — спросила я, и в груди у меня закололо.

— Конечно, не отберут. Надеюсь, ты заслужишь еще очень много новых, — сестра Цецилия улыбнулась мне и опять обласкала. — Ты все равно можешь молиться, милая девочка, о наставлении на путь истинный. Давай помолимся вместе. “Радуйся, Мария...”

Я зажмурилась и начала горячо молиться Богоматери, у которой всегда будет лицо сестры Цецилии.

Всякий раз, когда на улице — далеко ли, близко ли — выла сирена “скорой”, сестра Цецилия, чем бы мы ни были заняты, просила нас прерваться, преклонить голову, уткнувшись в деревянную парту, и прочесть с начала до конца “Радуйся, Мария”. Я это делаю до сих пор. В смысле, читаю “Радуйся, Мария”. Вообще-то... лбом к деревянным столешницам я тоже прижимаюсь: слушаю, потому что столы шумят, точно ветки на ветру, точно до сих пор остаются деревьями. В те годы мне не давали покоя самые разные вопросы: например, что́ вдыхает жизнь в свечи и откуда берется звук, который в партах. Если в мире Божьем у всего есть душа, даже у парт — у них ведь есть голос, — то должен быть и рай. Меня в рай не пустят, потому что я протестантка. Мне придется отправляться в лимбус[2]. А я готова попасть в ад, но только не в лимбус: очень уж противное название, похоже на свинтус, несолидное.

Я сказала матери, что хочу стать католичкой. Мать с дедом закатили истерику. Дед хотел перевести меня обратно в Вилас, но мать сказала: нет, там одни мексиканцы и малолетние преступники. Я ей сказала, что у Иосифа полно мексиканок, но она ответила: эти из хороших семей. А у нас семья хорошая? Я искренне не понимала, хорошая она или нет. Я и теперь заглядываю в панорамные окна, за которыми сидят

1. Коллекционные карточки с портретами бейсболистов. Выпускаются в США и других странах, где популярен бейсбол.
2. Лимбус или лимб — в католицизме место пребывания не попавших в рай душ, не совпадающее с адом или чистилищем.

целые семейства, и размышляю: “Чем они заняты? Как они между собой разговаривают?”

Однажды сестра Цецилия пришла к нам домой в сопровождении другой монахини. Зачем они приходили, не знаю: им не дали и слова сказать. Началась катавасия: мать плачет, Мейми — моя бабушка — плачет, а дедушка спьяну кинулся на монахинь, стал обзываться: “Ну вы, вороны”. На следующий день я боялась, что сестра Цецилия будет сердиться и на большой перемене, оставляя меня посидеть в классе одну, не скажет: “До скорого, милая”. Но она, уходя, дала мне книгу “Как Бетси нашла понимание”[1] и сказала: “Мне кажется, тебе понравится”. Это была первая настоящая книга, которую я прочитала, первая книга, в которую я влюбилась.

Она хвалила меня на уроках, ставила в пример другим каждый раз, когда я получала звездочку, или по пятницам, когда мне доставалась карточка со святым. Я старалась во всем ей угождать: тщательно выводила наверху каждой страницы в тетрадках A. M. D. G.[2], спешила вытереть доску тряпкой. Мои молитвы были самыми громкими, а моя рука поднималась первой, когда сестра Цецилия задавала вопрос. Она давала мне почитать книги, а однажды подарила бумажную закладку с надписью “Молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей”. В столовой я показала закладку Мелиссе Барнс. По глупости я думала: раз сестра Цецилия меня любит, полюбят и девочки. Но теперь насмешки сменились ненавистью. Когда на уроке я вставала, чтобы ответить, они шептали: “Подлиза, подлиза, подлиза”. Сестра Цецилия поручила мне собирать десятицентовики и выдавать жетоны на обед, и каждая девочка, забирая свой образок, шептала: “Подлиза”.

А потом однажды — как гром с ясного неба — мать на меня взъелась, потому что мой отец писал мне чаще, чем ей. Это потому, что я ему чаще пишу. Нет, потому, что ты подлиза. Однажды я пришла домой поздно (не успела на автобус, который отправлялся с главной площади). Мать стояла на верхней ступеньке лестницы, зажав в одной руке голубой конверт “Авиапочты” — письмо от отца. Другой рукой она зажгла, чиркнув ею по ногтю, кухонную спичку и, пока я взбегала по лестнице, сожгла письмо. Эти ее фокусы всегда меня пугали.

1. Повесть американской писательницы Дороти Фишер, впервые опубликованная в 1916 г.
2. Ad maiorem Dei gloriam (AMDG) — “К вящей славе Божией” (*лат.*), геральдический девиз ордена иезуитов. Призван напоминать школьникам, что их учеба предназначена “К вящей славе Божией”.

Пока я была маленькая, спичку не замечала, думала, что мать прикуривает от своего пылающего пальца.

Я перестала разговаривать. Никому не объявила: “Все, я больше никогда ни слова не скажу”. Нет, я перестала разговаривать постепенно, а когда за окном с воем проносилась “скорая”, утыкалась лбом в парту и бормотала себе под нос молитву. Когда сестра Цецилия вызывала меня на уроке, я вставала, мотала головой и снова садилась. Я перестала получать святых и звездочки. Но все понапрасну: надо было это проделать раньше. А теперь меня стали звать “дура-передура”. Когда все ушли на физкультуру, сестра Цецилия задержалась в классе: “Что случилось, милая? Чем я могу тебе помочь? Поговори со мной, пожалуйста”. Я стискивала челюсти и отводила взгляд. Она ушла, а я осталась в классе, в душном полумраке. Скоро она вернулась, принесла книгу “Черный красавчик” и положила ее передо мной. “Чудесная книга, только очень грустная. Скажи мне, ты из-за чего-то грустишь?”

Я убежала от нее и от книги в гардеробную. Конечно, в знойном Техасе мы ходили без пальто, и гардеробная не требовалась, в ней хранились коробки с пыльными учебниками. И с пасхальными украшениями. И с рождественскими. Сестра Цецилия вошла в эту узкую каморку вслед за мной. Взяла за плечи, развернула к себе, заставила встать на колени. “Давай помолимся, — сказала. — Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус...” На глазах у нее выступили слезы. В ее взгляде было столько нежности, что я просто не вынесла. Стала вырываться, нечаянно сбила ее с ног. Чепец, зацепившись за крючок на вешалке, слетел у нее с головы. Девчонки врали: голову она не бреет. Она закричала, выбежала в коридор.

В тот же день меня сняли с уроков и отправили домой: исключили из школы Святого Иосифа за то, что я ударила монахиню. Не понимаю, как она могла подумать, что я способна ее ударить. Все было совершенно не так.

## *Эль Тим*

В дверях всех классов стояли монахини, и их черные рясы, раздуваемые сквозняком, реяли в коридоре. Голоса первоклассников, читающих молитву: “Радуйся, Мария, благодати полная! Господь с Тобою”. По ту сторону коридора начинали, чеканя слова, второклассники: “Радуй-

ся, Мария, благодати полная". Я останавливалась в самом центре здания и ждала, пока торжествующие голоса третьеклассников грянут, а первоклассники подхватят: "Отче наш, сущий на небесах", а потом присоединятся четвероклассники, низкими голосами: "Радуйся, Мария, благодати полная".



Чем старше были дети, тем торопливее они молились, и потому все голоса постепенно соединялись, чтобы внезапно слиться в общем ликующем гимне: "Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Я преподавала испанский в новой школе второй ступени, которая примыкала к детской площадке с другой стороны и сама была похожа на пеструю детскую игрушку. Каждое утро перед занятиями я заходила в начальную школу послушать молитвы, а еще — чтобы просто побыть внутри: так ходят в церковь. Раньше тут была католическая миссия, выстроенная в XVIII веке испанцами с таким расчетом, чтобы она много лет простояла посреди пустыни. Поэтому школа отличалась от других старинных школ, чья тишина и основательность отгораживают школьников от внешнего мира, позволяя замкнуться в своей раковине. Но эта школа сохраняла умиротворенность миссии, святилища.

В начальной школе монахини смеялись и дети смеялись. Все монахини были пожилые, но ничуть не походили на усталых старух, которые на автобусных остановках судорожно прижимают к себе сумочки: нет, они держались гордо, согреваемые любовью своего Бога и своих детей. На любовь они отвечали нежностью, тихим смехом, который накапливался, бережно хранился в стенах школы, за ее тяжелыми деревянными дверями.

По детской площадке пронеслись несколько монахинь из школы второй ступени, вынюхивая табачный дым. Эти монахини были молодые и нервные. Они учили "малоимущих детей", "трудных подростков", и по их узким лицам было видно, как им тоскливо, как им надоели пустые глаза школьников. В отличие от монахинь из начальной школы, они не могли сыграть на благоговейном страхе или любви. Их выручала неприступность: равнодушие к ученикам, то есть к своему долгу и смыслу своей жизни.

Одно за другим засверкали на солнце окна девятого класса: сестра Лурдес, как всегда, распахнула их за семь минут до звонка. Я стояла у оранжевой двери, исписанной чьими-то инициалами, и смотрела, как мои девятиклассники бродят взад-вперед у сетчатой ограды: гибкие тела расслаблены, головы покачиваются на ходу, руки и ноги вихляются в такт звукам трубы, которая никому, кроме них, не слышна.

Прислонившись к железной сетке, они переговаривались на смеси англо-испанского диалекта с молодежным сленгом, беззвучно посмеиваясь. Все девочки в темно-синей форме. Ребята — как птицы: девочки в неприметном оперении кокетничают с мальчиками, а те наклоняют набок хохлатые головы, шикарно выглядя в своих оранжевых, желтых или бирюзовых брюках-дудочках. Мальчики носили расстегнутые черные рубашки или джемперы с треугольным вырезом на голое тело, и на груди у них сияли, оттененные гладкой смуглой кожей, крестики: кресты пачуко[1], такие же выколоты на кистях рук.

— Доброе утро, милочка.

— Доброе утро, сестра.

Сестра Лурдес, директриса, вышла посмотреть, построились ли семиклассники. Это она приняла меня на работу, скрепя сердце взяла учительницу, которой надо платить деньги, потому что ни одна из здешних монахинь не владела испанским.

— Вам, учительнице-мирянке, — сказала она тогда, — первой учительнице-мирянке у нас в школе Святого Марка, возможно, будет нелегко управиться с учениками, тем более что многие из них почти ваши ровесники. Ни в коем случае не повторяйте ошибку, которую совершают многие из моих молодых монахинь. Не пытайтесь обращаться с ними, как с друзьями. Эти ученики делят всех людей на сильных и слабых. Вы должны держаться за свою силу... Ваше подспорье — отстраненность, дисциплина, контроль, наказания. Испанский — предмет факультативный, ставьте столько единиц, сколько хотите. В первые три недели вы можете перевести любого своего ученика в мою группу — я преподаю латынь. Добровольно ко мне пока никто не попросился, — она улыбнулась. — Увидите, это вам очень поможет.

Первый месяц прошел хорошо. Угроза перевода в латинскую группу помогла: за две недели я сплавила туда семь учеников. Работать в относительно малочисленном классе, урезанном на четверть — на худшую четверть, — просто роскошь. А то, что испанский для меня — второй родной язык, облегчало дело: ученики совсем не ожидали, что какая-то "гринга" говорит на их языке не хуже и даже в чем-то лучше, чем их родители. То, что я понимаю их непристойности и сленг — как они называют полицию, марихуану и тому подобное, — вызывало

1. Пачуко — живущий в США молодой мексиканец из низших социальных слоев, член молодежной уличной банды.

уважение. Занимались они усердно. Испанский был им близок и дорог. Вели себя прилично, но их угрюмое послушание и механические ответы меня удручали.

Они подсмеивались над словами и выражениями из моего лексикона. (И стали употреблять их не реже, чем я.) “La Piña”[1], — вышучивали они мою прическу. (А вскоре девочки подстриглись под меня.) “Криворукая”, — перешептывались они, когда я выводила на доске фразы. (И сами вскоре начали писать моим почерком все домашние и классные работы.)

Мальчики пока не превратились в пачуко, в тех бандитов, которыми старательно пытались стать: попробует с размаху воткнуть свой финский нож в парту — и заливается краской, когда нож, соскользнув, падает на пол. Пока еще они не заявляли: “Да чему ты вообще можешь меня научить?” Ждали, для виду пожимая плечами, что их все-таки чему-нибудь научат. А я — чему я могла их научить? Мир, известный мне, был ничем не лучше того мира, против которого они осмеливались бунтовать.

Я наблюдала за сестрой Лурдес, чей сильный — не чета моему — характер внушал им непритворное уважение. Ученики видели, что она верует в Бога и принципы жизни, которую сама для себя выбрала; они относились к этому с почтением и никогда не давали сестре Лурдес понять, что их не особо обременяет суровость, с которой она старалась их приструнить.

И смеяться вместе с ними она не могла. Они-то смеялись только, чтобы над кем-то поиздеваться, только если кто-то обнажал свое слабое место, задав нелепый вопрос, улыбнувшись, сделав ошибку или пустив газы. Всякий раз, когда я пресекала их невеселый смех, мне вспоминались хохот и восклицания в начальной школе — контрапункт радости.

Раз в неделю я все же смеялась вместе с девятым классом. По понедельникам, когда утлая металлическая дверь вдруг начинала ходить ходуном и слышалось властное “Бум-бум-бум”, от которого звенели оконные стекла и эхо разносилось по всему зданию. Этот чудовищный грохот непременно заставлял меня подпрыгнуть на стуле, и ученики принимались надо мной хихикать.

— Войдите! — говорила я, и грохот умолкал, а когда в дверях появлялся всего лишь крошка-первоклашка, мы заливались хохотом. Тихо шаркая кроссовками, он направлялся к

1. “Шишка”, “ананас” (*исп.*).

моему столу. “Доброе утро, — шептал, — можно список для столовой?” А потом уходил на цыпочках и с громом захлопывал дверь, и это тоже было смешно.



* * *

— Миссис Лоуренс, не зайдете ли на минутку?

Я вошла вслед за сестрой Лурдес в ее кабинет, подождала, пока она даст звонок на урок.

— В школу возвращается Тимоти Санчес. — Она помолчала, словно ожидая моей реакции. — Его держали в исправительной колонии, уже далеко не в первый раз, за кражу и наркотические вещества. В колонии считают, что ему следует как можно быстрее окончить школу. Он намного старше своих одноклассников и, судя по тестам в колонии, чрезвычайно способный мальчик. Здесь написано, что он нуждается в “поощрении и требовательности”.

— Что от меня требуется? У вас есть какие-то конкретные пожелания?

— Нет, в сущности, я ничего не могу вам посоветовать... Он... это совершенно уникальная проблема. Я просто подумала, что должна вам все это сообщить. За его успеваемостью будет следить инспектор, под надзор которого он отправлен после УДО[1].

На следующий день был Хэллоуин, и начальная школа пришла в костюмах. Я задержалась поглазеть на ведьм, на сотни чертенят, трепетавших на утренней молитве. До девятого класса добралась уже после звонка на урок. “О Сердце, зачавшее без порока, молись за нас”, — произнесли девятиклассники. Пока сестра Лурдес проводила перекличку, я стояла в коридоре. Потом вошла в класс. Ученики встали. “Доброе утро”. Сели, скрипя стульями.

И вдруг в классе воцарилась тишина.

— Эль Тим[2]! — прошептал кто-то.

Он стоял в дверях, и были видны только два силуэта — его и сестры Лурдес, очерченные светом из слухового окна в коридоре. Одет во все черное, рубашка расстегнута до пояса, низко сидящие брюки облегают поджарые бедра. На тяжелой цепочке посверкивал золотой крест. С полуулыбкой он смотрел на сестру Лурдес сверху вниз, и его ресницы отбрасывали рваные тени на впалые щеки. Черные прямые патлы.

1. Условно-досрочное освобождение.
2. В испанском языке определенный артикль (в данном случае “эль”) иногда ставится перед именами знаменитостей.

Проворным, каким-то птичьим движением длинных тонких пальцев откинул волосы со лба.

Я увидела, как по классу разлилось благоговение. Смотрела на девочек, юных хорошеньких девочек, которые в туалете перешептывались не о свиданиях или любви, а о замужестве и абортах. Пожирая его глазами, они напружинились, разрумянились, оживились.

Сестра Лурдес вошла в класс. "Сядь сюда, Тим", – указала на место прямо перед моим столом. Он прошел по классу, ссутулив свои широкие плечи, вытянув шею вперед, шарк-шарк, шарк-шарк – походочкой пачуко. "Гля, ребя, монахиня с прибабахом!" – ухмыльнулся, глядя на меня. Класс засмеялся.

– Молчать! – сказала сестра Лурдес. – Это миссис Лоуренс. Вот твой учебник испанского.

Он, казалось, ее вообще не слышал. Ее четки нервно зацокали.

– Застегни рубашку, – сказала она. – Застегни рубашку!

Он поднес обе руки к груди, уставился на пуговицу, одной рукой начал, оттянув, теребить ее, другой – ощупывать петлю. Монахиня оттолкнула его руки и взялась за дело сама, застегнула рубашку на все пуговицы.

– Даже не знаю, как я раньше без вас управлялся, сестра, – лениво протянул он. Она повернулась, вышла.

По вторникам мы писали диктанты.

– Достаньте карандаши и бумагу. – Ученики машинально повиновались. – И ты тоже, Тим.

– Бумагу, – тихо велел он. К его столу наперегонки потянулись руки.

– Llegó el hijo[1], – диктовала я.

Тим встал, побрел к задней парте. Сказал: "Карандаш сломался" – голос у него был низкий и хриплый; так хрипит в горле, когда человек вот-вот расплачется. И принялся медленно затачивать карандаш, проворачивая точилку так, что звук походил на барабанное соло.

– No tenían fé[2].

Тим остановился, чтобы взъерошить волосы одной девочке.

– Вернись на место, – сказала я.

– Полегче, – пробурчал он. Класс засмеялся.

Он сдал чистый лист бумаги, подписанный наверху "ЭЛЬ ТИМ".

1. Сын прибыл (*исп.*).
2. Они не веровали (*исп.*).

* * *

Отныне Эль Тим стал центром вселенной. В учебе он быстро нагнал одноклассников. Письменные упражнения и контрольные всегда выполнял блестяще. Но одноклассники подражали только его угрюмой надменности на уроках, его безмолвной, ненаказуемой "отрицаловке". Чтение вслух, спряжение глаголов на школьной доске, дебаты на заданную тему — вообще все, что делалось почти в охотку, теперь выполнялось с грехом пополам. Мальчики валяли дурака, стеснялись отвечать правильно; девочки замыкались в себе, робея перед Тимом.

Я сделала упор на письменных заданиях: каждый выполняет их самостоятельно, а я проверяю, переходя от парты к парте. Часто задавала изложения и сочинения, хотя программа девятого класса этого не предполагала. Это было единственное, что нравилось Тиму: он работал сосредоточенно, стирал написанное, переписывал с черновика на чистовик, листал испанский словарь, лежавший перед ним на парте. Сочинения писал с фантазией, без единой грамматической ошибки и исключительно на темы, не касающиеся его лично: про какую-нибудь улицу или дерево. Я комментировала и хвалила — письменно, на полях. Иногда зачитывала на уроках его работы вслух, надеясь, что они произведут впечатление и поощрят других. Но слишком поздно поняла, что похвалы Тиму лишь сбивали учеников с толку, а сам Тим все равно побеждал, презрительно шипя: Pues, la tengo... Я подобрал к ней ключик...

Эмитерио Перес повторял за Тимом каждое слово. Эмитерио отставал в развитии, и его держали в девятом классе, пока он не выйдет из школьного возраста. Ему поручалось раздавать бумагу, открывать окна. Я задавала ему то же самое, что и остальным. Тихо посмеиваясь, он исписывал страницу за страницей аморфными, но аккуратными каракулями, а я ставила оценки и возвращала ему листы. Иногда ставила "четыре", и он дико радовался. Теперь же даже Эмитерио бросил заниматься. Para qué, hombre?[1] — нашептывал ему Тим. Эмитерио растерянно переводил взгляд с Тима на меня и обратно. Иногда пускал слезу.

Я беспомощно наблюдала, как в девятом классе вызревает хаос — хаос, с которым не могла сладить даже сестра Лурдес. Теперь, когда она входила, ее встречала не тишина, а непорядок: кто-то громко чесал щеку, кто-то постукивал ластиком,

1. А зачем, чувак? (*исп.*)

шелестел страницами. Класс выжидал. И всякий раз раздавался, басовитый и неспешный, голос Тима: “Как-то тут холодновато, сестра, вам не кажется?”, “Сестра, у меня что-то с глазом, идите посмотрите”. Пока монахиня — каждый раз, каждый день — машинально застегивала на Тиме рубашку, мы сидели, не шелохнувшись. “Все хорошо?” — спрашивала она меня и уходила.

Как-то в понедельник я подняла глаза и увидела, что ко мне приближается маленький мальчик. Глянула на него, а потом, улыбнувшись, — на Тима.

— С каждым разом они становятся все меньше, вы заметили? — произнес он тихо, так, чтобы слышала только я. И улыбнулся мне. Я улыбнулась в ответ, обезоруженная радостью. И тут — резкий скрип: Тим отодвинул свой стул и пошел к задним партам. На полдороге задержался перед Долорес — тощей, некрасивой, застенчивой. Лениво стал щупать ее груди. Она вскрикнула, расплакалась, выскочила в коридор.

— Поди сюда! — заорала я ему. Его зубы сверкнули.

— А вы заставьте, — сказал он. Я оперлась об стол, потому что у меня закружилась голова.

— Вон отсюда! Марш домой. И больше никогда не приходи на мои уроки.

— Ни за что не приду, — ухмыльнулся он. Прошел мимо меня к двери, на ходу прищелкивая пальцами: клац-клац, клац-клац... Остальные ученики притихли.

Когда я тоже направилась к двери, чтобы поискать Долорес, в окно влетел камень. Упал, вместе с осколками разбитого стекла, на мой стол.

— Что происходит?! — на пороге возникла сестра Лурдес. Я не могла мимо нее протиснуться.

— Я отправила Тима домой.

Она побелела. Ее чепец задрожал:

— Миссис Лоуренс, ваш долг — держать его под контролем.

— Простите, сестра, это выше моих сил.

— Я поговорю с матерью игуменьей, — сказала она. — Утром зайдите ко мне в кабинет. На место!

Последнюю фразу, перейдя на крик, она адресовала Долорес, вернувшейся в класс через запасной выход. И ушла.

— Откройте книги на девяносто третьей странице, — сказала я. — Эдди, прочти и переведи первый абзац.

* * *

На следующее утро я не стала заходить в начальную школу, а сразу направилась в свою. Сестра Лурдес уже ждала меня в

своем кабинете со стеклянной дверью. В коридоре стоял Тим, привалившись к стене, заложив пальцы за ремень.

Я кратко рассказала монахине, что случилось накануне. Она слушала меня, опустив голову.

— Надеюсь, вам удастся вернуть уважение этого мальчика к себе, — сказала она.

— Ноги его не будет в моем классе, — заявила я. Встала, подошла к ее столу, схватилась за край деревянной столешницы.

— Миссис Лоуренс, нас известили, что этот мальчик нуждается в особом внимании, что он нуждается в "поощрении и требовательности".

— Но не в девятом классе. Он слишком взрослый и слишком умный, чтобы здесь учиться.

— Что ж, вам придется найти решение этой проблемы.

— Сестра Лурдес, если вы снова запишете Тима в мою группу испанского, я пойду к матери-игуменье и к его инспектору по УДО. Я расскажу им, что случилось. Покажу работы моих учеников — до его появления и после. И работы Тима тоже покажу: в девятом классе ему не место.

Она произнесла тихо, сухо:

— Миссис Лоуренс, мы несем ответственность за этого мальчика. Совет по УДО передал его нам. Он останется в вашей группе.

И, побледнев, приблизила ко мне лицо:

— Преодолевать такие проблемы, учить детей вопреки проблемам — наш учительский долг.

— Но я просто не могу.

— У вас слабая воля! — прошипела она.

— Да, слабая. Он взял верх. Я не могу вынести того, что он творит со мной и с классом. Если он вернется, я уволюсь.

Она привалилась к спинке кресла. Устало проговорила:

— Дайте ему еще один шанс. Одну неделю. А потом поступайте, как хотите.

— Хорошо.

Она встала, распахнула дверь перед Тимом. Он присел на край ее стола.

— Тим, — заговорила она мягко, — ты докажешь мне, миссис Лоуренс и всему классу, что раскаиваешься?

Молчание.

— Я не хочу отправлять тебя назад в исправительную колонию.

— Это почему же?

— Потому что ты способный мальчик. Я хочу, чтобы здесь ты чему-нибудь да выучился, чтобы ты окончил школу Свято-

го Марка. Я хочу, чтобы ты поступил в школу высшей ступени, чтобы...

– Да ладно, сестра, – протянул Тим. – Вам просто хочется застегивать на мне рубашку.

– Заткнись! – я шлепнула его по губам. Моя белая рука – на фоне его смуглой кожи. Он застыл. Мне захотелось, чтобы меня немедленно стошнило. Сестра Лурдес вышла из кабинета. Мы с Тимом, стоя лицом к лицу, услышали, как она читает молитву в девятом классе: “Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус...”.

– Вы чего это меня ударили? – тихо спросил Тим. Я раскрыла рот, хотела было сказать “За твою наглость и жестокость”, но наткнулась на его презрительную улыбку: именно этих слов он от меня и ожидал.

– Ударила, потому что на тебя обозлилась. Из-за Долорес и из-за камня. Потому что обиделась и почувствовала себя дурой.

Его темные глаза изучали мое лицо. Пелена безразличия на миг растаяла.

– Наверно, теперь мы квиты, – сказал он.

– Да, – сказала я, – пойдем на урок.

Я шагала по коридору рядом с Тимом, стараясь не попадать с ним в ногу.

## *Мелина*

В Альбукерке мой муж Рекс по вечерам ходил на занятия в университет или в свою скульптурную мастерскую. А я сажала нашего маленького сына Бена в коляску и отправлялась на долгие прогулки. На вершине холма, на тенистой улице с вязами, был дом Клайда Тингли. Мы всегда проходили мимо этого дома. Клайд Тингли, миллионер, жертвовал все свои деньги детским больницам нашего штата. Мимо его дома мы ходили потому, что там постоянно, не только на Рождество, висели рождественские электрогирлянды: на крыльце, на всех деревьях сверху донизу. Клайд Тингли включал их, когда начинало смеркаться, а мы в это время обычно возвращались домой. Иногда он сидел на крыльце в инвалидном кресле: костлявый старик, кричавший нам во все горло: “Привет!” и “Прекрасный вечер!”. Но однажды вечером он закричал мне: “Погодите! Погодите! У вашего ребеночка что-то со ступнями! Ими надо заняться”.

Я глянула на ступни Бена: совершенно нормальные.

— Нет-нет, просто он немного перерос свою коляску. Вот и держит ноги так чудно, чтобы не скрести подошвами по земле.

Бен был умница. Говорить он пока не умел, но, казалось, все понял. И твердо уперся ногами в землю, словно показывая старику: ступни как ступни.

— Матери вечно отказываются признавать, что есть проблема. Немедленно сводите его к врачу.

И в эту самую минуту к нам приблизился мужчина, одетый во все черное. Даже в те времена пешеходы были редкостью, и его появление стало неожиданностью. Он присел на корточки, ощупал ступни Бена. С шеи у него свисал ремешок для саксофона, Бен сразу ухватился за этот ремешок.

— Нет, сэр. У этого мальчика со ступнями все в порядке, — сказал он.

— Правда? Рад слышать, — прокричал Клайд Тингли.

— В любом случае спасибо, — сказала я.

Мы с прохожим еще постояли, поговорили, а потом он проводил нас до дома. Было это в 1956-м. Он был битник — первый, которого я увидела воочию. В Альбукерке я не встречала никого, хоть отдаленно похожего. Он был еврей, разговаривал с бруклинским акцентом. Длинные волосы, борода, темные очки. Но вид ничуть не зловещий. Бену он полюбился сразу. Его звали Бо. Он был поэт и музыкант, играл на саксофоне. Я только потом выяснила, что ремешок, свисавший с его шеи, — это для саксофона.

Мы мигом подружились. Пока я готовила чай со льдом, он занимал ребенка. А когда я уложила Бена спать, мы уселись на крыльце на ступеньки и разговаривали, пока не вернулся Рекс. Мужчины держались вежливо, но, как я сразу заметила, не очень-то пришлись друг другу по вкусу. Рекс учился в аспирантуре. В то время мы были жутко бедны, однако Рекс выглядел солидно и старше своих лет. От него исходила аура успеха и, возможно, легкого высокомерия. А Бо строил из себя полного пофигиста, хотя я уже знала, что на самом деле он не такой. Когда он ушел, Рекс сказал, что не одобряет эту мою идею прилучать заблудших джазистов.

Бо провел полгода в Сан-Франциско, а теперь ехал автостопом домой в Большое Яблоко — в Нью-Йорк. Жил у друзей, но те с утра до вечера работали, и потому каждый день, все четыре дня, пока был в Альбукерке, он приходил повидать нас с Беном.

Бо хлебом не корми — дай поговорить. А я наслаждалась тем, что со мной кто-то разговаривает — Бен знал всего несколько слов, — и радовалась его обществу. Вдобавок разгово-

ры он вел весьма романтические. Он был влюблен. Я, конечно, знала, что Рекс меня любит, и мы счастливы вместе, и счастливо проживем всю жизнь, но Рекс не сходил по мне с ума, как Бо по своей Мелине.



В Сан-Франциско Бо торговал сэндвичами. У него была маленькая тележка, нагруженная булочками и кофе, лимонадом и сэндвичами. Он ходил, толкая тележку перед собой, с этажа на этаж огромного офисного здания. Однажды он зарулил со своей тележкой в офис страховой компании и увидел ее. Мелину. Она подшивала к делу документы, но вообще-то не подшивала, а смотрела в окно, и на ее лице играла мечтательная улыбка. Волосы у нее были длинные, осветленные, платье — черное. Она была совсем крохотная, худенькая-худенькая. "Но ее кожа...", — сказал он. Казалось, Мелина вообще не человек, а существо из белых шелков, из молочного стекла.

Бо сам не понял, что на него нахлынуло. Он бросил товар и покупателей, пошел к ней за стойку. Признался в любви. "Я тебя хочу, — сказал он. — Я сейчас раздобуду ключ от туалета. Приходи. Хоть на пять минут". Мелина взглянула на него и сказала: "Я приду".

Тогда я была очень молода. Таких романтических историй никогда еще не слышала.

Мелина замужем, у нее дочка, маленькая: ей, наверно, год. Ровесница Бена. Муж — трубач. Все те два месяца, пока Бо встречался с Мелиной, муж провел на гастролях. Роман был страстный, а когда муж собрался вернуться домой, Мелина сказала Бо: "Тебе пора сваливать". И он свалил.

Бо говорил, что невозможно не повиноваться каждому ее слову, что она его околдовала, и мужа своего тоже, и вообще всех мужчин вокруг. Ее невозможно ревновать, говорил он, поскольку то, что в нее влюблен каждый мужчина, кажется совершенно естественным.

Например... малышка у нее не от мужа. Одно время Мелина с мужем жила в Эль-Пасо. Работала в супермаркете "Пигг-ли-Уиггли", упаковывала кур и вырезку, закатывала в пластик. За стеклянным окошком, на голове — дурацкий бумажный колпак. Но ее все равно заметил один тореро-мексиканец, покупавший стейки. Он стукнул кулаком по прилавку, позвонил в звонок, убедил мясника: "Хочу видеть женщину, которая у вас заворачивает...". Заставил ее все бросить и уйти с работы. Так уж она на тебя действует, сказал Бо. Чувствуешь: твое место — рядом с ней, а все остальное подождет.

Спустя несколько месяцев Мелина обнаружила, что беременна. Очень обрадовалась, сказала мужу. Он рассвирепел.

Не может быть, говорит, я же сделал вазэктомию. Что-о? — возмутилась Мелина. — И ты меня не предупредил, когда женился? Она выставила его из дома, сменила замки. Он присылал ей цветы, писал страстные письма. Ночевал на улице под дверью, пока, наконец, она не простила его за этот поступок.

Она сама обшивала семью. Все комнаты в квартире обтянула тканями. На полу матрасы да подушки, ползаешь, как младенец, из шатра в шатер. И днем, и ночью — при свечах, никогда не знаешь, который час.

Бо рассказал мне про Мелину все. О ее детстве: как ее передавали из одного семейного приюта в другой, как в тринадцать лет она сбежала на улицу. Она работала в баре "на консумации" (что это такое, я до сих пор не знаю), и будущий муж пришел ей на выручку в крайне неприятных обстоятельствах. Она железная, говорил Бо, она ругается, как сапожник. Но глаза и прикосновения — ангельские, детские. Она — ангел, и этот ангел вошел в мою жизнь и сломал ее навеки... Да, Бо драматично сгущал краски, а иногда даже рыдал безутешно, но я обожала слушать про Мелину во всех деталях, мечтала стать такой, как она. Железной, загадочной, красивой.

Когда Бо уехал, я загрустила. В мою жизнь он тоже вошел наподобие ангела. После его отъезда до меня дошло, как мало Рекс разговаривает со мной и Беном. И такое одиночество взяло, что я даже подумывала превратить наши комнаты в шатры.

* * *

Перемотаем на несколько лет вперед. Я замужем за другим мужчиной, джазовым пианистом. Его зовут Дэвид. Хороший человек, но тоже молчун. Не знаю, чего я выходила замуж за всех этих молчунов, хотя больше всего на свете люблю разговоры. Правда, у нас была куча друзей. Музыканты, приезжая на гастроли, останавливались у нас, и, пока мужчины занимались музыкой, мы, женщины, кухарничали, болтали или играли с детьми, валяясь на траве.

Дэвид ни о чем не желал рассказывать, хоть клещами вытягивай: ни о том, каким он был в первом классе, ни про свою первую девушку, ни про что. Я знала, что до меня он прожил пять лет с одной женщиной, красавицей-художницей, но говорить о ней ему не хотелось. Послушай-ка, сказала я, ведь я выложила тебе всю свою жизнь, расскажи мне хоть что-нибудь про себя, расскажи, как первый раз влюбился... Тут он засмеялся, но все-таки рассказал. Проще простого, сказал он.

Та женщина жила с его лучшим другом, басистом Эрни Джонсом. Вон там, в южной долине, у оросительной канавы.

Как-то он зашел в гости к Эрни, дома его не застал, спустился к канаве.

Она загорала: голая, белая на зеленой траве. Вместо солнечных очков прикрыла глаза бумажными кружевными салфетками, которые подкладывают под креманки с мороженым.

– Ну и... И все? – допытывалась я.

– Ну да. И все. Я влюбился.

– Но... какая она была?

– Ни на кого не похожая. Однажды мы с Эрни лежали у канавы, разговаривали, курили анашу. Настроение было на нуле, потому что оба сидели без работы. Она содержала нас обоих – официанткой работала. В тот день она обслуживала дневной банкет и притащила с него домой все цветы, полный был зал цветов. И что же она выдумала: отнесла все цветы на канаву и пошвыряла в воду. Мы с Эрни мрачно сидим на берегу, смотрим на грязную воду, а мимо проплывает миллиард цветов. Она набрала на банкете еды и вина, даже скатерти и столовое серебро прихватила, и сервировала обед на траве.

– Ну и... Ты с ней... был когда-нибудь?

– Нет. Я с ней даже никогда не разговаривал – во всяком случае, наедине. Просто я ее помню... на траве...

– Хм, – сказала я, удовлетворенная всей этой массой информации и слегка дурацким выражением его лица. Я обожала романтическую любовь во всех ее проявлениях.

* * *

Мы переехали в Санта-Фе, Дэвид играл там на рояле в баре “У Клода”. В те годы в Санта-Фе часто бывали проездом разные хорошие музыканты, и все они выступали вместе с трио Дэвида, один-два вечера. Однажды приехал просто отличный трубач, Пако Дуран. Дэвиду нравилось с ним играть, и он спросил: ничего, если Пако, его жена и ребенок поживут у нас недельку? Конечно, сказала я, это будет замечательно.

И да, вышло замечательно. Пако играл гениально. Они с Дэвидом играли всю ночь напролет на работе и вдвоем целыми днями дома. Жена Пако, Мелина, оказалась очень забавной. Они оба по разговору и поведению были настоящие лосанджелесские лабухи. Наш дом называли “хатой”, говорили: “сечешь?” и “кочумай”. Их маленькая дочка и Бен сразу спелись; жаль, дети такого возраста вечно лезут, куда не надо. Мы пытались загнать их в манеж, но оба – ни в какую. Мелина придумала выход: дети пусть чудят, как хотят, а мы с ней вдвоем заберемся в манеж, чтобы нашему кофе и пепельни-

цам ничто не угрожало. И вот мы сидим в загоне, а дети вытаскивают из шкафа книжку за книжкой. Мелина рассказывала мне про Лас-Вегас, и по ее словам выходило, будто он где-то на другой планете. Слушая ее, я догадалась — даже не глядя на нее, я утопала в сиянии ее нездешней красоты, — что это Мелина, в которую влюбился Бо.

Но как я могла об этом даже заикнуться? Нельзя же было сказать: послушай, ты такая красивая, такая необычная — наверно, ты и есть великая любовь Бо. Но я вспомнила о Бо и заскучала по нему, и понадеялась, что у него все хорошо.

Мы с Мелиной приготовили ужин, и мужчины ушли на работу. Выкупав детей, мы устроились на заднем крыльце: курили, пили кофе, разговаривали про обувь. Поговорили обо всей обуви, сыгравшей важную роль в нашей жизни. О первых лоферах, первых туфлях на высоком каблуке. Серебряных танкетках. О незабываемых сапогах. Идеальных лодочках. Босоножках, сшитых вручную. Мексиканских ураче[1]. Шпильках. Пока мы разговаривали, наши босые ноги ерзали по сырой зеленой траве у крыльца. Ногти у нее на ногах были накрашены черным лаком.

Она спросила, кто я по гороскопу. Обычно меня раздражали такие вопросы, но я позволила ей рассказать все о моей скорпионьей натуре и всему поверила, до последнего слова. Я сказала ей, что гадаю по рукам — так, немножко, и посмотрела ее руки. Нет, слишком темно. Принесла из дома керосиновую лампу, поставила на ступеньки между нами. Я держала белые руки Мелины, освещенные лампой и луной. Вспомнила, как Бо описывал ее кожу. Мне казалось, что я держу прохладное стекло или серебро.

Я знаю наизусть книгу Кейро “Вы и ваша рука”. Я читала по сотням ладоней. Это я вам говорю, чтоб вы знали: я честно говорила ей все, что говорили мне линии и холмы на ее руках. Но в основном я выкладывала все, что рассказал мне про нее Бо.

Зачем я это сделала? Совестно сознаться. Я ей завидовала. Она была просто ослепительная. И ведь ничего для этого не делала: сама ее натура ослепляла. Мне захотелось произвести на нее впечатление.

Я рассказала ей всю ее биографию. Рассказала про кошмарные приемные семьи, и как Пако ее защитил. Говорила что-то вроде: “Вижу мужчину. Красивый мужчина. Опасность.

1. Плетеные сандалии, традиционная обувь крестьян в Мексике и некоторых других странах.

Но это не для вас опасность. Для него. Автогонщик? А может быть, тореро?". — "Ни хера себе! — сказала она. — Про тореро никто не знал".

Бо рассказывал мне, что однажды положил руку ей на макушку и сказал: "Все будет хорошо...", а она заплакала. Я сказала ей, что она никогда не плачет: ни когда грустит, ни когда злится. Но если очень добрый человек просто положит руку ей на макушку и скажет, что не надо переживать, это может довести ее до слез...

Больше я вам ничего не расскажу. Слишком стыдно. Но эффект был именно такой, на какой я рассчитывала. Она сидела, глядя на свои красивые руки. И прошептала: "Ты ведьма. Ты умеешь колдовать".

Мы чудесно провели неделю. Ездили все вместе к индейцам на танцы, взбирались в горы к археологическому заповеднику Банделиэр и в селение племени Акома. Сидели в пещере, где жили сандийцы[1]. Нежились в горячих источниках в окрестностях Таоса, побывали в церкви Санто-Ниньо. И даже на два вечера наняли няню, чтобы мы с Мелиной могли сходить в клуб. Концерты были что надо. Я чудесно провела время на этой неделе, сказала я. Она улыбнулась. Я всегда чудесно провожу время, сказала она, и в этом не было никакого жеманства.

Когда они уехали, в доме стало тихо-тихо. Я, как обычно, проснулась, когда вернулся Дэвид. Кажется, мне хотелось повиниться перед ним насчет чтения по ладоням, но, к счастью, я так и не собралась. Когда мы в темноте лежали на кровати, он сказал мне:

— Это была она.

— Кто — она?

— Мелина. Та самая женщина на траве.

## *Прибежали тигры...*

ПОЕЗД сбросил скорость на подъезде к Эль-Пасо. Я не стала будить маленького Бена, а просто подхватила его на руки и вышла в тамбур, чтобы выглянуть наружу. И вдохнуть запах — запах пустыни. Запах селитры и шалфея, серы от сталелитейного завода, дровяного отопления в хибарках мексиканцев у Рио-Гранде. Святая Земля. Ко-

1. В 30—50 гг. XX в. некоторые ученые считали, что в пещере в горах Сандиа 10—12 тысяч лет тому назад жили древние люди — сандийцы.

гда я впервые здесь оказалась, когда на время войны меня отправили сюда к деду и Мейми, я впервые услышала об Иисусе и Марии, о Библии и грехах, и в моей голове Иерусалим смешался с пустынями и зубчатыми горами Эль-Пасо. Камыш у реки и огромные распятия на каждом шагу. Смоквы и гранаты. Женщины с грудными детьми, закутанные в черные шали, и изможденные нищие мужчины с глазами мучеников, глазами Спасителя. А звезды по ночам были такие большие и яркие, как в песне про Техас, и так настойчиво сверкали, что, ясное дело, волхвам ничего не оставалось, кроме как пойти за одной из них, и она указала им дорогу.

Мой дядя Тайлер затеял собрать у себя на Рождество всю семью. Надеялся, в частности, что я помирюсь со своими родителями. А я ждала этой встречи с ужасом... Отец и мать взъелись на меня за то, что Джо, мой муж, меня бросил. Когда в семнадцать лет я вышла замуж, их чуть кондрашка не хватил, а уж развод окончательно вывел из себя. Но мне не терпелось повидаться с кузиной Беллой Линн и дядей Джоном, который должен был приехать из Лос-Анджелеса.

Да вот же она, вот она — Белла Линн! На парковке у депо. В "кадиллаке", кабриолете цвета морской волны. Она привстает на сиденье и машет мне, на ней замшевый ковбойский костюм, обшитый бахромой. Пожалуй, в Западном Техасе не было женщины красивее, чем Белла Линн, она выиграла, наверно, миллион конкурсов красоты. Волосы длинные, белокурые, почти белые, глаза — карие с желтизной. И улыбка... нет, главное — ее смех, негромкий, низкий, переливчатый, он заражал тебя радостью, и намекал, что в каждой радости есть примесь печали, и подсмеивался над этой печалью.

Белла Линн пошвыряла наши чемоданы и складную кроватку Бена на заднее сиденье. Мы, Мойниханы, поголовно уродились сильными: по крайней мере, физически. Белла снова и снова бросалась целовать и обнимать нас обоих. Мы сели в машину и отправились в ресторан "А и Р"[1] на другой конец города. День был холодный, но воздух — сухой и чистый, Белла Линн опустила крышу, а печку включила на полную мощность; за рулем она болтала без умолку, причем руль крутила одной рукой, а другой махала чуть ли не каждому встречному.

— Первым делом должна тебя предупредить: на рождественское веселье не очень-то рассчитывай. Еще хорошо — слава Богу и всем силам небесным! — что приедет дядя Джон, послезав-

1. Американская сеть ресторанов быстрого питания.

тра, к сочельнику. Мэри — я хочу сказать, твоя мама, — и моя мама сразу же нажрались и поцапались. Моя залезла на крышу гаража и отказывается слезать. Твоя порезала себе вены.

— О Господи.

— Ну, вообще-то она их чуть-чуть, несильно. Написала предсмертную записку: ты, мол, всю жизнь ломаешь ей жизнь. Подписалась "Кровавая Мэри"! Сейчас она в психиатрии больницы Святого Иосифа, положили на семьдесят два часа, понаблюдают и отпустят. Хорошо еще, что твой отец не приедет: разозлился из-за твоего... на "р" начинается, на "д" кончается. Моя чокнутая бабушка уже здесь. Празднички с приветом! И орава мерзких родичей из Лаббока и Свитуотера. Папа поселил их всех в мотеле, а они с утра заваливаются к нам, целый день едят и смотрят телик. Они все заново родились во Христе и думают, что мы с тобой — неисправимые блудницы. Да, Рекс Кипп тоже здесь! Они с папой целыми днями закупают подарки и прочие разности для бедных, а вообще сидят безвылазно в папиной мастерской. Вот так-то, теперь ты понимаешь, как я рада тебя видеть...

Мы подъехали к окошечку, заказали, как всегда, бургеры "Папа", картошку фри и солодовые коктейли. Я сказала, что поделюсь своей порцией с Беном. Ему тогда было всего десять месяцев. Но Белла заказала ему бургер и банановый сплит[1]. У нас в семье никто денег не считает. Ну, точнее, мой отец очень даже считает. Он из Новой Англии, бережливый, дисциплинированный. А я уродилась в Мойниханов.

В зал ресторана мы не пошли — расположились прямо в машине на парковке. Ознакомив меня с обстановкой в семейном кругу, Белла Линн принялась рассказывать про Клетиса, своего мужа, с которым она прожила всего пару месяцев. Ее родители бесились из-за ее замужества не меньше, чем мои — из-за моего. Клетис работал в разных местах: то строителем, то наездником на родео, то бурильщиком. Когда Белла рассказывала мне, что стряслось, по ее прекрасным щекам текли слезы:

— Лу, мы были счастливы, как голубки. Клянусь, никто никогда не любил так нежно и сладко, как мы. Слушай, а почему говорят: "счастливые, как голубки", шут их возьми? У нас был маленький хорошенький автоприцеп в долине за южной окраиной, у реки. Наш крохотный синий рай. И я прибиралась, я сама посуду мыла! И еду готовила: ананасовый торт-перевер-

1. Десертное блюдо американской кухни: банан с мороженым, шоколадным соусом, орехами и взбитыми сливками.

тыш, макароны и все, что хочешь, и он мной гордился, а я — им. И тут пришла первая беда: папа простил мне брак с Клетисом и купил нам дом. На Рим-роуд, ну знаешь, особнячок такой, вход с колоннами, но нам не нужен был этот подарок, и папа с Клетисом жутко поругались. Я пыталась втолковать папе, что ни к чему нам его дурацкий особняк, что с Клетисом я была бы рада жить хоть в кузове грузовика. А еще мне приходилось каждый раз по новой внушать это Клетису, потому что, хоть я и отказалась переезжать, он начал дуться. А потом однажды я зашла в "Популар"[1] и купила кой-чего из одежды, полотенца — так, по мелочи, — и записала на мой старый счет, который у меня всю жизнь. А Клетис взбеленился, сказал, что за два часа я истратила больше, чем он заработал за полгода. Тогда я просто вынесла все на улицу, облила керосином и подожгла, и мы поцеловались и помирились. Ой, Лу, котик мой, как же я его люблю: все сердце изболелось! А потом я, дурья моя башка, выкинула еще одну глупость, даже сама не пойму, как меня угораздило. К нам заглянула моя мама. Наверно, я просто чувствовала себя замужней дамой, понимаешь, да? Взрослой тетей. Я сварила кофе, положила на тарелочку печенье "Орео", поставила на стол. И начала — язык у меня без костей — болтать про с... про кекс на букву "с". Наверно, думала, что теперь-то я большая девочка, могу с ней разговаривать про это самое. Господи ты Боже мой, но вообще-то я еще не все знала, вот и спросила у нее: а можно залететь, если, когда Клетис кончает, я глотаю? Она выскочила из трейлера, как ошпаренная, и побежала домой к папе. Ой, что началось — ад кромешный! В тот же вечер папа с Рексом приехали и разделали Клетиса под орех. Сдали его в больницу со сломанной ключицей и двумя сломанными ребрами. И все твердили: да он извращенец, надо его посадить за содомию, а брак признать недействительным. Нет, ты себе представляешь: брать в рот у своего законного венчанного мужа — идти против закона? В общем, я отказалась возвращаться домой к папе, так и сидела у кровати Клетиса, пока не смогла привезти его к нам домой. И жили мы хорошо, снова были счастливы, как те голубки, вот только Клетис стал много пить, потому что пока не мог работать. И вот на прошлой неделе смотрю я в окно и вижу, что перед нашей дверью стоит новенький "кадиллак", а в нем сидит здоровенный плюшевый Санта, а вокруг вьются атласные ленточки. Я засмеялась, понимаешь, смешная ведь

1. Местный универмаг. Сеть универмагов "Популар" в Эль-Пасо существовала с 1902-го по 1997 г.

картина, а Клетис: “Радуешься, значит? А я никогда не смогу тебя обрадовать так, как твой дорогой папочка”. И ушел. Я думала, он в запой ушел, погуляет и вернется. Ох, Лу. Не вернется он. Он меня бросил! Устроился на буровую платформу в Луизиане. Даже не позвонил. Мне его мать сказала, хабалка, когда приходила за его одеждой и седлом.



Крошка Бен умял весь бургер и почти весь банановый сплит. И его вырвало: он испачкал себя с головы до ног, а заодно и куртку Беллы Линн. Куртку она швырнула на заднее сиденье, намочила салфетки и вытерла Бена, а я достала из чемодана чистую одежду и подгузник. Надо признать, Бен даже не хныкал. Слушал во все уши рок-н-ролл и кантри, просто влюбился в голос Беллы Линн и ее волосы — глаз с нее не сводил.

Я позавидовала Белле и Клетису: какая любовь! На Джо я раньше смотрела с обожанием, но всегда его побаивалась, старалась угодить. Наверно, я даже не особенно ему нравилась. И теперь мне было тяжело не потому, будто я тосковала по Джо, а потому, что все в моей жизни пошло наперекосяк и, кажется, виновата в этом я одна.

Я рассказала Белле свою недлинную грустную историю. Джо — великий скульптор. Ему дали стипендию Гуггенхайма, у него появились спонсор, вилла и литейная мастерская в Италии, и он уехал. “Искусство — его жизнь”. (Эту фразу я упорно твердила всем и каждому, с надрывом.) Нет, никаких алиментов. Я даже его адреса не знаю.

Мы с Беллой Линн долго обнимались и плакали, а потом она вздохнула:

— Что ж, по крайней мере, у тебя есть от него ребенок.

— Два ребенка.

— Ка-ак?

— Я беременна, скоро четыре месяца. Именно это доконало Джо: что у меня будет второй ребенок.

— Балда, тебя — вот кого! — это совсем доконает. Что теперь будешь делать, а? Предки твои тебе не помогут, даже пальцем не пошевелят. Когда твоя мама услышит эту новость, она опять с собой покончит, вот и все.

— Что делать, я не знаю. Есть еще одна дурацкая проблема... Мне очень хотелось сюда приехать, но в нотариальной конторе меня не отпускали даже на сочельник. И я просто уволилась и приехала. Теперь придется с пузом искать новое место.

— Лу, ты должна сделать аборт. И точка. Другого выхода нет.

— Но где же я его сделаю? И вообще... в одиночку с двумя детьми будет не труднее, чем с одним.

— Не легче, чем с одним! И вообще... ты какую-то ерунду несешь! Почему Бен такой славный? Потому что, пока был грудной, был при тебе. Теперь он подрос, его можно кому-нибудь поручить, пока ты на работе, хотя, конечно, очень жалко оставлять на чужих. Но новорожденного кроху ведь не оставишь.

— Что ж, такие обстоятельства...

— Ты заговорила, как твой отец. Обстоятельства вот какие: тебе девятнадцать лет, ты красивая девушка. Должна найти себе хорошего, сильного, порядочного мужика, который готов полюбить Бена как родного. Но найти мужика, который согласится растить двоих... ой, это будет совсем непросто. Разве что подвернется святоша какой-нибудь, который рвется всех спасать, и ты за него выйдешь из благодарности, а потом почувствуешь себя виноватой, и его возненавидишь, и втюришься в какого-нибудь саксофониста — перекати-поле.... Ой, Лу, это будет трагедия, просто трагедия. Давай пошевелим мозгами. Дело нешуточное. Лу, ты теперь просто слушайся меня, дай я все улажу. Я же всегда тебе хорошие советы давала, правда?

Ну, вообще-то не самые хорошие, но у меня в голове был такой сумбур, что я ничего Белле не ответила. Только пожалела, что проболталась. Я ведь ехала в Эль-Пасо без какой-то особой цели: хотелось повидаться с родней, развеяться, позабыть про все беды... А бед только прибавилось: мать опять накладывает на себя руки, папа вообще не приедет.

— Жди тут, и никуда! Закажи нам кофе, а я кое-кому позвоню.

Она пошла к телефонной будке. По дороге улыбалась и махала рукой тем, кто окликал ее из других машин на парковке драйв-ина. По большей части это были мужчины. В будке она оставалась долго, два раза возвращалась к машине: один раз — чтобы попросить у меня шерстяную кофту и взять еще кофе, второй — за мелочью. Бен сам себя развлекал — крутил ручки на радиоприемнике, включал и выключал дворники. Официант подогрел мне бутылочку с молоком; Бен выпил молоко и прикорнул у меня на коленях.

Вернулась Белла. Подняла крышу машины, ослепительно улыбнулась мне, нажала на газ. Мы помчались по Меса-стрит в сторону Плазы. “Южнее границы, по дороге на Мехико...”[1], — запела Белла.

1. Известная ковбойская баллада, впервые прозвучавшая в вестерне “По дороге на Мехико” (США, 1941).

— Все путем, Лу. Все обговорено. Я сама через это прошла. Жуть, но опасности никакой, и у них там чистенько. Сегодня в четыре тебя примут, а завтра в десять утра выпишут. Дадут с собой антибиотики и обезболивающие, но боль не так чтобы сильная, наподобие месячных. Я позвонила домой и сказала, что мы прошвырнемся по магазинам в Хуаресе, переночуем в отеле "Камино-Реаль". Мы с Беном действительно там переночуем, познакомимся поближе, а ты сможешь к нам приехать, как только все закончится.

— Подожди минутку, Белла, про это я даже не думала.

— Знаю-знаю. Потому за тебя думаю я.

— А если что-то пойдет не так?

— Доставим тебя к американскому врачу. В Техасе врачи могут спасти жизнь и вообще. Им не разрешается только делать аборты.

— А если я умру? Кто позаботится о Бене?

— Кто-кто — я, конечно! И я буду хорошей матерью, черт подери!

Тут я невольно рассмеялась. А ведь она дело говорит. Если честно, у меня словно камень с души свалился. Беспокоиться за одного только Бена, а не за нового малыша. Боже, какое облегчение. Белла права. Аборт — лучший выход. Я зажмурилась, откинулась на спинку кожаного сиденья.

— Но у меня нет денег! Сколько это стоит?

— Пятьсот. Наличными. И такая сумма случайно есть — вот она, в моем маленьком потном кулачке. Денег у меня — куры не клюют. Каждый раз, когда я подхожу к маме или папе — а мне иногда просто хочется, чтобы меня кто-нибудь обнял, или хочется рассказать, как я тоскую по Клетису, или спросить: "А может, мне пойти на курсы секретарш?" — они суют мне деньги: иди купи себе что-нибудь красивое.

— Я знаю, — сказала я. Я знала, как это бывает. Или как бывало, пока родители не выгнали меня из дому. — Раньше мне представлялось: если большой злой тигр откусит мне руку, а я побегу к маме, она просто залепит культю деньгами. Или иронизировать начнет: "Что это — хлопаем одной ладонью?"[1]

Вот и мост, вот и запахло Мексикой. Дымом, чили и пивом. Гвоздиками, свечками и керосином. Апельсинами, "Деликадос"[2] и мочой. Я опустила стекло, высунула голову: до че-

1. Отсылка к известному дзен-буддистскому коану "Хлопок одной ладони". Коан — притча, вопрос, диалог, обычно не имеющие логической подоплеки, доступные скорее интуитивному пониманию.
2. Популярная в Мексике марка сигарет.

го же здорово вернуться домой. Церковные колокола, звуки ранчерас[1], бибопа[2], мамбо. Из сувенирных лавок — рождественские гимны. Кашель выхлопных труб, рев клаксонов, пьяные американские солдаты с базы "Форт Блисс". Матери семейств из Эль-Пасо, нагруженные кувшинами с ромом и пиньятами[3], скупают всякую всячину. Новые торговые центры, шикарный новый отель, где один милейший юноша отогнал машину в гараж, второй взял мои чемоданы, а третий подхватил Бена на руки, не разбудив. Обстановка в номере изысканная: красивые коврики и пледы, добротный поддельный антиквариат и яркие народные поделки. Окна с опущенными жалюзи выходили на внутренний двор с пышным садом и с фонтаном, облицованным керамической плиткой, вдали виднелся бассейн, над которым клубился пар. Белла раздала всем чаевые и начала звонить по телефону. Заказала большой кофейник с кофе, ром, кока-колу, булочки, фрукты. У меня с собой было детское питание, каша и много чистых бутылочек для Бена, я умоляла Беллу не кормить его конфетами и мороженым.

— А фланом[4]? — спросила она. Я кивнула. "Флан", — сказала она в телефонную трубку. Потом Белла позвонила в магазин отеля, заказала купальник восьмого размера, восковые мелки, все игрушки, какие есть, и модные журналы. — Может, вообще тут останемся на все праздники! А Рождество с семьей — ну его в топку, а?!

* * *

Мы гуляли в саду отеля, держа Бена за руки с двух сторон. Я чувствовала себя такой счастливой и безмятежной, что, когда Белла́ Линн сказала: "Ну, голубка, тебе пора", опешила: успела про все позабыть.

Она выдала мне пятьсот долларов. Велела вернуться в отель на такси и вызвать ее — она спустится и заплатит: "Тебе нельзя иметь при себе документы и лишние деньги. Но назови мое имя и дай вот этот телефон — это можно".

Она усадила меня в такси, заплатила вперед и сказала таксисту адрес; они с Беном помахали мне на прощанье.

1. Жанр традиционной мексиканской музыки.
2. Стиль американского джаза, развивался в первой половине 40-х гг. XX в.
3. Емкость (например, в виде сказочного персонажа), наполненная сладостями. На празднике подвешивается к потолку и устраивается игра: нужно с завязанными глазами бить по пиньяте и разломать ее, чтобы сладости просыпались на пол.
4. Десерт из взбитых яиц, молока и сахара.

Такси отвезло меня к ресторану “Нуэва Поблана”, на парковку. Там, у служебного входа, я должна была ждать двух мужчин в черном и в темных очках.

Через две-три минуты, не больше, они приблизились ко мне сзади. Быстро, бесшумно подъехал потрепанный седан. Один мужчина распахнул дверцу, сделал приглашающий жест, второй торопливо обогнул машину и сел с другой стороны. Шофер, молоденький парнишка, огляделся по сторонам, кивнул, нажал на газ. Сзади окна были задернуты шторками, а сиденье — такое низкое, что я не видела ничего снаружи; мне показалось, что вначале мы ездили кругами, а потом немножко прокатились по автостраде и опять стали нарезать круги, пока не притормозили. Скрип тяжелых деревянных ворот. Мы проехали еще несколько ярдов, остановились. За нами захлопнулись ворота.

Пока старуха в черном вела меня к двери, я огляделась по сторонам. Во взгляде старой женщины не было презрения, но она даже не поздоровалась со мной, не сказала ни слова, и это обожгло меня, точно брань, потому что разительно отличалось от обычной сердечности и обходительности мексиканцев.

Здание из желтого кирпича — наверно, бывшая фабрика. Весь двор забетонирован, но все равно тут поют канарейки в клетках, зеленеют в горшках портулак и мирабилис. Из закоулков слышатся звуки болеро, смех, звон тарелок. Варится курица, пахнет луком, чесноком и “мексиканским чаем”[1].

Женщина за письменным столом деловито кивнула; когда я села, она пожала мне руку, но не представилась. Сказала: “Ваше имя и пятьсот долларов. Пожалуйста. Имя и телефон персоны, которой звонить в экстренных случаях”. Больше она ни о чем не попросила. Никаких бумаг я не подписывала. Английским она владела плохо, но я не стала переходить на испанский — ни с ней, ни вообще с кем-то из этих: не хотелось фамильярничать.

— Врач приходит в пять часов. Делает вам осмотр, вставляет катетер в утеро[2]. Ночью будет вызывать схватки, но снотворное, вам не будет нехорошо. После ужина — не есть, не пить. Самопроизвольный аборт обычно рано утром. В шесть часов вас несут в операционную, вас засыпляют, делают дилатацию и кюретаж[3]. Просыпаетесь в палате. Мы вам даем ампициллин

1. Обиходное название растения “марь амброзиевидная”, которое используется в мексиканской кулинарии.
2. Матка (*исп.*).
3. Дилатация и кюретаж — один из хирургических методов проведения аборта.

от инфекции, кодеин от боли. В десять машина везет вас в Хуарес, или в аэропорт Эль-Пасо, или до автобуса.

Старуха проводила меня до койки в затемненной палате, где было еще шесть мест. Растопырила пальцы, показывая: "пять часов", махнула рукой в сторону койки, а потом — в сторону коридора: там, напротив палаты, была комната отдыха.

Было так тихо, что я изумилась, увидев в комнате отдыха десятка два женщин. Все американки. Три молоденькие, совсем девчонки, с матерями. Другие словно бы подчеркивали свое одиночество: сидели, уткнувшись в журналы или просто так. Четырем женщинам было далеко за сорок, а то и за пятьдесят; прозевали беременность во время менопаузы, предположила я и угадала. Остальные были молодые, на вид от семнадцати до двадцати трех. На всех лицах читались одни и те же чувства: страх, смущение, но в основном — жгучий стыд. Так стыдятся какого-то ужасного проступка. Бесчестья. И ни одна, казалось, не сострадала остальным, хотя сочувствие могло бы здесь всех нас объединить; мое появление прошло почти незамеченным. Беременная мексиканка возила по полу грязной мокрой тряпкой, разглядывая нас с нескрываемым любопытством и презрением. Во мне вспыхнула необъяснимая злость. Что ты говоришь своему духовнику, сука? У тебя семеро детей и нет мужа... и, чтобы не умереть с голоду, ты вынуждена работать в этом гнезде порока? Боже мой, а ведь, наверно, так и есть. Меня захлестнула усталость и безмерная печаль: грустно было думать об этой мексиканке, вообще о всех нас в этой комнате.

Тут каждая — одна-одинешенька. А девочки, наверно, в наибольшей степени: их было три, и две обливались слезами, но матери, казалось, отмежевывались от них, упершись взглядом в стену, замкнувшись в коконе собственного позора и гнева. Одинокие... У меня навернулись слезы, потому что Джо ушел от меня, а матери тоже нет со мной рядом. И никогда не будет.

Я не хочу делать аборт. Нет никакой необходимости. Я воображала судьбы остальных женщин, собравшихся в этой комнате, и мне представлялись сплошные ужасы: тяжелые переживания, безвыходные ситуации. Изнасилования, инцесты — вот это действительно серьезно. А я смогу позаботиться о своем ребенке. Мы — семья. Я, Бен и маленький. Настоящая семья. Может быть, это сумасбродное решение? Но, по крайней мере, мое собственное. Белла Линн вечно мной командует.

Я вышла в коридор. Хотела позвонить Белле Линн, уехать. Ан нет — куда ни толкнись, заперто, только на кухню можно войти, но кухарки меня прогнали.

Где-то хлопнула дверь. Доктор приехал. Сразу ясно, что это врач, хотя внешность у него — как у аргентинской кинозвезды или певца из ночных клубов Лас-Вегаса. Старуха помогла ему снять пальто из верблюжьей шерсти, размотать шарф. Дорогой шелковый костюм, часы "Ролекс". Высокомерие и властность — вот что изобличало в нем врача. Брюнет с влажным чувственным взглядом, ступает тихо, как вор.

Врач взял меня за руку:

— Дорогая, вернитесь к другим девочкам, пора вас осмотреть.

— Я передумала. Я хочу вернуться в город.

— Идите в свою палату, золотце. Некоторые меняют решение дюжину раз за час. Поговорим попозже... Ну, идите. Ándale![1]

Я отыскала свою койку. На всех других койках, на краешке, сидели женщины. В том числе две девочки, которых я уже видела. Старуха велела нам раздеться, надеть больничные халаты. Самая молоденькая вся дрожала, от страха была на грани истерики. Врач начал осмотр с нее и, надо признать, проявлял терпение, старался ее успокоить, но она начала бить его по рукам, а свою мать пнула. Он сделал девочке укол, укрыл ее одеялом.

— Зайду еще. Не волнуйтесь, — сказал он ее матери.

Другой девочке тоже дали успокоительное перед тем, как врач приступил к беглому осмотру. Спросил скороговоркой, чем ей довелось болеть, послушал фонендоскопом сердце, измерил температуру и давление. Мочу и кровь на анализы у нас не брали. После торопливого гинекологического осмотра очередной пациентки врач кивал, и старуха начинала заталкивать той в матку катетер — трубку десять футов длиной, мало-помалу, словно фаршируя индейку. Перчаток старуха не надевала, а, обработав одну женщину, сразу переходила к следующей. Некоторые вопили: боль, должно быть, была адская.

— Это причинит некоторый дискомфорт, — сказал доктор нам всем. — А также вызовет схватки и безвредное, естественное отторжение плода.

И занялся немолодой женщиной, моей соседкой по койке. Спросил, когда у нее в последний раз была менструация. Она ответила, что не знает — давно уже не было. Ее он осматривал долго. Наконец сказал:

1. Здесь: живее, пошевеливайтесь (*исп.*).

— Мне очень жаль. Вы на шестом месяце. Я не могу рисковать.

Ей он тоже дал успокоительное. Она уставилась в потолок, в глазах — отчаяние. О Господи. Господи ты Боже мой.

— О, кого я вижу! Наша маленькая беглянка, — он сунул термометр мне в рот, надел на руку манжету тонометра, на другую руку надавил, прижимая к койке. Потом отпустил, чтобы послушать сердце, а я тут же вытащила термометр изо рта:

— Я хочу уйти отсюда. Я передумала.

Он пропустил это мимо ушей — а может, уши были просто заткнуты фонендоскопом. Нахально улыбаясь, обхватил пальцами и приподнял одну из моих грудей, начал выслушивать легкие. Я возмущенно отшатнулась. Он сказал старухе по-испански: “Надо же, шлюшка, притворяется, будто ее за сиськи никто не трогал”. И тогда я заговорила по-испански. “Это тебе, мудак и сволочь, их трогать не положено”, — вот как можно примерно перевести мои слова.

Он захохотал:

— Как нехорошо с вашей стороны: я тут мучаюсь со своим убогим английским, а вы не предупредили.

Потом он извинился и стал рассуждать о том, что после пятнадцати-двадцати процедур на дню превращаешься в озлобленного циника. Трагично, но, что поделаешь, люди его профессии нужны человечеству. И так далее. Когда он договорил, я уже и к нему прониклась жалостью и, Господи прости, засмотрелась в бездну его огромных карих глаз, а он поглаживал мне руку.

Я вернулась к делу:

— Послушайте, доктор, я от этой процедуры отказываюсь. Хочу немедленно уехать.

— Вы в курсе, что деньги, которые вы заплатили, вам не вернут?

— Неважно. Все равно не желаю.

— Muy bien[1]. Боюсь, вам все равно придется остаться здесь на ночь. Город далеко, наши водители до утра не вернутся. Я дам вам успокоительное, и вы заснете. Завтра утром, не позже десяти, уедете. Но вы уверены, m’ija[2], что хотите поступить именно так? Это последний шанс.

1. Очень хорошо (*исп.*).
2. Дочь (*исп.*). Здесь — просто ласковое обращение (необязательно к родственникам).

Я кивнула. Он держал меня за руку. Я почувствовала, что мне до смерти хочется рыдать в чьих-нибудь объятиях. Ох, на что мы только не готовы ради капельки сочувствия.

— Вы можете оказать мне огромную услугу, — сказал он. — Вон у той малышки в углу тяжелая психическая травма. Ее мать не в себе, от нее помощи не жди. Подозреваю, что в деле замешан отец — или это еще какая-то кошмарная ситуация. Ей обязательно нужно прервать беременность. Поможете мне с ней поработать? Успокоите ее немножко сегодня вечером?

Я подошла вместе с ним к девочке, представилась. Он попросил меня разъяснить ей, чть он будет делать, каких ощущений ждать, растолковать, что процедура легкая и безопасная, что все будет хорошо. Сейчас он выслушает ваше сердце и ваши легкие... А теперь доктор должен пощупать вас там, внутри... (Он сказал, что это не больно. Я ей сказала, что будет больно.) Ему придется это сделать: надо же удостовериться, что никаких проблем не будет.

Она продолжала сопротивляться. "A fuerzas!" — сказал он. Насильно. Мы со старухой держали ее вдвоем. А потом, пока старуха засовывала в худенькое тело трубку, фут за футом, мы с врачом удерживали девочку и разговаривали с ней, пытались успокоить. Когда все закончилось, я ее обняла, а она вцепилась в меня, всхлипывая. Ее мать с каменным лицом все это время сидела на стуле в изножье кровати.

— У нее шок? — спросила я врача.

— Нет. Вдребезги пьяна. — И тут же, словно подгадав момент, она повалилась на пол; мы ее подняли, взгромоздили на соседнюю койку.

После этого врач и старуха ушли. Их ждали еще две палаты, битком набитые пациентками. Вошли две молоденьких индианки с подносами — принесли ужин.

— Хотите, я поужинаю тут вместе с вами? — спросила я девочку. Она кивнула. Ее звали Салли, она была из Миссури. Больше она ничего мне не рассказала, но ела жадно. Она никогда еще не пробовала тортильи, жалела, что нет обыкновенного хлеба. А это что за штука? Авокадо. Это вкусно. Положи немного авокадо на тортилью вместе с мясом. Вот так, и сверни в рулет.

— Ваша мама... Она как, придет в норму? — спросила я.

— Утром ее будет тошнить, — Салли приподняла матрас. Под ним лежала бутылка — полпинты "Джим Бима". — Если меня здесь не будет, а вы будете, дайте ей глотнуть, чтобы не поплохело.

— Договорились. Моя мать тоже пьет, — сказала я.

Индианки унесли подносы, пришла старуха, раздала нам всем здоровенные таблетки секонала. Самым молоденьким

сделали уколы. Подойдя к матери Салли, старуха замешкалась, а потом вколола барбитурат и ей, хотя она спала.

Я легла на койку. Простыни были шершавые и приятно пахли солнцем, на котором сушились, а от грубого мексиканского одеяла несло овчиной. Вспомнилось, как мы проводили лето в Накодочесе[1].

Доктор со мной даже не попрощался. Может быть, Джо вернется. Нет, это у меня завихрения. Может, все-таки надо было сделать аборт? Разве я способна вырастить ребенка? Одного — и то нет, а двоих — тем более. Боже правый, что же мне де... И тут я заснула.

Откуда-то доносились истошные рыдания. В палате свет не горел, но в тусклом свете, который просачивался из коридора, я разглядела, что койка Салли пуста. Я выбежала в коридор. Дверь сортира поддалась не сразу. Изнутри к двери привалилась Салли: без сознания, мертвенно-бледная. Повсюду кровь. Салли, обмотанная бессчетными кольцами трубок, истекала кровью. На Лаокоона — вот на кого она была похожа, на Лаокоона и берсерков сразу. Трубка, облепленная какой-то кровавой кашей, изгибалась и закручивалась, ползала вокруг Салли, точно живая. Пульс прощупывался, но мне не удавалось привести Салли в чувство.

Я побежала по коридору, колотя в двери, пока не разбудила старуху, которая спала, не сняв своей белой униформы. Старуха сунула ноги в туфли, ринулась к сортиру. Взглянула одним глазом — и бегом в кабинет, к телефону. Я ждала в коридоре, прислушивалась. Она пинком захлопнула дверь.

Я вернулась к Салли, отмыла ей лицо и руки.

— Доктор едет. Идите в свой комнат, — сказала старуха. За ней шли индианки. Схватили меня, уложили на мою койку; старуха сделала мне укол.

Я проснулась в палате, залитой солнечным светом. Вокруг — шесть пустых коек, аккуратно заправленных, прикрытых ярко-розовыми покрывалами. За окном поют канарейки и зяблики, шелестит на ветру пурпурная бугенвиллия, цепляясь ветками за раскрытые ставни. Моя одежда была сложена в изножье койки. Я взяла всё, пошла в сортир, уже отдраенный до блеска. Умылась, оделась, причесалась. Меня шатало: успокоительное еще действовало. Когда я вернулась в палату, других женщин начинали привозить на каталках и перекладывать на койки. Женщина, которой здесь отказались делать аборт, сидела на стуле, уставившись в окно. Вошли индианки

1. Город в Техасе.

с подносами: café con leche, pan dulce[1], дольки апельсина, куски арбуза. Некоторые женщины позавтракали, другие харкали в тазики или, пошатываясь, брели к сортиру. Все двигались, словно в замедленном кино.



— Buenos días[2], — вошел врач в длинном зеленом халате. Хирургическая маска сдвинута под подбородок, длинные черные волосы растрепаны. Улыбнулся мне.

— Надеюсь, вы хорошо спали, — сказал он. — Уедете на первой машине, через несколько минут.

— Где Салли? Где ее мать? — выговорила я, еле ворочая распухшим языком. Очень трудно было выжимать из себя слова.

— Салли потребовалось переливание крови.

— Она здесь? — На самом деле я хотела спросить: "Жива ли она?", но язык не поворачивался.

Он вцепился в мое запястье:

— У Салли все в полном порядке. Вы собрали вещи? Машина ждать не станет.

Меня и еще четырех женщин провели, поторапливая, по коридору во двор, усадили в машину. Автомобиль рванул с места, мы услышали, как закрылись за нами ворота. "Кому в аэропорт Эль-Пасо?" Все остальные ехали в аэропорт.

— Высадите меня в Хуаресе[3] перед мостом, — сказала я. Мы ехали-ехали-ехали. Ни одна из нас не проронила ни слова. Мне дико хотелось ляпнуть какую-нибудь глупость типа "Прекрасный день, правда?" Между прочим, день был действительно прекрасный: безоблачный, бодряще-холодный, небо — кричащего оттенка мексиканской лазури.

Но внутри машины сгустилось непроницаемое безмолвие, тяжелое, налитое стыдом и болью. Испарился только страх.

В центре Хуареса — все тот же гвалт, все те же запахи, памятные мне с детства. Мной овладело какое-то бесчувствие, хотелось только одного — бесцельно побродить по улицам, но я никуда не пошла, а стала ловить такси. Оказалось, до отеля всего несколько кварталов. С таксистом расплатился швейцар: Белла Линн заранее обо всем договорилась. Они в номере, сказал швейцар.

В номере был полный кавардак. Бен и Белла валялись на самой середине широкой кровати, хохотали, рвали журналы, подбрасывали страницы в воздух.

1. Кофе с молоком, сладкие булочки (*исп.*).
2. Доброе утро (*исп.*).
3. То есть с мексиканской стороны границы.

— Это его любимая игра. Кем он вырастет, а? Критиком?

Белла вскочила, обняла меня, заглянула в глаза.

— Силы небесные! Не сделала. Ах ты, дура! Дурында стоеросовая!

— Да, не сделала! — я прижала к себе Бена. Ох, как же я люблю его запах, его маленькое — кожа и косточки — тело. Бен оживленно лепетал. Сразу было видно: они здорово провели время.

— Да, я ничего не стала делать. Заплатить все равно пришлось, но деньги я тебе верну. Только не читай мне нотаций, ладно? Белла, там одна девушка, Салли...

Про Беллу Линн говорят, что она избалованная и капризная. Беззаботно порхает по жизни. Но так, как она все понимает, не поймет никто другой... Она догадалась сразу. Мне не потребовалось ничего больше говорить, хотя, конечно, потом я рассказала ей со всеми подробностями. А тогда я просто заплакала, и она тоже, и Бен.

Но мы, Мойниханы, немножко поплачем или поскрипим зубами от злости, а потом: “Ну ладно, жизнь продолжается”. Бен первый притомился хныкать, начал подскакивать на кровати.

— Послушай, Лу, ну разве ж я буду читать тебе нотации? По мне, что ты ни сделаешь, то и хорошо. Скажи только одно: чем сейчас займемся? Хочешь, закажем “Текила-санрайз”? Пообедаем? Прошвырнемся по магазинам? Я лично умираю с голоду.

— Я тоже. Пошли обедать. А еще я хочу что-нибудь купить твоей бабушке и Рексу Киппу.

— Ну что, Бен, все путем, а? Можешь сказать: магазин? Мы должны воспитывать ребенка на высоких ценностях. По магазинам!

Коридорный принес ее ковбойскую куртку с бахромой. Мы обе переоделись и накрасились, одели Бена. Я-то думала, у него диатез, а это его Белла исцеловала, измазала все лицо помадой.

Пообедали, не выходя из отеля, в красиво отделанном ресторане. Веселились без удержу. Молодые, красивые, свободные, вся жизнь впереди. Мы сплетничали, хохотали, старались вычислить биографию каждого из сидевших вокруг нас в ресторане.

— Ну ладно, надо все-таки ехать домой, к родне, — сказала я, наконец, за третьей чашкой кофе с ликером “Калуа”.

Мы купили подарки и плетеную корзинку, чтобы уместилось все, в том числе разбросанные по номеру игрушки. Когда вышли в коридор, Белла Линн вздохнула: “Как же уютно в отелях, мне всегда грустно съезжать...”

* * *

Мы поднялись на крыльцо в загородном доме дяди Тайлера. Услышали сквозь массивную дверь рождественские гимны в исполнении Роя Роджерса и Дейла Эванса. Изнутри к двери был приделан генератор мыльных пузырей, так что дядину исполинскую елку каждый, кто приходил, вначале видел сквозь радужную пелену.

— Силы небесные, как через автомойку проезжаешь! И погляди только, что стало с ковром! — Белла Линн выключила генератор, вырубила музыку.

Мы спустились по каменным ступеням в циклопическую гостиную. В камине пылали бревна — целые деревья. Родственники тети Малютки в полном составе развалились на кожаных диванах и креслах — смотрели по телевизору футбол. Бен так и присел от неожиданности: он никогда в жизни не видал телевизора. Милый мой карапуз, никогда из дома не выезжал, но ловит все на лету.

Белла Линн всех перезнакомила, но родичи по большей части только кивали, едва отрывая взгляд от тарелки или от экрана. Все они были разряжены в пух и прах, словно на похороны или на свадьбу, но все равно походили на издольщиков или на жертв торнадо.

Мы снова поднялись по ступеням.

— Не терпится посмотреть на них завтра на папиной вечеринке! — сказала Белла Линн. — Утром встретим дядю Джона, потом поедем вызволять твою маму. А потом нагрянет толпа гостей, двери нараспашку. В основном — завидные женихи, так что нам с тобой они не понравятся. Но и старых друзей будет масса, и все хотят повидать тебя с малышом.

— Исус, Спаситель мира! — старая миссис Видер, мать Малютки, подхватила Бена на руки, уронив свою трость, и заковыляла с ним по столовой. Бен засмеялся, подумав, что это игра такая: они вдвоем натыкались на комоды и буфеты с фарфоровой посудой, били стекла в дверцах. "Жизнь полна опасностей", — одно из любимых присловий моей мамы. Миссис Видер побрела с Беном в свою спальню, где стоял другой телевизор, настроенный на мыльные оперы, а на ее кровати валялось столько всякой ерунды, что Бен несколько месяцев не соскучился бы. Солонки в виде деревенских нужников из Тексарканы, вязаные футляры для туалетной бумаги в виде собачек, фетровые саше, браслеты, в которых не хватало половины камней. Все замурзанное, все сейчас будет упаковано для передаривания на Рождество. Миссис Видер и Бен вместе рухнули на кровать. Бен просидел там с ней несколько часов, пробуя на зуб фигурки Христа, светящиеся в темноте, пока

миссис Видер заворачивала в мятые обрывки бумаги и обвязывала спутанными ленточками подарки. И распевала: “Мой Господь меня не бросит! Так Писанье говорит!”

Столовая напоминала рекламу морских круизов: там именно такие шведские столы. Я уставилась на композицию из салатников и блюд с колбасами, с ребрышками-барбекю и заливным, с креветками, сырами, пирогами и печеньем, удивляясь: “Куда столько?”, и тут, прямо у меня на глазах, еда начала исчезать: родственники Малютки поодиночке проскальзывали в столовую, украдкой хватали что-нибудь и торопливо возвращались к футболу.

Эстер, в черной униформе горничной, хлопотала на кухне. Нагибалась над огромным тазом — месила тесто для тамалес[1]. В духовке выпекались слоеные рождественские пирожки. Белла Линн обняла Эстер так крепко, словно несколько месяцев не была дома.

— Он звонил?

— Конечно нет, голубка. Он больше никогда не позвонит, — и Эстер крепко прижала ее к себе, укачивая в объятиях. Она присматривала за Беллой Линн с младенчества. Но, в отличие от остальных домочадцев, не баловала ее. Раньше я думала, что у Эстер вредный характер. И вообще-то не ошибалась. Меня она встретила словами:

— Ну-ка поглядите! Еще одна — ветер в голове!

И тоже меня обняла. Эстер была миниатюрная, хрупкая, но коли уж обнимала, окутывала тебя со всех сторон.

— А где же твой бедненький сынишка? — Она сходила проведать Бена, вернулась и снова обняла меня. — Славный малыш, на нем Господня благодать. Благодаришь Бога, девочка моя?

Я кивнула, улыбнулась:

— Хочешь, мы тебе поможем с тамалес? Я только сбегаю поздороваться с Тайлером и Рексом. И с тетей Малюткой. Она... э-э... как?

— Она не спускается. У нее есть электрическое одеяло, радио и бутылка. Надолго там окопалась.

— Восславим Господа, — сказала Белла.

— Подите отнесите поесть этим седым мальчишкам в мастерскую. Рексу положите побольше креветок.

“Мастерская” Тайлера занимала целый дом — старый, глинобитный, где были устроены просторный кабинет, спальня

1. Блюдо мексиканской кухни: лепешка из кукурузной муки, обернутая кукурузными листьями, приготовленная на пару.

для гостей и гигантская “оружейная”, полная новых и старинных ружей. В кабинете — широченный камин, стены увешаны охотничьими трофеями, кафельный пол устлан медвежьими шкурами. В ванной лежал коврик из женских грудей — резиновых, всевозможных цветов и размеров. Тайлер получил его в подарок от Барри Голдуотера, который когда-то баллотировался в президенты.



Смеркалось, холодало, небо оставалось безоблачным. Я шла по дорожке вслед за Беллой Линн.

— Дешевки! Потаскушки!

Я так и обомлела. А Белла засмеялась:

— Да это моя мама на крыше, только-то.

Рекс и дядя Тайлер мне обрадовались. Сказали: когда Джо снова ступит на американскую землю, сообщи нам, мы ему руки-ноги поотрываем. Они пили бурбон и составляли списки. В кабинете громоздились штабеля пакетов с покупками. Каждый год Рекс и Тайлер развозили подарки по домам престарелых, детским больницам и сиротским приютам. Тысячи и тысячи долларов — вот сколько они тратили. Но не просто выписывали чеки. Главное удовольствие состояло в том, чтобы самим все выбрать, а потом повсюду развозить гостинцы и Санта-Клаусов.

В этом году у них появился новый план, потому что Рекс обзавелся самолетом модели “пайпер каб”. Сам на нем сюда прилетел, поставил на южном пастбище ранчо Тайлера. В сочельник они пролетят над трущобами Хуареса, будут сбрасывать на парашютах мешки с провизией и игрушками. А пока хохотали и обсуждали свою затею.

— Но, пап, — сказала Белла, — что делать с мамой? И с тетей Мэри? А как быть нам с Лу? Прибежали тигры, сделали ей ребенка, а у меня утащили мужа.

— Надеюсь, вы позаботились о сногсшибательных платьях для завтрашней вечеринки. Я нанял официантов, но Эстер все равно понадобится подмога. Рекс, как ты думаешь, сколько пряничных домиков надо взять для маленьких паралитиков?

## *Угол зрения*

ВООБРАЗИТЕ, что рассказ Чехова “Тоска” написан от первого лица. Старик рассказывает нам, что у него только что умер сын. Мы почувствуем себя неловко, заерзаем, даже заскучаем — совсем как седоки в рассказе. Но беспристрастный голос Чехова убеждает нас, что старик дос-

тоин уважения. Мы заражаемся авторским сочувствием к герою, мы потрясены если и не смертью его сына, то разговором старика с лошадью.

По-моему, штука в том, что все мы чувствуем себя на свете довольно неуверенно.

Сейчас объясню. Допустим, я просто дам высказаться женщине, про которую сейчас пишу...

“Я не замужем, мне далеко за пятьдесят. Работаю медсестрой в частной клинике. Домой возвращаюсь на автобусе. По субботам стираю, потом иду в ‘Лакиз’ за продуктами, покупаю воскресную ‘Кроникл’ — и снова к себе”.

Вы скажете: “Ох, избавьте нас от этого занудства”.

Но мой рассказ начинается так: “Каждую субботу, после прачечной самообслуживания, после супермаркета, она покупала воскресную ‘Кроникл’”. И только благодаря тому, что рассказ написан от первого лица, вы будете выслушивать пресные детали маниакально-неизменного распорядка этой женщины, Генриетты. Подумаете: “Ну, если автор находит в этой унылой тетке что-то, достойное литературы, чем черт не шутит... Почитаю еще немножко: посмотрю, что произойдет”.

Да ничего не произойдет. И вообще рассказ пока не готов. Но я надеюсь набросать легкими штрихами столь достоверный портрет этой женщины, что вы волей-неволей начнете ей сочувствовать.

Почти все писатели берут реквизит и декорации из собственной жизни. Например, моя Генриетта каждый вечер съедает свой скудный, жалкий ужин, подстелив под тарелку синюю пластиковую салфетку, орудуя красивыми увесистыми столовыми приборами — итальянскими, из нержавеющей стали. Деталь странная и, казалось бы, нелогичная, потому что эта женщина старается даже бумажные полотенца покупать со скидкой, зато возбуждает в читателе любопытство. По крайней мере, надеюсь, что возбуждает.

Пожалуй, в рассказе я не стану давать никаких объяснений. Я сама пользуюсь за столом такими изысканными приборами. В прошлом году заказала шесть штук по рождественскому каталогу MoMA[1]. Аж за сто долларов, но я сочла, что затраты себя оправдают. У меня шесть тарелок и шесть стульев. А вот возьму да приглашу гостей на обед, подумала я. Но оказалось, сто долларов — это за шесть предметов. Две вил-

1. Museum of Modern Art — Нью-Йоркский музей современного искусства.

ки, два ножа, две ложки. Комплект на одну персону. Я постеснялась возвращать покупку, подумала: ну ладно, может быть, через год закажу еще комплект.

Генриетта ест своими красивыми вилками-ложками и пьет из фужера минеральную воду “Калистога”. Перед ней — салат в деревянной миске и какой-нибудь разогретый полуфабрикат бренда “Тонкая талия” на мелкой тарелке. За ужином она читает раздел “По странам и континентам”, где все заметки написаны от первого лица и — полное ощущение! — одним и тем же человеком.

Скорей бы понедельник, думает Генриетта. Она влюблена в доктора Б., нефролога. Многие медсестры и секретарши влюблены в “своих” врачей. Синдром Деллы Стрит[1], так сказать.

Доктор Б. списан с нефролога, у которого я когда-то работала. Я-то определенно не была в него влюблена. Иногда говорила в шутку, что у нас высокие отношения, переходящие из любви в ненависть и обратно. Он возбуждал столь непреодолимую ненависть, что я невольно вспоминала, до чего порой доводит любовь.

Но Ширли, на чье место я пришла, все-таки была в него влюблена. Она показала мне все, что надарила ему на дни рождения. Горшок с плющом на медной подставке в виде велосипеда. Зеркало с нарисованным коала. Набор авторучек. Она сказала, что он был в восторге от всех ее подарков, кроме велосипедного сиденья из мохнатой овчины. Сиденье пришлось обменять на велосипедные перчатки.

В моем рассказе доктор Б. насмехается над Генриеттой из-за такого сиденья, язвит, глумится — что-что, а это он отлично умел. Собственно, это будет кульминация рассказа: до Генриетты дойдет, как он ее презирает, как жалко выглядит ее любовь.

Выйдя на работу, я в первый же день заказала одноразовые халаты. Ширли предпочитала хлопчатобумажные: “Голубые в клеточку — мальчикам, розовые с розочками — девочкам”. (Почти все наши пациенты были так дряхлы, что не могли шагу ступить без ходунков.) Каждую пятницу она затаскивала в автобус и везла домой баулы с грязным бельем, и не только сама все стирала, но еще и крахмалила, и гладила. На мою Генриетту я тоже взвалила эту обязанность: гладит она по воскресеньям, после уборки в квартире.

1. Делла Стрит — секретарша адвоката Перри Мейсона в цикле детективных романов Э. С. Гарднера.

Естественно, в рассказе я много пишу про привычки Генриетты. Привычки. Сами по себе — вроде и не такие уж страшные, но до чего же долговечные... Год за годом, каждую субботу.

Каждое воскресенье Генриетта читает развлекательное приложение к "Кроникл". Сначала — гороскоп: он всегда на 16-й странице — у газеты тоже свои привычки. Обычно звезды пророчат Генриетте что-нибудь пикантное: "Полнолуние, мои соблазнительные Скорпионы, и вы знаете, что это значит! Готовьтесь воспылать!".

По воскресеньям, после уборки и глажки, Генриетта готовит на ужин что-нибудь особенное. Корнуэльский цыпленок. Фарширован кулинарной смесью "Суперкулинар". Подается с клюквенным соусом. Горошек в белом соусе. На десерт — шоколадка "Твоя навеки".

Вымоет посуду — и смотрит "60 минут". Не потому, что ей так уж интересна передача. Нет, ей нравятся ведущие. Дайана Сойер — такая воспитанная, такая хорошенькая, а все мужчины солидные, надежные и душой болеют за страну. Генриетте нравится, когда они встревоженно качают головой или, если сюжет смешной, улыбаются и качают головой. А больше всего нравится циферблат крупным планом. Минутная стрелка и тик-так-тик-так — голос времени.

После этого Генриетта смотрит "Она написала убийство". Сериал ей не нравится, но в этот час все равно больше нечего смотреть.

Описание воскресенья дается мне с трудом. Как передать эту томительную опустошенность — ощущение от воскресных дней? Почты нет, далекие газонокосилки, безысходность.

И еще... как описать нетерпение Генриетты: скорей бы утро понедельника. "Тр-р-тр-р" — педали его велосипеда, и одно-единственное "щелк" — замок на двери кабинета: доктор запирается, чтобы переодеться в голубой рабочий костюм.

— Ну как, хорошо провели выходные? — спрашивает она. Он никогда не отвечает. Никогда не здоровается, никогда не прощается.

По вечерам она распахивает перед ним дверь, когда он выкатывает велосипед наружу.

— До свидания! Всех благ! — улыбается она.

— Каких еще благ? В вашем понимании или в моем? Ради бога, забудьте это выражение.

Но, как бы мерзко он себя ни вел, Генриетта верит, что между ними протянулась ниточка. У него косолапость, и он сильно хромает, а у нее сколиоз — искривление позвоночни-

ка. Строго говоря, она горбунья. Она стыдлива и робка, но понимает, откуда в нем эта ершистость. Однажды он ей сказал, что у нее есть оба качества, необходимые медсестре: “раболепие и глупость”.

После сериала Генриетта принимает ванну, балует себя бомбочками для ванны с ароматом разнотравья.

А потом, натирая руки и щеки лосьоном, смотрит новости. Ставит чайник. Ей нравится прогноз погоды. Маленькие солнышки над Небраской и Северной Дакотой. Тучи с дождем над Флоридой и Луизианой.

Она лежит в постели, прихлебывая травяной настой “Засоня”. Жалеет, что вышло из строя старое электрическое одеяло с переключателем “Нагрев слабый — умеренный — сильный”. Новое рекламировалось под слоганом “Ваше умное электроодеяло”. Оно знает, что сейчас не холодно, и отказывается нагреваться. Как же Генриетте хочется, чтобы оно нагрелось, хочется тепла. Одеяло само себя перемудрило! Она хохочет. В тесной комнате этот звук может вызвать оторопь.

Она выключает телевизор и допивает маленькими глотками настой, слыша, как автомобили заезжают на бензоколонку “Арко” напротив ее дома, а потом отъезжают. Иногда какой-нибудь, скрипя тормозами, останавливается у телефонной будки. Хлопок дверцы, и вскоре машина уносится прочь.

Слышно, как к телефонам опять кто-то подъезжает, медленно. Из машины гремит джаз. Генриетта выключает свет, приподнимает — самую чуточку — жалюзи над своей кроватью. Окно запотело. Из автомобильного радиоприемника звучит Лестер Янг. Мужчина в телефонной будке прижимает трубку подбородком. Утирает лоб носовым платком. Я, упершись локтями в холодный подоконник, наблюдаю. Слушаю сладкий саксофон: “Платье в горошек и лучик луны”[1]. На запотевшем стекле пишу одно-единственное слово. Какое? Свое имя? Имя мужчины? Генриетта? Люблю? Неважно — я все равно торопливо стираю это слово, пока никто не заметил.

## В*первые в нарколожке*

ОКТЯБРЬСКИЙ дождь не унимался уже четвертую неделю, когда Карлотта проснулась в наркологическом отделении больницы. Подумала: “Больница, что ли...” — и побрела, шатаясь, по коридору. В просторной ком-

1. “Polka Dots and Moonbeams” — песня Джимми Ван Хойзена на стихи Джонни Бёрка, один из самых популярных джазовых стандартов.

нате, которая была бы светлой, если бы не дождь, сидели двое мужчин. Безобразные, в черно-белых полотняных робах. Сплошь в синяках, обмотаны кровавыми бинтами. Должно быть, из тюрьмы сюда попали... но тут Карлотта заметила, что на ней тоже черно-белая полотняная роба, что у нее тоже кровоподтеки. Припомнила наручники, смирительную рубашку.

Скоро Хэллоуин. Женщина-волонтер из "Анонимных алкоголиков" взялась учить их, как делать тыквы. Ты надуваешь шарик, она его завязывает. Потом обклеиваешь весь шарик, не оставляя промежутков, бумажными полосками. На следующий вечер, когда твой шарик высохнет, красишь его в оранжевый цвет. Волонтер вырезает глаза, нос и рот. Выбирай сам, будет твоя тыква улыбаться или кривить губы. Ножницы тебе в руки не дают — не доверяют.

Они много смеялись, как дети, потому что шарики выскальзывают, а руки трясутся. Не так-то просто мастерить тыквы. Если бы им все-таки разрешили вырезать глаза, носы и рты, то выдали бы ножницы для дураков, затупленные. А если надо было что-то записать, им выдавали толстые карандаши, словно первоклассникам.

В нарколожке Карлотте было хорошо. Мужчины держались с неуклюжей галантностью. Она была тут единственной женщиной, и к тому же хорошенькая, "не похожа на алкашку". Ясный взгляд серых глаз, во рту смешинка. Накинув ярко-малиновый шарф, она совершенно преобразила свою черно-белую хламиду.

Мужчины в большинстве своем были бомжи, пьющие беспробудно. Их привозила полиция либо они приходили сами, когда кончалось пособие, когда оставались без пристанища. Выходить из запоя в окружной больнице — милое дело, сказали они ей. Если припадок, тебе дают валиум, торазин, дилантин. На ночь — здоровенные таблетки нембутала, полосатые, как осы. Но эта лафа скоро закончится — останутся только центры "соцадаптации алкоголиков", где вообще никаких колес. "Гады. Зачем тогда ложиться?" — вопрошал Пепе.

Еда вкусная, но холодная. Нужно самому взять с тележки свой поднос и донести до стола. Поначалу мало кто на это способен: в лучшем случае берешь, но роняешь. Некоторых так колотит, что их приходится кормить с ложечки, либо они просто нагибаются к миске и лакают по-кошачьи.

На четвертый день начинали давать антабус. Если в первые семьдесят два часа после приема антабуса выпьешь, почувствуешь себя хуже некуда. Корчи, боль в груди, шок, во многих случаях — смерть. Каждое утро в девять тридцать, пе-

ред сеансом групповой терапии, пациенты смотрели кино об антабусе. А после, сидя на террасе, мужчины прикидывали, когда снова смогут выпить. Вычисляли и записывали на салфетках толстыми карандашами. Одна только Карлотта говорила, что больше пить не будет.



— А что пьет ваша светлость? — спросил Вилли.

— "Джим Бим".

— "Джим Бим"? — и все мужчины засмеялись.

— Аб-балдеть... Нет, ты не алкашка. Мы, алкаши, пьем сладкое вино.

— О-о-о да, сладенькое — пальчики оближешь!

— Черт, что ты вообще тут делаешь, а?

— Ты хочешь сказать: что тут делает такая приличная девушка?..

И правда, что она тут делает? Этим вопросом она пока не задавалась.

— "Джим Бим". Не нужна тебе нарколожка...

— Еще как была нужна. Привезли ее совсем бешеную, дубасила того раскосого копа. Вонга. А потом у нее начался страшный колотун, минуты три билась, прям курица со свернутой шеей.

Карлотта не помнила ничего. Медсестра сказала ей, что она врезалась на машине в стену. Полицейские привезли ее сюда, а не в участок, когда выяснили, что она учительница, четверо детей, мужа нет. "Раньше не привлекалась", что бы это ни значило.

— А делирий у тебя бывает? — спросил Пепе.

— Да, — солгала она. О Боже, что я говорю?! Будто бы умоляю: "Ребята, примите меня в свой круг, не отвергайте", даже когда обращаюсь к грязным забулдыгам.

Что такое делирий, я не знаю. Врач тоже спросил, бывает ли у меня делирий. Я ответила: "Да", и врач это записал. Если делирий — это когда видишь вокруг всякие гадости, то, наверное, он у меня отродясь.

Налепляя бумагу на шары, все смеялись. Как Джо вытурили из "Адама и Евы", и он подумал, что найдет бар получше. Сел в такси, орет: "В 'Шалимар'!", но такси оказалось полицейским фургоном, и его привезли сюда. Какая разница между алкашом и гурманом? Гурман пьет за столом, а алкаш — за столбом. Мэк о достоинствах вина "Гром-птица"[1]: "Макаронники тупые, виноград давили, а носки снять позабыли".

1. Недорогое крепленое вино.

Вечером, после шаров-тыкв и последней таблетки валиума, приходили "анонимные алкоголики". На собраниях половина пациентов дремала под рассказы о том, как "мы тоже было скатились на дно". Одна женщина из "АА" сказала, что день-деньской жевала чеснок, чтоб никто не учуял перегара. Карлотта жевала гвоздику. Ее мать зачерпывала щепотью мазь "Викс" и вдыхала аромат. У дяди Джона вечно торчали между зубов обломки пастилок "Сен-Сен", и он был похож на тыкву, которую они смастерили в больнице, улыбчивую тыкву.

Больше всего Карлотте нравилось, когда в конце собрания все брались за руки, а сама она читала "Отче наш". Приходилось будить заснувших приятелей, подпирать их с обеих сторон, как погибших легионеров в "Красавчике Жесте"[1]. Она чувствовала себя сестрой этих мужчин, когда они молились о даровании трезвости навсегда и вовеки.

Когда "анонимные алкоголики" уходили, пациентам давали молоко, печенье и нембутал. Почти все, включая медсестер, засыпали. А Карлотта до трех утра играла в покер с Мэком, Джо и Пепе. И никаких бесчинств.

Каждый день она звонила домой. Ее старшие сыновья, Бен и Кит, присматривали за Джоэлом и Натаном. Говорили, что все в порядке. Она мало что могла им сказать.

В больнице она провела семь дней. Когда ее выписывали, в комнате отдыха, сумрачной из-за ненастья, появился транспарант: "Карлотте — житья без заботы!". Ее машина все это время простояла на больничной парковке: полицейские пригнали. Большая вмятина, разбитое зеркало.

Карлотта поехала в парк Редвуд. Включила на полную громкость радио, уселась на искореженный капот своей машины, а сверху лил дождь. Внизу сиял золотистый мормонский храм. Бухту скрывала мгла. Хорошо было дышать воздухом, слушать музыку. Она курила, решала, чем займется на следующей неделе с учениками, набрасывала планы уроков, списки книг, которые надо взять в библиотеке...

(Отговорки для школы уже придуманы. Киста яичника... К счастью, доброкачественная.)

Что купить из продуктов. Сегодня приготовить лазанью — любимое блюдо сыновей. Томатная паста, телятина, говядина. Салат и чесночные хлебцы. Мыло и туалетная бумага, наверно, тоже нужны. На десерт — готовый морковный пирог.

1. Приключенческий роман английского писателя П. К. Рена о солдатах французского Иностранного легиона; неоднократно экранизировался.

Списки действовали успокаивающе, расставляли все в жизни по своим местам.

О том, где она побывала, не знает ни одна душа, кроме сыновей и Майры, директрисы ее школы. Они вошли в ее положение. Не волнуйся. Все уладится.

Каким-то образом все всегда улаживается. Вообще-то она хорошая учительница и хорошая мать. Дома — в их малюсеньком коттедже — тесно от творческих затей, поделок, книг, диспутов и смеха. Никто своими обязанностями не пренебрегает.

По вечерам, после мытья посуды и стирки, после проверки тетрадей, — телевизор или "Скрэббл", задачки, несколько партий в карты или треп о всякой ерунде. Доброй ночи, ребята! А потом — тишина, и в честь этой тишины она наливала себе двойные порции, а лед вообще перестала класть: лишняя возня.

Сыновья становились свидетелями ее умопомрачения, только если просыпались ночью: в те времена это редко затягивалось до утра. Но, насколько у нее хватает памяти, в глухой ночи она всегда слышит, как Кит проверяет пепельницы и камин. Выключает свет, запирает двери.

А вот с полицией она до сих пор не сталкивалась, этот раз — первый, хоть она ничего и не помнит. Раньше она никогда не садилась за руль выпимши, никогда не пропускала больше одного рабочего дня, никогда... Она даже не представляла себе, что ждет ее дальше.

Мука. Молоко. "Аякс". Уксус в доме только винный, после антабуса его нельзя — иначе начнутся корчи. "Яблочный уксус" — внесла она в список.

## Без *удержу*

ГЛУХАЯ темная ночь души[1], а по ночам винные магазины и бары закрыты. Она сунула руку под матрас, нашарила пустую бутылку: была пинта водки да вся вышла. Спустила ноги с кровати, встала. И так бросило в дрожь, что пришлось присесть на пол. Дышала часто-часто. Если не опохмелиться, начнется белая горячка или эпилептический припадок.

Способ есть: замедлить дыхание и пульс. Как можно меньше нервничать, пока не раздобудешь бухло. Поможет сахар. Чай с сахаром, его и в нарколожке дают. Но все тело тряс-

1. Отсылка к стихотворению "Темная ночь души" Святого Хуана де ла Крус — испанского поэта-мистика XVI в.

лось, не было сил встать. Легла на пол, глубоко дыша, как на занятиях по йоге. Не думай, ради Бога, не думай о своем нынешнем состоянии, а то умрешь, умрешь от стыда, от инсульта. Дыхание чуть-чуть нормализовалось. Она начала читать названия книг на полках. Сосредоточься, читай вслух. Кобо Абэ, Шервуд Андерсон, Мигель Анхель Астуриас, Чинуа Ачебе, читай подряд, и помедленнее. Прочла целую стену книг, и немножко полегчало. Приподнялась на локтях. Держась за стену, вся дрожа, еле переставляя ноги, добралась до кухни. Спиртовой экстракт — хоть какой-нибудь. Ванильный кончился. Есть лимонный. Жидкость обожгла глотку, сразу замутило. Крепко сжать губы, проглотить экстракт через силу. Заварила чаю, бухнула в чашку много меда, выпила медленно, по глоточку, не зажигая света. Водку ей продадут в шесть — два часа осталось — в Окленде, в магазине "Аптаун". В Беркли придется ждать до семи. Господи ты боже мой, а деньги? Она крадучись вернулась в свою комнату, порылась в сумке, лежащей на письменном столе. Ни бумажника, ни ключей от машины — наверно, забрал Ник, сын. Не пойдешь же искать все это к сыновьям — нельзя их будить.

В банке на ее столе, куда она кидает мелочь, — один доллар тридцать центов. Порылась в нескольких сумках в шкафу, в карманах плащей, в ящике кухонного стола. И все-таки набрала четыре доллара: вот сколько дерет за полпинты проклятый индус по утрам. Но все, кого мучает похмелье, раскошеливаются. Правда, большинство пьянчуг берет сладкое вино: оно действует быстрее.

Пешком путь неблизкий. Сорок пять минут, потом возвращаться домой бегом, пока дети не проснулись. А как она вообще дойдет? В другую комнату — и то ползет еле-еле. Моли Бога, чтоб тебе не попалась полицейская машина. Жаль, что нет собаки — взяла бы, типа выгуливаю. Идея, засмеялась она, пойду к соседям и спрошу, не одолжат ли собачку. Ага, конечно. Никто из соседей с ней больше не разговаривает.

Чтобы сохранить равновесие, внимательно смотрела на трещины на асфальте, считала: раз-два-три. Хваталась за кусты, за стволы деревьев и подтягивалась — все равно что взбираться на гору бочком. Очень страшно было переходить улицы: какие же они широкие, и светофоры мигают: красный-красный, желтый-желтый. Иногда — фургон, развозящий "Икземинер"[1], или пустое такси. Патрульный автомобиль: едет быстро, с отклю-

1. Имеется в виду газета "Сан-Франциско икземинер".

ченной мигалкой. Полицейские ее не заметили. Холодный пот стекал по спине, зубы громко стучали в безмолвии утренних сумерек.

Пыхтя, на подгибающихся ногах, дошла до “Аптауна” на Шэттак-авеню. Пока закрыто. На краю тротуара топтались семеро чернокожих: шесть стариков и мальчик. Индус, не замечая их, сидел у окна, пил кофе. На тротуаре двое передавали друг другу флакон с сиропом от кашля “Найквил”. Эту “голубую смерть” можно купить в любое время дня и ночи.

Старик, которого тут зовут Чемпион, улыбнулся ей:

— Что, матушка, болеешь? Аж волосы ломит?

Она кивнула. Да, именно такое ощущение: в волосах, в глазных яблоках, в костях.

— На, — сказал Чемпион, — скушай немножко.

Он ел соленые крекеры. Сунул ей пару:

— Надо есть, даже через “не могу”.

Мальчик попросил:

— Эй, Чемпион, дай и мне немножко.

Ее пропустили к прилавку без очереди. Она попросила водку, высыпала на прилавок пригоршню монет.

— Тут всё, без сдачи, — сказала.

Он улыбнулся:

— Пересчитайте сами, сделайте милость.

— Живее, блин, — буркнул мальчик, пока она трясущимися пальцами передвигала монеты. Сунула бутылку в сумочку, заковыляла к выходу. Вышла, вцепилась в телефонный столб: ступить на мостовую было страшно.

Чемпион пил свой “Ночной поезд”[1] из горла:

— Что, настоящие леди на улице не пьют?

Она покачала головой:

— Боюсь уроню бутылку.

— А ну-ка, — сказал он, — открой рот. Тебе нужно подкрепиться, иначе до дома не дойдешь.

Он влил ей в рот немного вина. Вино распространилось по телу, согрело.

— Спасибо, — сказала она.

Торопливо перешла улицу, неуклюже потрусила в сторону дома; “девяносто, девяносто одна” — считала трещины. К своей двери подошла, когда еще не рассвело.

Отчаянно хватала ртом воздух. Не включая свет, плеснула в стакан клюквенного сока, туда же вылила треть бутылки. Присела за стол, начала пить маленькими глотками, и алко-

1. Дешевое крепленое вино.

голь, просачиваясь во все ткани организма, приносил облегчение. От этого чувства она прослезилась — радовалась, что не умерла сегодня. Налила себе еще водки с соком, между глотками отдыхала — клала голову на стол.

После второй порции ей стало лучше, она отправилась в подвал, засунула белье в стиральную машину, включила. Потом, прихватив бутылку, — в ванную. Приняла душ, причесалась, переоделась в чистое. Остается десять минут. Проверила, закрыта ли задвижка, села на унитаз и допила водку. Остатки не просто поправили здоровье, но и слегка опьянили.

Переложила белье из стиральной машины в сушилку. Когда она готовила апельсиновый сок, разводя замороженный концентрат, на кухню забрел, протирая глаза, Джоэль:

— Ни носков, ни рубашки.

— Привет, милый. Поешь хлопьев. Пока позавтракаешь и примешь душ, одежда высохнет, — она налила ему сока. И второй стакан — Николасу, который молча застыл в дверях.

— Черт возьми, как ты умудрилась раздобыть выпивку? Протиснулся к столу, положил себе хлопьев, залил молоком. Тринадцать лет. Выше нее ростом.

— Можно мне взять мой бумажник и ключи? — спросила она.

— Бумажник бери. А ключи отдам, когда увижу, что ты в норме.

— Я в норме. Завтра выйду на работу.

— Мам, ты уже не можешь перестать сама, без больницы.

— Я с собой разберусь. Не волнуйся, у меня целый день на поправку, — и отошла проверить сушилку.

— Рубашки высохли, — сказала она Джоэлю. — Носки высохнут минут через десять

— Не успеваю. Надену сырые.

Сыновья подхватили учебники и рюкзаки, поцеловали ее на прощанье и вышли из дому. Стоя у окна, она смотрела, как они идут к остановке. Дождалась, пока автобус забрал их и поехал в гору по Телеграф-авеню. После этого тоже вышла из дома — отправилась в винный на углу. Он уже открылся.

## *Записки из приемного покоя, 1977 год*

В приемном отделении никогда не услышишь сирен: на Вебстер-стрит водители их выключают. Но когда подъезжает “скорая” Эй-си-и или “Юнайтед амбуланс”, я вижу боковым зрением ее красные задние фонари. Обычно мы

ее уже ждем: нас предупреждают по рации на специальной "медволне", вы это видели по телику. — "'Город-Один', вас вызывает 'Эй-си-и', у нас 'код два'. Мужчина, сорок два года, травма головы, давление 190 на 110. В сознании. Будем через три минуты". — "Говорит 'Город-Один'. Машина 76542, вас понял".

Если это "код три", то есть состояние критическое, врач и медсестры ждут у подъезда, коротают время за болтовней. Внутри, в шестом кабинете (травматология) дежурит бригада, которая специализируется на "синих кодах": ЭКГ, рентгенологи, пульмонологи, кардиологические медсестры. Но водителям или пожарным, как правило, просто некогда предупреждать про большинство пациентов с "синим кодом". Пьемонтская пожарная часть никогда не звонит, а от них поступают самые тяжелые. Богачи с обширными коронаротромбозами, зрелые дамы, пытавшиеся отравиться барбитуратами, дети, выловленные из бассейнов.

Весь день напролет тяжелые, больше смахивающие на катафалк "кадиллаки" "КОПОАП"[1] заезжают задом на соседнюю парковку, слева от приемного отделения. Весь день напролет мимо моего окна проплывают каталки, везущие больных на кобальтовую пушку. Машины серые, шоферы в сером, одеяла серые, пациенты желто-серые, и только кое у кого на лбу или на шее — ослепительно-алые кресты, начертанные фломастерами врачей.

Меня звали туда работать. Нет, спасибо. Терпеть не могу долгие проводы. Почему я до сих пор отпускаю пошлые шуточки о смерти? Теперь я отношусь к смерти очень серьезно. Исследую ее. Не напрямую, просто вынюхиваю то да се. Смерть представляется мне в обличье человека... Иногда самых разных людей, которые со мной здороваются. Слепая миссис Эддерли, мистер Джионотти, мадам И, моя бабушка.

Таких красавиц, как мадам И, я в жизни не видывала. Вообще-то она уже выглядит неживой: прозрачная голубовато-белая кожа, безмятежное, без примет возраста, восточное лицо с изящными скулами. Она носит черные брюки и сапоги, жакеты с воротником "мандарин", пошитые и отделанные... где? В Азии? Во Франции? Возможно, в Ватикане: они тяжелые, как облачение епископа... или, скорее, как рентгенозащитный халат. Декоративная ручная оторочка насыщенных цветов: фуксии, пурпура, апельсина.

1. Кооперативное общество по повсеместному оказанию американской помощи — некоммерческая корпорация, занимающаяся оказанием гуманитарной помощи в различных регионах мира.

В девять подъезжает “бентли”. Шофер, нагловатый филиппинец, выходит и, стоя на парковке, долго курит “Шерманс”, одну за другой. Сыновья мадам И, долговязые, в костюмах гонконгского пошива, провожают ее от машины до дверей отделения радиотерапии. От дверей идти еще долго, в другой конец коридора. Никто, кроме нее, не проделывает этот путь в одиночку. У дверей она оборачивается к сыновьям, улыбается и кланяется. Они отвечают поклонами на поклон и провожают ее взглядом, пока она не заходит в кабинет. А потом идут пить кофе и разговаривать по телефону.

Проходит полтора часа, и все они одновременно появляются вновь. Она с двумя розовато-лиловыми пятнами на скулах, оба ее сына, “бентли” с филиппинцем за рулем; вскоре вся компания неспешно удаляется. Блеск и сияние серебристого автомобиля, ее черных волос, ее шелкового жакета. Весь ритуал — беззвучный и плавный, как кровообращение.

Ее больше нет в живых. Я точно не знаю, когда она ушла; видимо, я в тот день была выходная. Она и так всегда выглядела покойницей, но благопристойной, как на иллюстрации или в рекламе.

Мне нравится работать в приемном. Кровь, кости, сухожилия: это же просто гимн жизни... Я благоговею перед человеческим телом, перед его выносливостью. И слава богу, что оно такое выносливое, потому что рентгена или дозы болеутоляющего приходится ждать часами. Возможно, у меня нездоровая психика. Меня завораживают два отрезанных пальца в стерильном пакете, блестящий складной нож, торчащий из спины костлявого сутенера. Мне нравится, что у нас можно починить все, кроме того, что уже не чинится.

“Синие коды”. Ну-у, все обожают “синие коды”. Это когда человек умирает: останавливается сердце, пресекается дыхание, но реанимационная бригада может вернуть умирающего к жизни — и часто действительно возвращает. Даже если это восьмидесятилетний уставший от жизни старик, невольно увлекаешься драмой воскрешения, пусть даже ненадолго. Тут спасают много жизней, жизней молодых, плодотворных.

Проворство и рвение десяти-пятнадцати человек — участников действа: это же как премьера в театре. Пациент, если он в сознании, тоже участвует, хотя бы в том смысле, что смотрит на происходящее с интересом. Пациенты никогда не выглядят испуганными.

Если пациент прибыл с родственниками, моя обязанность — получить от них информацию и самой информировать их о положении дел. В основном успокаивать.

Для медиков главное — "хороший" будет код или "плохой": правильно ли сделано то, что положено, среагировал ли пациент на манипуляции; а для меня главное — хорошая смерть или плохая.

Плохая смерть — это когда в качестве "ближайшего родственника" в документах указан директор гостиницы или когда человека через две недели после инсульта, агонизирующим от обезвоживания, обнаруживает уборщица. Самая скверная смерть — когда я вызываю из какой-то глуши, откуда ужасно неудобно добираться, несколько сыновей, дочерей и свойственников, и они собираются вместе, но, кажется, совершенно не знают ни друг друга, ни умирающего отца или мать. Им не о чем говорить. Они без устали твердят, что надо все организовать, что надо же все как-то организовать, а кто же будет все организовывать, а?

Хорошей смертью умирают цыгане. Так считаю я, но медсестры и охранники со мной не согласятся. Цыгане всегда приходят минимум вдесятером, требуют пустить их к умирающему, чтобы расцеловать его и обнять, нечаянно отключая при этом или ломая телевизоры, мониторы, аппаратуру. Самое лучшее в цыганской смерти: они никогда не принуждают своих детей вести себя тихо. Взрослые вопят, рыдают в голос, всхлипывают, но дети как носились, так и носятся взад-вперед, играют, хохочут, и никто не говорит им: пригорюньтесь, имейте уважение.

Похоже, хорошая смерть — по случайному совпадению хороший код: пациент чудо как хорошо реагирует на все жизнетворные процедуры, а позднее просто тихо уходит в мир иной.

Хорошей смертью умер мистер Джионотти... Родственники вняли просьбе медиков — остались на улице, но всё же поочередно — а собралось их много — заходили в палату, извещали мистера Джионотти, что пришли, а потом выходили успокоить остальных: мол, все усилия предпринимаются. Целая толпа: одни сидели, другие стояли, обнимались, курили, иногда пересмеивались. Мне казалось, что я присутствую на празднике, куда съехалась вся родня.

Одну вещь я о смерти знаю. Чем "лучше" человек, чем больше было в нем любви, жизнелюбия и нежности, тем меньше пустота, которая остается после его смерти.

Когда мистер Джионотти умер... что ж, был, и нету, и миссис Джионотти заплакала, и остальные — тоже, но все они, обливаясь слезами, уехали вместе, а он, в сущности, остался среди них.

Давеча вечером я повстречала в автобусе слепого мистера Эддерли. Несколько месяцев назад Дайану Эддерли, его же-

ну, доставили в больницу мертвой. Он наткнулся на ее тело у подножия лестницы — тростью своей наткнулся. Сестра Маккой — дрянцо с гнильцой — все убеждала его не плакать:

— Поймите, мистер Эддерли, слезами горю не поможешь.

— И ничем не поможешь. Я же ничего больше не могу для нее сделать. Оставьте меня в покое.

Когда он услышал, что Маккой вышла все организовать, то сказал мне, что никогда раньше не плакал. А теперь испугался, что это как-то подействует на глаза.

Я надела ее обручальное кольцо ему на мизинец. В лифчике у нее лежали грязные купюры — тысяча с лишним долларов. Я положила деньги в его бумажник. И сказала, что купюры по пятьдесят, двадцать и сто долларов, и пусть он найдет кого-нибудь их рассортировать.

На днях, когда мы встретились в автобусе, он, должно быть, вспомнил меня по шагам или по запаху. Вообще-то я его даже не заметила — просто влезла в автобус и плюхнулась на ближайшее сиденье. А он аж встал с переднего сиденья около кабины, чтобы пересесть поближе ко мне.

— Здравствуйте, Лусия, — сказал он.

И принялся очень смешно рассказывать про своего нового соседа по комнате в Хиллтопском пансионате для незрячих — страшного неряху. Я гадала, как же он определил, что сосед — неряха, а потом сообразила и рассказала ему свой сюжет про двоих слепых соседей, комедию прямо-таки для братьев Маркс: приправляют спагетти кремом для бритья, роняют клецки и поскальзываются на них и тому подобное. Мы посмеялись, а потом примолкли, взялись за руки... И так ехали от Плезант-Вэлли до Алькатрас-авеню. Он тихо плакал. Я оплакивала свое собственное одиночество, свою собственную слепоту.

В первую ночь моей работы в приемном “скорая” Эй-си-и привезла неопознанную больную. Персонала не хватало, ее раздели два водителя “скорых” и я: стянули с варикозных ног драные колготки; ногти на ногах загибались, как когти попугая. Мы достали ее документы — причем не из замызганного лифчика вынули, а отлепили от холодной и потной груди. Фото молодого парня в мундире морского пехотинца: “Джордж, 1944”. Три размокших купона на кошачий корм “Пурина” и красно-бело-синюю медицинскую страховку. Прочитали полуразмытые чернильные записи в страховке. Ее звали Джейн. Джейн Доэрти. Мы заглянули в телефонную книгу. Ни Джейн, ни Джорджа.

У старух в сумочках (если эти сумочки никто не успел стибрить) никогда не бывает ничего, кроме вставных челю-

стей, расписания 51-го автобуса и записных книжек с именами без фамилий.

Мы с водителями взялись сообща обрабатывать урывочную информацию: позвонили в отель "Калифорния", спросили Энни (ее имя подчеркнуто в книжке), и в химчистку "Пять долларов". Иногда приходится дожидаться, пока не позвонит кто-то из родственников, приступивший к поискам. В приемном телефоны звонят с утра до вечера. "Вы не видели такого-то?.." Старики. У меня смешанные чувства к старикам. Мне кажется, пустое дело — делать полную замену тазобедренного сустава или коронарное шунтирование какому-нибудь девяностопятилетнему старцу, который шепчет: "Пожалуйста, дайте мне уйти".

Поразительно, что старики то и дело поскальзываются в душе — зачем так часто мыться? Но, возможно, им важно ходить самостоятельно, оставаться на ногах. Иногда такое ощущение, что падают они нарочно... или вот женщина, которая наелась пастилок "Экс-Лакс"... Видимо, хотят вырваться из дома престарелых.

Бригады со "скорых" и наши медсестры вечно перешучиваются, слегка заигрывают друг с дружкой. "Пока — до следующего жмурика!" Раньше меня это шокировало: делают трахеотомию или бреют пациента, чтобы прикрепить датчики, а сами хохмят без передышки. Восьмидесятилетняя женщина с переломом таза всхлипывает: "Дайте руку! Возьмите меня за руку! Умоляю!" А шоферы трындят себе про матч "Окленд стомперз".

— Возьми ее за руку, в самом-то деле!

Он поглядел на меня, как на чокнутую. Теперь я редко кого беру за руки, а шучу много — правда, не при пациентах. Здесь напряжение зашкаливает, стресс постоянный. Здорово изматывает — все время оказываешься в ситуациях, когда жизнь висит на волоске.

Еще больше изматывает то, что, в сущности, порождает весь этот стресс и цинизм: в приемном полно пациентов, которые вовсе не нуждаются в экстренном лечении или — еще почище — совершенно здоровы. Иногда так от этого устаешь, что начинаешь тосковать по честным ножевым или огнестрельным ранениям: вот где все четко. А к нам с утра до вечера, с вечера до утра идут те, у кого почему-то пропал аппетит, или стул нерегулярный, или шея затекает, или моча стала красной либо зеленой (верный признак того, что на обед была свекла либо шпинат).

Слыхали вы в полночный час завывания сирен где-то вдалеке? Сплошь и рядом они спешат к какому-нибудь старому хрычу, у которого кончился портвейн.

Истории болезни, одна за другой. Физиологическая тревожная реакция. Головная боль напряжения. Гипервентиляция легких. Интоксикация. Депрессия. (Это все диагнозы, а пациенты жалуются на рак, сердечный приступ, тромбоз, удушье.) Каждый из этих пациентов обходится в сотни долларов: "скорая", рентген, лабораторные анализы, ЭКГ. "Скорая" получает прилагающийся к бесплатной медицинской страховке талон, и мы — талон, и врач — талон, а пациент поспит немножко, а потом приедет такси, чтобы отвезти его домой за счет штата. О Господи, неужели я стала такой же черствой, как сестра Маккой? Страх, нищета, алкоголизм, одиночество — смертельные болезни. Более того, они требуют экстренной помощи.

Но к нам поступают и пациенты в критическом состоянии: сердце, травма — мы за считаные минуты их стабилизируем потрясающе умело и эффективно, — и их тут же отправляют на операционный стол или в реанимацию.

Пьяницы и самоубийцы отнимают у нас по несколько часов драгоценного времени: занимают места в палатах, отвлекают на себя медсестер. У моего стола человека четыре или пять ждут записи к врачам. Перелом голени, острый фарингит, кривошея и тому подобное.

Мод, поддатая, помятая, раскинулась на каталке, ее пальцы ритмично теребят мой локоть — так кошки-невротички "топчут" лапами хозяев.

— Какая вы добрая... прелесть вы моя... это все головокружение, дорогая.

— Ваша фамилия, адрес? Где ваша страховка?

— Пропало, все пропало... Я так несчастна, так одинока. Меня тут примут? У меня определенно что-то неладно с внутренним ухом. Мой сын Вилли никогда не звонит. Ну, конечно, из Дейли-Сити звонки платные. А у вас есть дети?

— Распишитесь вот здесь.

В ее сумочке, набитой черт знает чем, я не нашла почти ничего информативного. Чтобы промокнуть помаду, она прикладывает к губам листки бумаги для самокруток "Зиг-Заг". Огромные размазанные поцелуи рассыпались по сумочке — все равно, что попкорн.

— Как фамилия и телефон Вилли?

Она начинает всхлипывать, тянет руки к моей шее:

— Не надо ему звонить. Он говорит, я противная. И вы думаете, что я противная. Обнимите меня!

— Мод, я подойду к вам попозже. Отпустите мою шею и распишитесь на этой бумаге. Отпустите меня.

Пьяниц неизменно привозят в одиночестве. Самоубийц — в сопровождении минимум одного человека, а обычно не-

скольких. Вероятно, того-то им и надо. Чтобы с ними были хотя бы двое полицейских. Наконец-то я поняла, почему самоубийство считается преступлением.

Хуже всего — передозировки. Повторяются бессчетно. Медсестрам обычно некогда. Они дают пациенту какие-то лекарства, но главное — сразу же выпить десять стаканов воды (это если передозировка не критическая и не требует промывания желудка). Мне страшно хочется просто засунуть пациенту два пальца в рот. Икота и слезы. “Ну давайте, еще стаканчик”.

Бывают самоубийства “по основательным причинам”. Во многих случаях причины действительно основательные: смертельная болезнь, невыносимая боль. Но меня больше впечатляет, если я примечаю основательный подход к делу. Пуля в лоб, вскрытые, как надо, вены, качественные барбитураты. Тогда, даже если попытка не удается, человек словно бы излучает умиротворенность и силу: наверно, потому что принял продуманное решение.

Что меня бесит, так это повторники: сорок капсул пенициллина, двадцать штук валиума и пузырек микстуры от кашля. Да, я в курсе, что по статистике те, кто грозится или действительно пытается покончить с собой, рано или поздно лишают себя жизни. Но я уверена: это всегда роковая случайность. Обычно Джон возвращается домой в пять, но в тот день у него лопнула покрышка, и он не успел спасти жену. Подозреваю, иногда это разновидность неумышленного убийства: мужу или какому-то другому постоянному спасателю наконец-то надоело подоспевать вовремя, как раз к угрызениям совести.

— Где Марвин? Как же он, наверно, переживает.

— Пошел позвонить.

Мне совершенно не хочется говорить ей, что он в буфете: ему полюбились сэндвичи “Рубен” от наших поваров.

В университетах сейчас сессия. Самоубийц порядком, некоторые — в основном ребята азиатского происхождения — достигают своего. А приз за самое дурацкое самоубийство недели я бы присудила Отису.

Жена Отиса, Лу Берта, ушла к другому. Отис выпил две упаковки соминекса, но сна у него — ни в одном глазу. Наоборот, раздухарился.

— Позовите Лу Берту, пусть приедет, пока еще не поздно!

Только и делает, что выкрикивает указания из-за двери травматологического кабинета:

— Мэри Брочар — так мамку мою зовут — 849-0917... А Лу Берту поищите в баре “Адам и Ева”.

Лу Берта только что направилась из “Адама и Евы” в “Шалимар”. В “Шалимаре” телефон долго был занят. Потом кто-то снял трубку. Стиви Уандер: сингл “Не волнуйся ни о чем” прозвучал с начала до конца.

— Милочка, расскажите мне все еще раз по порядку... Чем-чем он передознулся?

Я ответила.

— Тьфу. Идите скажите этому дармоеду чернозадому, этому павиану беззубому, что, если он хочет меня отсюда выманить, пусть ужрется чем покрепче да побольше.

Я пошла сказать ему... что ему сказать? Может, она рада, что он оклемался? А нашла я его в шестом кабинете, у телефона. Он уже натянул свои брюки, а больничный халат — белый в горошек — пока не снял. Оказалось, он нашел у себя в куртке полпинты “Королевских ворот”[1]. И теперь расселся вальяжно, ну прямо гендиректор.

— Джонни? Привет, это Отис. Я тут в приемном в Окленд-ской городской. Ну знаешь, поворот с Бродвея. Как делишки? Ништяк! А Лу Берта, шалава, с Дэррилом замутила... (*Молчание.*) Без балды.

Заходит старшая сестра смены:

— Он еще тут?! Гони его в шею! Везут четверых кодовых. ДТП, у всех “код три”, будут через десять минут.

Спешу зарегистрировать пациентов, пока не подъехали “скорые”. Кого не успею оформить, пусть подождут, примерно половина не выдержит и уйдет, а пока все нервничают и возмущаются.

О черт... перед ней еще трое, но ее лучше зарегистрировать без очереди. Марлен-Мигрень, постоянная клиентка приемного. Настоящая красавица, совсем молодая. Она прерывает разговор с двумя баскетболистами из колледжа Лейни (у одного травма правого колена) и ковыляет к моему столу. Спектакль начинается.

Она стонет, как Орнетт Коулман раннего периода, времен “Одинокой женщины”[2]. Коронный номер: для начала биться головой об стену прямо у моего стола и одним махом сбросить со стола все, что там лежало.

Следующая сцена — рыдания. Страдальческий визг, переходящий в надсадный коклюшный кашель напоминает мне

1. “Королевские ворота” — марка водки и джина, производится в Сан-Франциско.
2. Композиция американского джазового музыканта Орнетта Коулмана (1959).

мексиканские корриды да техасские песни про любовь: “Ай-яй-яй-яй, зря не ищи ты...”.

Она оседает на пол, мне видна только ее рука с модным маникюром, протягивающая через стол страховку.

— Вы что, не видите, я умираю! Вот-вот ослепну, будьте вы прокляты!

— Рассказывай! Марлен, как ты умудрилась наклеить себе фальшивые ресницы?

— Шлюха вонючая!

— Марлен, сядь на стул и распишись. Сейчас подъедут “скорые”, тебе придется обождать. Сядь!

Она садится на стул, достает было зажигалку и сигарету “Кул”.

— Ты не кури, ты расписывайся давай, — говорю я.

Она ставит подпись. Приходит Зефф — проводить ее до палаты:

— О-о, какие люди! Марлен, наша подружка-злючка.

— Катись со своими комплиментами, санитар безмозглый.

Приезжают “скорые”. Да, случаи по-настоящему экстренные. Двое скончались. Битый час все медсестры, дежурные врачи, специально вызванные врачи, хирурги — все до единого работают в шестом кабинете с двумя маленькими детьми, которые выжили.

Марлен натягивает одной рукой свой бархатный жакет, другой красит губы в цвет фуксии:

— Не стану ж я прохлаждаться всю ночь в вашем вшивом отеле?! До скорого, птичка моя.

— До скорого, Марлен.



## *Руководство для домработниц*

42 ПЬЕМОНТ-КОЛЬЦЕВОЙ. Автобус неторопливо катит к Джек-Лондон-сквер. Домработницы и пожилые дамы. Я села рядом со слепой старушкой, которая читает книгу, набранную шрифтом Брайля: медленно, бесшумно водит пальцем по странице, от строчки к строчке. Смотришь и успокаиваешься. Старушка сошла на Двадцать девятой улице, где с вывески ПРОДУКЦИЯ ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ осыпались все буквы, кроме СЛЕПЫХ.

Мне тоже сходить на Двадцать девятой, но я поневоле еду в центр: надо обналичить чек миссис Джессел. Если она еще раз выпишет чек, вместо того чтобы отдать наличными, я от

нее уйду. А еще у нее никогда не бывает мелочи. На прошлой неделе я отдала свои кровные двадцать пять центов, чтобы доехать до банка, и что же вы думаете: оказалось, она забыла расписаться на чеке.

Она все забывает, даже свои болячки. А я их подбираю и кладу на ее секретер, когда обметаю пыль. На каминной доске бумажка: 10 УТРА ТОШЬНОТА (пентобарб.). На полке у раковины — ДИЯРЕЯ. На кухонной плите — ГОЛ-КРУЖ. ПЛОХО С ПАМЯТЬЮ. В основном она забывает, пила ли сегодня фенобарбитал, и забывает, что уже два раза звонила мне домой спросить, пила ли, и где ее кольцо с рубином, и так далее.

Она ходит за мной по пятам, из комнаты в комнату, повторяя одни и те же фразы, снова и снова. Я с ней скоро сама свихнусь. Каждый раз говорю: "Все, ухожу", но мне ее жаль. Ей не с кем поговорить, кроме меня. Муж — адвокат, у него есть гольф и любовница. Наверно, миссис Джессел про это не знает или не помнит. А вот домработницы знают всё.

Домработницы воруют, что правда, то правда. Но не те вещи, над которыми так трясутся наши хозяйки. Лежащие мертвым грузом излишки — вот что совращает нас с пути истинного. А мелочь в ваших стильных пепельницах нам совершенно ни к чему.

В один прекрасный день за бриджем некая дама поделилась идеей: "Хотите проверить домработницу на честность — понаставьте везде миниатюрные пепельницы и насыпьте в них горсточки мелочи, и пусть они будут на каждом шагу". У меня свое решение: всегда подкладываю в пепельницы по два-три цента, а иногда даже десятицентовик.

Придя на работу, я первым делом проверяю, где лежат часы, кольца, вечерние сумочки из золотой парчи. И потом, когда хозяйки прибегают, запыхавшись, раскрасневшиеся, все на нервах, спокойно говорю: "У вас под подушкой" или "За вашим фисташковым унитазом". Я лично ворую только сотворное: запасаюсь на черный день.

Сегодня я украла баночку кунжута "Острова специй". Миссис Джессел редко готовит. А если готовит, то курицу с кунжутом. Рецепт приклеен к дверце шкафчика с пряностями. Его ксерокопия лежит в ящике с марками и шпагатом, еще одна — в ее записной книжке. Всякий раз, заказывая по телефону курицу, соевый соус и херес, она добавляет еще баночку кунжута. У нее пятнадцать баночек кунжута. Теперь четырнадцать.

Пока ждала сорок второго, сидела на бордюре, а надо мной стояли три другие домработницы, темнокожие, в белых форменных платьях. Они старые подруги, много лет ра-

ботают на Кантри-клаб-роуд. Вначале мы хором возмутились: автобус пришел на две минуты раньше, показал нам хвост. Паршивец. Водитель прекрасно знает, что домработницы всегда ждут на остановке и следующий сорок второй будет только через час.

Я курила, другие сравнивали то, чем разжились. Прихвачено без спросу: лак для ногтей, духи, туалетная бумага. Подарено: разрозненные сережки, двадцать вешалок, рваные бюстгальтеры.

(Совет домработницам: что бы вам ни подарила хозяйка, берите и благодарите. Ненужное можно оставить в автобусе — запихнуть в щель между сиденьями.)

Чтобы включиться в разговор, я показала им мою баночку с кунжутом. Они покатились со смеху. “Ой, доча, учудила! Кунжут?!” Спросили, как только меня хватает так долго работать у миссис Джессел. Почти все сбегают самое позднее после третьего раза: просто не выдерживают. Спросили, правда ли, что у нее сто сорок пар туфель. Да, но это еще не страшно, а вот что почти все пары одинаковые...

За приятной беседой час прошел незаметно. Обсудили всех дам, у которых работаем. Посмеялись, иногда не без горечи.

Домработницы старой школы обычно меня сторонятся. И устроиться домработницей мне нелегко, потому что я “образованная”. Черт возьми, никакую другую работу я сейчас точно не найду. Я навострилась сразу же сообщать дамам: мой муж-алкоголик недавно умер, оставив меня с четырьмя детьми. Я никогда нигде не работала — детей растила, и всякое такое прочее.

43 ШЭТТАК-БЕРКЛИ. Скамейки с надписью РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО “ТОЧКА РОСЫ” каждое утро сырые. Прошу у прохожего прикурить, а он отдает мне всю книжечку. ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДА. Спички для дураков, супербезопасные — чиркаш спрятан под специальным клапаном. Береженого Бог бережет.

На той стороне улицы женщина из химчистки “Чистота” подметает свой кусок тротуара. По обе стороны от нее асфальт словно бы шевелится: столько на нем мусора и листьев. В Окленде осень.

В тот же день, когда, отработав у Хорвицей, я ехала обратно, тротуар перед “Чистотой” снова скрывали листья да мусор. Я швырнула на него свой пересадочный билет[1]. Мне все-

1. В США есть билеты на общественный транспорт, позволяющие бесплатно сделать одну пересадку на другой маршрут.

гда дают пересадочные билеты. Иногда я их кому-нибудь отдаю, но чаще просто храню на всякий случай.

Тер поддразнивал меня за то, что я никогда ничего не выбрасываю:

— Знай, Мэгги Мэй: на этом свете нет ничего, что ты можешь удержать. Ничегошеньки — разве что меня.

Когда мы жили на Телеграф-авеню, я однажды проснулась оттого, что Тер сунул мне в руку колечко от пивной банки. Смотрит на меня сверху вниз и улыбается. Терри был молодой ковбой, приехал из Небраски. Он никогда не ходил в кино на зарубежные фильмы. А почему, я только теперь сообразила: не успевал прочесть субтитры.

Если Тер читал книгу, что случалось редко, то каждую прочитанную страницу вырывал и отшвыривал. Прихожу домой, а по всей комнате — окна у нас всегда были открыты или разбиты — кружатся листки, точно голуби на парковке у супермаркета.

33 БЕРКЛИ (ЭКСПРЕСС). Тридцать третий заблудился! У вывески СИРС[1] водитель прозевал поворот на шоссе. Все пассажиры принялись давить на кнопки, и водитель, багровый от стыда, свернул налево на Двадцать седьмую. И завез нас в тупик. Местные высовывались из окошек поглазеть на автобус. Четверо мужчин вышли из своих домов, чтобы помочь водителю выбраться задним ходом — протыриться по узкой улице между припаркованными машинами. Вырвавшись на шоссе, автобус разогнался до восьмидесяти миль. Стало как-то страшновато. Мы все переговаривались, перебивая друг друга, оживились: все-таки событие.

Сегодня мне к Линде.

(Домработницы! Возьмите за правило: у друзей работать нельзя. Рано или поздно они обидятся на вас за то, что вы про них слишком много знаете. Либо, по той же причине, они вам разонравятся.)

Но Линда и Боб — мои добрые старые друзья. Даже когда их нет дома, я чувствую их тепло. На простынях — пятна от спермы и черничного желе. В туалете — "Скаковой листок" и сигаретные бычки. Записки, которые Боб пишет Линде: "Купи курево, машину тебе оставляю, трам-па-ра-рам и трали-вали". Рисунки: "Андреа с любовью маме". Корочки от пиццы. Протираю "Виндексом" их зеркальце для кокаина.

Из всех домов, куда я хожу работать, только этот не сверкает чистотой. Точнее, это натуральный свинарник. Каждую

1. Американская сеть розничной торговли.

среду я, чувствуя себя Сизифом, поднимаюсь по ступенькам в гостиную, которая вечно выглядит так, словно хозяева затевают переезд.

С друзей я имею не очень много: не требую ни почасовой оплаты, ни денег на проезд. И пообедать у них, естественно, всегда нечем. А тружусь в поте лица. Но часто присаживаюсь отдохнуть, задерживаюсь допоздна. Курю и читаю "Нью-Йорк таймс", порнороманы, "Как возвести крышу над патио". А в основном просто смотрю в окно на соседний дом, где раньше жили мы. Рассел-стрит, дом 2129. Смотрю на дерево, на котором растут "деревянные груши". Тер любил стрелять по ним из духовушки. Штакетник и теперь блестит от его стальных шариков. Вывеска БЕКИНС, освещавшая по ночам нашу постель. Я тоскую по Теру и курю. Поездов днем не слышно.

40 ТЕЛЕГРАФ-АВЕНЮ-САНАТОРИЙ "МИЛЛХЕЙВЕН". Четыре старухи в инвалидных креслах смотрят туманным взглядом на улицу. За их спинами, на сестринском посту, красивая чернокожая медсестра танцует под "Я застрелил шерифа"[1]. Музыка кажется громкой даже мне, но старухи — ноль внимания. Под ними, на тротуаре, лежит записка, кривые буквы: ОНКОЛОГИЧ. ИНСТИТУТ, 13.30.

Автобус опаздывает. Мимо проезжают машины. Если в автомобиле богатый, он никогда не смотрит на людей на улице — не смотрит, и всё. А бедный обязательно посмотрит... Вообще-то порой кажется, что бедняки просто катаются по городу, глазея на прохожих. Я сама так делала. Бедняки проводят много времени в ожидании. В очередях за соцпособием и на бирже труда, в прачечных самообслуживания, у телефонных будок, в приемных покоях, в тюрьмах и т. д.

Дожидаясь сорокового, все мы заглядывали в широкое окно под вывеской ПРАЧЕЧНАЯ БАКА И АДДИ. Бак (всегда вспоминаю я со смехом) родился среди бензобаков — на автозаправке в Джорджии. Сейчас, распластавшись на пяти стиральных машинах, он привинчивал к стене у себя над головой гигантский телевизор. Адди развлекала нас смешной пантомимой: показывала знаками, что телевизор обязательно свалится. Прохожие останавливались вместе с нами понаблюдать за Баком. А экран отражал всех нас: совсем как в передаче "Человек с улицы".

Рядом, в ФУШЕ — большие негритянские похороны. Я раньше читала неоновую вывеску агентства ритуальных услуг

1. Известная песня Боба Марли.

как ТУШЕ, и мне неизменно представлялась смерть в маске, а кончик ее рапиры — у моего сердца.

У меня набралось тридцать таблеток: от Джесселов, Бёрнсов, Макинтайров, Хорвицей и Блумов. В каждом доме, где я работаю, колес столько — у одних они возбуждающие, у других успокоительные, — что какого-нибудь "ангела ада" упекли бы за такие запасы на двадцать лет.

18 ПАРК-БУЛЬВАР-МОНКЛЕР. Центральная часть Окленда. Пьяный индеец — он вечно торчит на остановке — уже запомнил меня, каждый раз говорит: "Вот так-то, милка, судьба придет — по рукам свяжет".

На Парк-бульвар — синий автобус полицейского управления нашего графства, на окнах решетки. В автобусе — два десятка арестантов, едут в суд на предъявление обвинения. Мужчины в оранжевых комбинезонах скованы вместе и передвигаются, словно одна артель. И вообще-то с тем же чувством локтя. В автобусе темно. В стекле отражается светофор. Желтый ЖДИТЕ-ЖДИТЕ. Красный СТОЙТЕ-СТОЙТЕ.

Долго, сонно тянется время: до фешенебельных холмов Монклер, затянутых дымкой, час езды. В автобусе одни домработницы. На склоне чуть ниже лютеранской церкви "Сион" — огромный черно-белый указатель БЕРЕГИСЬ КАМНЕПАДА. Каждый раз читаю и каждый раз невольно начинаю смеяться. Другие домработницы и водитель оборачиваются, таращатся на меня. Это уже ритуал. Когда-то я машинально крестилась, проезжая мимо католических церквей. А перестала, наверно, потому, что пассажиры вечно оборачивались и таращились. Но "Радуйся, Мария" я до сих пор машинально читаю, про себя, когда слышу сирены "скорых". И это доставляет мне большие неудобства, потому что в Окленде я живу на Пилл-хилл, вблизи трех больниц.

У подножия холмов Монклер женщины на "тойотах" ждут приезжающих на автобусе домработниц. Меня всегда подвозят до верхнего конца Снейк-роуд: я сажусь вместе с Мейми к ее хозяйке, и та говорит: "Ой, Мейми, какая вы красотка в этом мелированном парике, а я прямо от мольберта, черт-те в чем". Мы с Мейми закуриваем.

Голос женщины всегда повышается на две октавы, когда она разговаривает с домработницей или кошкой.

(Домработницы! Кстати, о кошках... Никогда не ласкайте кошек, не разрешайте им играть с шваброй и тряпками. Дамы станут ревновать. Но никогда не спихивайте кошек со стульев. А вот собак всегда ласкайте и, когда приходите в дом впервые, пять-десять минут гладьте Чероки или Лапку. И не

забывайте закрывать унитазы крышками. Пушистые, слюнявые толстомордики.)

Блумы. Самый странный дом из тех, где я работаю, единственный красивый дом. И он, и она — психиатры. Семейные психотерапевты. У них двое усыновленных "дошкольников".

(В домах, где есть "дошкольники", лучше не работать. Младенцы — прелесть. На них можно смотреть часами, их можно укачивать на руках. Но детки чуть старше — это рев, засохшие комки каши, затвердевшие неожиданности, по которым потоптались тапочки в виде песика Снупи.)

(У психиатров тоже не надо работать. Спятишь. Я сама могла бы дать им пару советов... Мужские туфли для увеличения роста — ну-ну...)

Доктор Блум (он, а не она) снова сидит дома, болеет. Он еще и астматик, в довершение всего. Стоит вот в халате, мешает мне, почесывает шлепанцем свою бледную волосатую ногу.

"О-го-го-го, миссис Робинсон"[1]. У него стереосистема за две тысячи долларов и пять пластинок. Саймон и Гарфанкел, Джони Митчел и три альбома "Битлз".

Стоит в дверях кухни, чешет другую ногу. Когда я, орудуя шваброй, рисую на полу "Мистером Мускулом" сладострастные разводы — от доктора Блума до обеденной зоны, — спрашивает, почему я выбрала такую работу.

— Сдается мне, то ли от чувства вины, то ли со зла, — говорю нараспев.

— Можно, я заварю себе чаю, когда высохнет пол?

— Будет вам, идите присядьте. Я принесу чай. С сахаром или с медом?

— С медом. Если это не слишком затруднительно. И с лимоном, если...

— Идите, присядьте.

Несу ему чай.

Однажды я вздумала подарить четырехлетней Наташе черную кофточку с блестками. Для игр в принцесс. Доктор Блум (она, а не он) раскипятилась, завопила: "Это же разврат". Сначала я поняла ее слова так, будто она обвиняет меня в попытке совратить Наташу. Она выкинула кофточку в мусорный бак. А я, когда отработала, вытащила из бака и унесла, и теперь иногда надеваю, когда играю в принцессу.

(Домработницы! На своем пути вы повстречаете много эмансипированных женщин. Первая стадия — группа жен-

1. "Миссис Робинсон" — песня популярного дуэта "Саймон и Гарфанкел" из кинофильма "Выпускник" (1967).

ской солидарности; вторая стадия — наём домработницы; третья — развод.)

Таблеток у Блумов — полным-полно, прямо как из рога изобилия. Ее тонизирующие и его успокоительные. У него есть таблетки “белладонна”. Не знаю уж, как они действуют, но жаль, что меня зовут не Белладонна.

Однажды утром я подслушала, как он сказал ей за завтраком: “Давай сегодня сделаем что-нибудь спонтанное: пойдем с детьми запускать воздушного змея!”

Растрогал меня до глубины души. Сердце советовало мне немедленно встрять в их разговор, наподобие домработницы из комиксов на последней странице “Сатердей ивнинг пост”. Я умею делать отличных змеев и знаю хорошие места в Тилдене: вот где ветер. В Монклере ветра нет. Но моя рука включила пылесос, чтобы заглушить ответ его супруги. На улице лило как из ведра.

В игровой комнате тарарам. Спрашиваю Наташу: “Вы с Тоддом правда играете во все эти игрушки?” Она говорит, что по понедельникам они с Тоддом, как только встанут, вываливают игрушки на пол, потому что в этот день приду я. “Веди сюда брата”, — говорю.

Только я их впрягла в работу, заходит доктор Блум. Она, не он. Читает мне нотацию: не надо, мол, вмешиваться, она, мол, не желает “грузить детей комплексами вины и долга”. Стою, слушаю надувшись. Она умолкает, а потом добавляет: разморозьте, мол, холодильник и протрите его нашатырем, а потом — ванильным экстрактом.

Нашатырь и ванильный экстракт? Всю ненависть с меня как рукой сняло. Вроде бы мелочь, но я поняла, что ей искренне хочется иметь уютный дом и не хочется, чтобы ее детей грузили комплексами вины и долга. Потом я выпила стакан молока, от которого пахло нашатырем и ванилью.

40 ТЕЛЕГРАФ-АВЕНЮ-БЕРКЛИ. ПРАЧЕЧНАЯ БАКА И АДДИ. Адди сейчас одна в прачечной, моет огромное окно. Позади нее, на одной из стиральных машин, лежит гигантская рыбья голова в целлофановом пакете. Глаза невидящие, сонные. Это им приятель — Уокер его зовут — приносит головы на бульон. Адди рисует на стекле здоровенные мыльные круги. На той стороне улицы, в детском саду Святого Луки, маленький мальчик решает, что она ему машет. И тоже машет, описывая рукой такие же громадные круги. Адди замирает, улыбается, машет ему по-настоящему. Подходит мой автобус. В гору по Телеграф-авеню, в сторону Беркли. САЛОН КРАСОТЫ “ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА”, в витрине — звезда из фольги, прикрепленная к мухобойке.

Рядом — ортопедические товары: две умоляющих руки и одна нога.

Тер отказывался ездить на автобусах. Люди нагоняли на него тоску: просто сидят, и все. Но автовокзалы ему нравились. Мы часто ходили на автовокзалы в Сан-Франциско и Окленде. Чаще в Окленде, на Сан-Пабло-авеню. Однажды он сказал, что любит меня за то, что я похожа на Сан-Пабло-авеню.

А он был похож на свалку в Беркли. Жаль, что до свалки не ходит автобус. Мы туда ездили, когда скучали по Нью-Мексико. Там голо и ветрено, и чайки парят, как в пустыне козодои. В какую сторону ни глянь, везде только небо. По дорогам, поднимая лавины пыли, громыхают мусоровозы. Серые динозавры.

Тер, я не могу вытерпеть твою смерть. Но ты и сам знаешь.

Как тогда, в аэропорту, когда ты собирался подняться на трап, похожий на гусеницу. Ты улетал в Альбукерке:

“О черт, как я могу уехать? Ты ни за что не найдешь, где я оставил машину”.

“Что ты только станешь делать без меня, Мэгги?” — спрашивал ты снова и снова в другой раз, когда летел в Лондон.

“Макраме плести, шпаненок”.

“Что ты только станешь делать без меня, Мэгги?”

“Ты правда думаешь, что я без тебя — как без рук?”

“Да”, — сказал ты. В Небраске говорят просто.

Друзья говорят, что я потонула в угрызениях совести и жалости к себе, бедная я, бедная. Говорят, что я теперь смотрю — и никого не вижу. А когда улыбаюсь, рука машинально вскидывается прикрыть рот.

Я коплю снотворное. Когда-то мы уговорились... если к 1976 году у нас ничего не наладится, мы устроим дуэль на конце пирса в яхт-клубе. Ты мне не доверял, сказал, что я пристрелю тебя первая и убегу, или застрелюсь первая — мне без разницы. Я устала жить с этим уговором, Тер.

58 КОЛЛЕДЖ-АЛАМЕДА. Старые дамы из Окленда ездят за покупками в универмаг “Хинкс” в Беркли. А старые дамы из Беркли — в универмаг “Кэпвеллс” в Окленде. В этом автобусе все молодые — чернокожие, а все пожилые — белые. Этот принцип распространяется и на водителей. Пожилые белые водители автобусов нервничают и злобствуют, особенно когда приближаются к Оклендскому техническому колледжу. То и дело бьют по тормозам, орут, чтобы пассажиры не курили, чтобы не включали транзисторы. Автобусы дергаются, останавливаются с грохотом, толкая белых старушек на стойки. На руках старушек мгновенно появляются синяки.

Молодые чернокожие водители ездят быстро, на Плезант-Вэлли-роуд стараются проскочить на "желтый". В их автобусах — хоть топор вешай: музыка да дым, но ход плавный.

Сегодня мне к миссис Бёрк. От нее тоже надо бы уйти. Ничего вообще не меняется. Ничего никогда не пачкается. Не возьму в толк, зачем я вообще к ней хожу. Но сегодня мне стало поспокойнее. По крайней мере, я догадалась, зачем им тридцать бутылок розового вина "Лансерс". Еще в прошлый раз была тридцать одна. По-видимому, вчера у них была годовщина свадьбы. В его пепельнице — два окурка (а не только его единственный), на столе — один бокал (она трезвенница) и давешняя новая бутылка розового. Призы из боулинга чуточку сдвинуты в сторону. Наша совместная жизнь.

Миссис Бёрк многому меня научила в плане домоводства. Туалетную бумагу вешайте так, чтобы она разматывалась сверху, а не снизу. На крышке "Комет" прокалывайте не шесть дырочек, а три. Раскиданное ворохами не соберешь крохами. Однажды, в порыве бунтарства, я содрала крышку целиком и случайно выплеснула всю бутылку "Комет" в духовку. Это был ужас.

(Домработницы: покажите им свое усердие. В первый день отодвиньте всю мебель, а обратно поставьте не так, как положено: на пять-десять дюймов дальше, чем нужно, или задом наперед. Когда вытираете пыль, поменяйте местами сиамских кошечек, поставьте сливочник слева от сахарницы. Зубные щетки перемешайте, как вздумается.)

По этой части я сама себя перещеголяла, когда прибралась на холодильнике у миссис Бёрк. Она всевидящая, но, если бы я не оставила включенным светильник над холодильником, она бы не заметила, что я отдраила и смазала вафельницу, фарфоровую гейшу подклеила, а заодно вымыла абажур светильника.

Когда вы все делаете не так, это не только доказательство вашей тщательности: вы даете хозяйке возможность самоутвердиться, покомандовать. Почти всем американкам крайне неловко сознавать, что у них есть прислуга. Пока вы находитесь в их доме, они не знают, куда себя деть. Миссис Бёрк, например, перепроверяет список тех, кому надо отослать рождественские открытки, и разглаживает прошлогоднюю оберточную бумагу для подарков. В августе, ага.

По возможности идите работать к еврейкам или черным. Вас накормят обедом. Но главное, что еврейки и черные уважают труд, ваш труд, а еще им ни капельки не стыдно весь день сидеть сложа руки. Они же вас наняли, верно?

Женщины из "Ордена восточной звезды"[1] – совсем другие. Чтобы их не замучила совесть, всегда старайтесь делать то, чего они сами ни за что бы не сделали. Взгромоздиться на плиту, чтобы смыть с потолка пятна от "кока-колы". Запереться в стеклянной душевой кабине. Придвинуть к двери всю мебель, в том числе рояль. Они этого никогда не сделают – и вдобавок не смогут войти.

Слава Богу, всегда есть хоть одна телепередача, без которой они жить не могут. Я на полчаса включаю пылесос (его шум действует успокаивающе) и ложусь на пол под роялем, на всякий случай сжимая в руке одноразовую тряпку "Антипыль". Просто лежу, мурлычу что-нибудь под нос и размышляю. Я отказалась пойти на опознание твоего тела, Тер, нажила себе из-за этого кучу хлопот. Я боялась, что дам тебе в морду за то, что ты натворил. За то, что ты умер.

В последнюю очередь вытираю рояль Бёрков. Плохо то, что на нем всегда стоят одни и те же ноты – "Гимн морской пехоты". Каждый раз иду на автобус и невольно марширую: "От чертогов Монтесу-у-умы..."[2].

58 КОЛЛЕДЖ-БЕРКЛИ. Водитель – злющий пожилой белый. Дождь, поздний час, толчея, холод. Рождество – неудачное время для автобусных поездок. Удолбанная хипушка визжит: "Выпустите меня отсюда, козлы, дайте мне сойти!" – "Ждите остановки!" – рявкнул водитель. Толстуху-домработницу на переднем сиденье тошнит: мне – на один сапог, другим – на галоши. Волна смрада, несколько человек – и толстуха тоже – сходят на следующей остановке. Водитель заезжает на бензоколонку "Арко" на Алькатрас-стрит, достает шланг, принимается мыть салон. Но, конечно, только воды напустил – и она скапливается в хвосте, только размочил все еще хуже. Раскрасневшись со зла, проскочил на следующем перекрестке на "красный"; всеми нашими жизнями рискнул, сказал мужчина рядом со мной.

На остановке "Оклендский технический колледж" – два десятка студентов с транзисторами. Первый в очереди – немощный инвалид. Рядом с колледжем находится управление соцзащиты. Когда инвалид еле-еле забрался в автобус, водитель воскликнул: "Да что ж это такое!" – а тот посмотрел удивленно.

1. Парамасонская организация, куда принимают и мужчин, и женщин. Создана в 1850 г., основана на Библии, но открыта для представителей всех конфессий.
2. Подразумевается победа американских войск над мексиканскими в сражении при Чапультепеке (1847).

Снова к Бёркам. Никаких перемен. В доме десять электрических будильников, и все показывают одно и то же время, правильное. В тот день, когда я от Бёрков окончательно уйду, повыдергаю все вилки из розеток.

От миссис Джессел я все-таки ушла. Она неизменно расплачивалась со мной чеками, а однажды позвонила домой четыре раза за вечер. Я позвонила ее мужу и сказала, что у меня мононуклеоз. Она позабыла, что я ушла, вчера вечером позвонила и спросила, не показалось ли мне, что у нее цвет лица стал более бледным. Я по ней скучаю.

Сегодня я иду к новой даме. К настоящей даме. У таких дам не то что "домработницей" или "помощницей", а даже "горничной девушкой" называться не зазорно.

Миссис Джохансен — шведка. По-английски говорит совсем как филиппинки — то и дело вворачивает простонародные словечки.

Первое, что она мне сказала, открыв дверь:

— Вот те на!

— Ой. Я слишком рано?

— Нет-нет, дорогая.

Она царственная. В свои восемьдесят — вылитая Гленда Джексон[1]. Я готова ноги ей мыть. (Видите, я уже заговорила, как она.) С порога упала ей в ноги.

Прямо в прихожей, еще до того, как я успела снять свою куртку (куртку Тера), она рассказывает мне про главное событие своей жизни.

Шесть месяцев назад умер Джон, ее муж. Она обнаружила: самое трудное — заснуть. И стала собирать пазлы. (Указывает рукой на ломберный столик в гостиной с почти готовой панорамой Монтичелло[2]: только в верхнем ряду справа зияет дыра, похожая на амебу.)

Как-то вечером она так заморочилась с пазлом, что не легла спать. Забыла про сон, просто забыла! И про еду тоже, кстати. В восемь утра съела свой ужин. Потом прилегла, в два часа проснулась, и тогда же, в два часа пополудни, позавтракала, а потом пошла в магазин за следующим пазлом.

"А ведь пока Джон был жив... В шесть завтрак, в двенадцать обед, в шесть ужин. Совсем другие были времена — зуб даю, другие".

— Нет, дорогая, вы пришли вовремя, — сказала она. — Просто я могу в любую минуту завалиться спать.

1. Английская актриса (р. 1936).
2. Музей-усадьба Томаса Джефферсона в штате Виргиния.

Я стояла, замерев, чувствуя, как мне жарко, глядя в сияющие сонные глаза моей новой хозяйки, ожидая, что она с минуты на минуту начнет твердить: “Ворон каркнул: ‘Никогда’”.

Вымыть окна да пропылесосить ковер — вот все, что я должна сделать. Но до ковра найти деталь пазла. Небо с кленовой веткой. Она точно знает, какой детали не хватает.

Стоять на балконе и заниматься мытьем окон было приятно. Холодновато, но солнце греет спину. Хозяйка сидит над пазлом в комнате. Самозабвенно погрузилась в свое занятие, но все равно держит позу. Наверно, когда-то была настоящей красавицей.

Покончив с окнами, принимаюсь искать деталь. Прочесываю, дюйм за дюймом, зеленый ковер с длинным ворсом: крошки от галет, резинки от номеров “Кроникл”. Наслаждаюсь: такой хорошей работы у меня еще никогда не бывало. Хозяйке совершенно “по барабану”, курю я или не курю, так что я ползаю с сигаретой в зубах, переставляя пепельницу с места на место.

Нахожу деталь. Далеко же она отлетела от ломберного столика, в другой угол. На детали — небо и кленовая ветка.

— Я ее нашла! — закричала она. — Я знала, что ее не хватает!

— Это я нашла! — закричала я.

Теперь можно было пылесосить, что я и сделала, а она со вздохом вставила на место последнюю деталь пазла. Прощаясь, я спросила:

— Как вы думаете, когда я вам снова понадоблюсь?

— Как знать! — сказала она.

— Ну-у... Флаг вам в руки, — сказала я, и мы обе рассмеялись.

Тер, мне совершенно не хочется умирать, правда-правда.

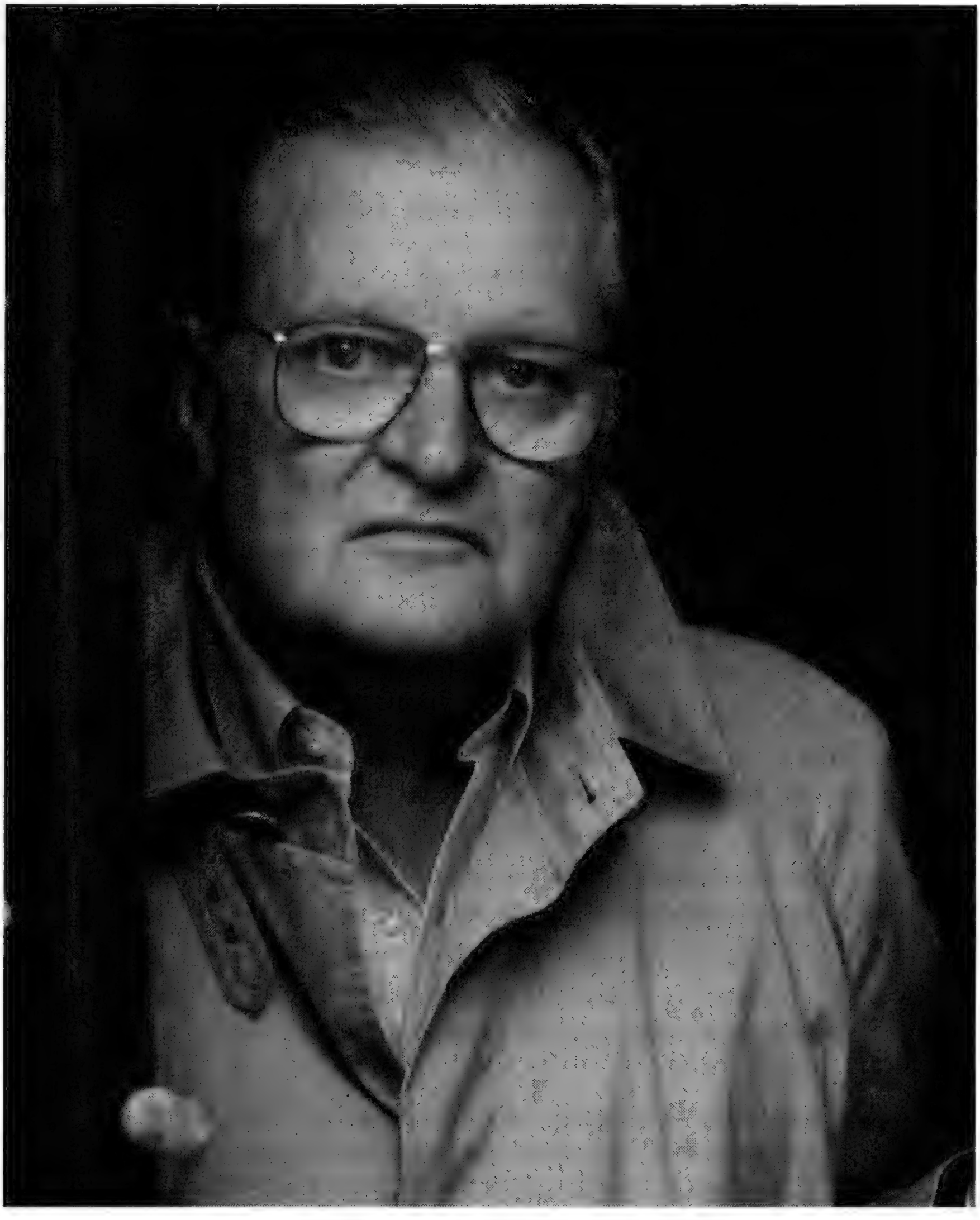
40 ТЕЛЕГРАФ-АВЕНЮ-КОЛЬЦЕВОЙ. Автобусная остановка около БАК И АДДИ. В прачечной толчея: люди ждут, пока освободится машина, но настроение у них праздничное — словно столика дожидаются в ресторане. Стоят у окна, болтают, пьют “Спрайт” из зеленых банок. Бак и Адди снуют в толпе, точно радушные хозяева на вечеринке, разменивают деньги. В телевизоре оркестр штата Огайо играет государственный гимн. В Мичигане кружится снег.

Январский день, холодный и безоблачный. На Двадцать девятую сворачивают четверо велосипедистов — все с бакенбардами, их цепочка — вылитый хвост воздушного змея. У автобусной остановки стоит, тарахтя мотором, “харлей”, и его седоку с дредами машут ребятишки из кузова “доджа” 50-х годов. И только теперь я начинаю плакать.

# Джон Эшбери
## *Стихи*

*Перевод* Яна Пробштейна,
Антона Нестерова

*Вступление* Яна Пробштейна



© John Ashbery, 2017
© Ян Пробштейн. Перевод, вступление, 2017
© Антон Нестеров. Перевод, 2017

Первую книгу ("Некоторые деревья" — "Some Trees") Джона Эшбери, родившегося в 1927 году, ныне "живого классика" не только американской, но и всей англоязычной, если не мировой, поэзии, отобрал Уистен Хью Оден в 1956 году как лучшую для серии "Молодые Йейльские поэты" (своего рода премия "Дебют").

Первое стихотворение Эшбери в этой подборке — из первой книги, а последнее, датированное 2014 годом, было недавно опубликовано в журнале "Нью-Йоркер".

И в жизни, и в творчестве Эшбери меньше всего производит впечатление "живого классика", мэтра. Скорее наоборот: Эшбери, которому в 2017 году исполняется 90 лет, постоянно ищет, постоянно во всем сомневается настолько, что неуверенность как бы возводит в принцип. Неуверенность Эшбери в каком-то смысле сродни тютчевской: "Мысль изреченная есть ложь". Эшбери считает, что истинное понимание и духовное общение в наш век технического прогресса и шквала информации невозможно, нельзя ничего утверждать, в слове невозможно выразить ни мысль, ни образ. "Слова — спекуляция только / (От латинского "speculum" — зеркало): / Они ищут и не могут найти значения музыки", — говорится в поэме "Автопортрет в выпуклом зеркале". "Эшбери утверждает, что ничего нельзя утверждать, — пишет профессор Хэрриет Зиннс, которая прослеживает влияние дзэн-буддистской философии на творчество Эшбери. — Он не пытается называть, именовать. 'Невозможно дать имя тому, что ты делаешь... «Истинное» не имеет ни цвета, ни признаков'[1], — вновь и вновь повторяет Эшбери".

Пожалуй, ни об одном из поэтов столько не спорили, сколько о творчестве Джона Эшбери. Каждая новая книга вызывала поток противоречивых рецензий. Мнения расходились диаметрально — от восторженного до полного неприятия, обвинений в солипсизме, герметизме, эклектике, эстетизме, стремлении за красноречием и виртуозностью скрыть пустоту. Установив генетическое родство Эшбери с его старшим современником Уоллесом Стивенсом, представителем метафизического направления, противники Эшбери, являющиеся в то же время почитателями Стивенса, не понимают и не принимают постмодернистского скепсиса, даже безысходности современного поэта. Если Стивенс, видя все противоречия жизни и современного ему американского общества, не отделял, тем не менее, себя от общества, а искусство — от жизни, искал пути преодоления этих противоречий, то Эшбери заявляет о том, что противоречия эти непреодолимы, общество глухо и слепо к искусству, а человек — к человеку. При этом и почитатели, и противники отдают дань его мастерству, виртуозному владению словом. Даже в больших поэмах Эшбери редко повторяет одно и то же слово. Эшбери — один из немногих, по мнению профессора Гарварда Хелен Вендлер, кто сумел в своем поэтическом словаре органично слить архаику, язык Шекспира, Эндрю Мар-

1. Harriet Zinnes. John Ashbery: The Way Time Feels As It Passes. // The Hollins Critic XXIX. 3 (June 1992). — P. 4.

велла, английских поэтов-метафизиков и современный американский сленг, язык средств массовой информации, рекламы, включая вирши, украшающие общественный транспорт, и рекламные песенки, исполняемые по радио и телевидению, технические термины и непристойности.

"Главная тема Эшбери — это время и его движение, он пишет хронику постоянных приливов и отливов времени с импрессионистической подробностью, запечатлевая вызванные ими мгновенные сдвиги в эмоциональном климате, "приходы и уходы", человеческие "бормотанья, всплески", встречающиеся на их пути"[1] — пишет Мичико Какутани в "Нью-Йорк таймс". Время для Эшбери — эмульсия. В стихотворении, название которого состоит из усеченной пословицы, соответствующей русской "Больше дела" (Меньше слов) или "Словами делу" (не поможешь), Эшбери пишет: "...И может, стремленье не взрослеть и есть / Ярчайший род зрелости для нас / Сейчас по крайней мере..."

Социальная неуверенность и неверие в человеческое понимание взаимосвязаны. Отсюда и стремление не взрослеть, сохранить детскость, быть непохожим на других. На первый взгляд кажется парадоксальным, что в творчестве Эшбери, человека вполне благополучного, так сильны мотивы неустроенности, даже некоторого изгойства:

> Едва терпели нас, живших на отшибе
> Технологического общества, всегда нас приходилось
> Спасать от гибели, как героинь "Неистового Роланда",
> Чтобы потом все повторилось снова.
>
> *Словами делу*

Помимо философского этому есть и социальное объяснение: в прагматическом индустриальном обществе, особенно в Америке, интеллектуалы, не производящие материальных благ, действительно в некотором смысле изгои, пока не приобретут известность и не станут знамениты. Есть и причины психологические: от природы Эшбери человек весьма сдержанный, даже замкнутый. В разговоре скуп на слова. Он и сам это признает: "Люди 60-х были открыты, люди 70-х погружены в себя". Люди 60-х — это Джек Керуак, Ален Гинзберг, Лоуренс Ферлингетти, представители поколения "битников". Эшбери родился в 1927 году, но себя к этому поколению не причисляет. Постмодернистом он себя тоже не считает: "Я пишу стихи уже более 50 лет. Начинал как раз во времена модернизма. Всегда старался писать нетрадиционно, но разницу между модернизмом и постмодернизмом не очень понимаю..."

Несмотря на то что французские сюрреалисты оказали на него известное влияние, Эшбери не удовлетворяло, что сосредотачивались они лишь на бессознательном. В эссе, посвященном поэту Давиду Шуберту, он пишет, что

1. Michiko Kakutani. With Poetic Licence. A review of Selected Poems hy John Ashbery. // The New York Times, 7 Dec., 1985, Sec. – C. 18.

"сюрреализм, ограничив себя бессознательным, никогда не может точно описать опыт, в котором как бессознательное, так и сознательное, играют важную роль". Как пишут редакторы-составители книги "Американская поэтика XX века. Поэты об искусстве поэзии", "в своей поэзии Эшбери пытается воссоздать взаимосвязь сознательного и бессознательного, взаимопроникновение их, чтобы показать, как разум отражает как себя самоё, так и события окружающей жизни, нередко неожиданные". "Моя поэзия фрагментарна, но такова и сама жизнь", — говорит Эшбери[1]. Сюрреализм помогает Эшбери "остранить" реальность и таким образом подчеркнуть ее необычность, а нередко и абсурдность происходящего.

Фрагментарность и разорванность ассоциаций у Эшбери выражаются в языковой игре, подчеркивающей полисемию и, стало быть, смысловую многозначность, что выводит стихотворение на уровень, так сказать, новой реальности. Очевидно, что представители языковой поэзии (Language school) почерпнули этот прием у Эшбери и по своему развили его:

> Это стихотворение связано с языком на самом простом уровне.
> Посмотри, как оно говорит с тобой. Ты смотришь на вид из окна
> Или делаешь вид, что беспокоишься. Ты уловил его, но не словил.
> Ты пропустил его, вы разминулись. Вам не хватает друг друга.
>
> *Парадоксы и оксюмороны*, Из книги *Призрачный поезд*, 1984

В лекции "Невидимый авангард", прочитанной на художественном факультете Йейльского университета в мае 1968 года, Эшбери говорил о новаторстве в живописи, делая экскурсы в музыку и поэзию. Говорил не только о том, как новаторы "проходят путь от непризнания к признанию", но и о том, как новаторы становятся консерваторами, приводя в пример "молчание" Марселя Дюшана. Говорил об авангарде, ставшем традицией, которая перестала быть таковой, "иными словами, поглотила индивидуальный талант"[2]. В своем стремлении экспериментировать авангард безрассуден, иногда, как в случае де Кирико, даже в ущерб собственному искусству. Интересно, что свою лекцию Эшбери заключил цитатой из книги "Суть музыки" Бузони, который не признавал ни авангардиста Шёнберга, ни традиционалиста Регера. Бузони призывал своих учеников оставаться верными себе, развиваться, расти и смотреть в будущее[3]. Когда Уильям Паккард в интервью для "Нью-Йорк куотерли" напомнил Эшбери его собственную мысль о безрассудстве авангарда, поэт ответил: "Полагаю, что я довольно безрассуден в своей поэзии в целом; полагаю, что для многих вопрос, поэзия ли это вообще, остается открытым, и для меня это тоже во-

1. Dana Gioia. David Mason and Meg Schoerke with D. C. Stone. Twentieth Century American Poetics. Poets on the Art of Poetry. — New York: McGraw Hill, 2004. — P. 285.
2. John Ashbery. The Invisible Avant-Garde. Цит. по Gioia, Dana et al. 290.
3. Ibid., 291.

прос. И я не могу быть уверенным, что поступаю правильно, когда пишу в такой манере, что для меня, тем не менее, является единственно верным способом письма"[1].



## Из книги "Некоторые деревья" (1956)

### Некоторые деревья

Они повергли в изумленье,
Как застывшее представленье,
Словно соседей случайная встреча
С декламацией-речью,

Словно мир в согласье с собой
Пришел – и со мной и с тобой,
Точно выстроившись в ряд,
Деревья нам сказать хотят,

Что мы есть,
И важно, что они здесь,
И вскоре мы, может статься,
Сможем любить, объясняться, касаться.

Мы рады, что пригожесть в округе
Не выдумали: шум и звуки
Заполнили тишину, на холсте этом
Загадочным движущимся светом

Хор улыбок и зимнее утро объяты.
Но такой сдержанностью сжаты
Наши дни, что кажутся все акценты
Смещены для самозащиты.

## Из книги "Призрачный поезд"

### Парадоксы и оксюмороны

Это стихотворение связано с языком на самом
простом уровне.
Посмотри, как оно говорит с тобой. Ты смотришь на
вид из окна

1. William Packard. Craft Interview with John Ashbery // The Craft of Poetry / William Packard (Ed.) Garden City. – NY: Doubleday, 1974. – P. 128.

Или делаешь вид, что беспокоишься. Ты уловил его,
но не словил.
Ты пропустил его, вы разминулись. Вам не хватает
друг друга.

Стих грустит потому, что хочет принадлежать тебе и
не может.
Что такое простота? Это и то и другое.
Все взаимосвязано игрой. Игрой?
Ну, на самом деле, да, но я рассматриваю игру

Как более глубинную внешнюю вещь,
пригрезившуюся ролевую модель,
Как в разделении милости в эти долгие августовские
дни,
Без доказательств. Открыт. И пока познаешь его,
Стих затеряется в горячке и щелканье пишущих
машинок.

Он сыгран еще раз. Думаю, ты здесь лишь для того,
Чтобы дразня меня, заставить делать, что хочется
тебе, а потом ретироваться,
Или ты изменил отношение. А стихотворение
Мягко усадило меня рядом с тобой. Стихотворение —
это ты.

## *Из книги "Апрельские галеоны"*

### *Успокоившись в странных водах*

В присутствии друг друга, каждый ошибочно
Принимал искренность другого за изощренность.
Быть может, и в самом деле случилось что-то в этом
роде — кто знает?
Была некая враждебность, враждебность
В том, как они говорили друг с другом,
Пока опускались капли теплого алкоголя.

В чувственной гримасе неба, безумная доброта
Статуй, клочья листьев носятся на ветру
С важностью, хотя зима уже в разгаре;
Закрытых приветствий, твердых рукопожатий
Было достаточно для пары сновидений,
Даже скверных, но, несомненно, некоторые
мрачнеют
По краям. Мы улыбаемся им, полагая,

Что они имеют значенье для выспреннего рассказа
Ребенка о том, что происходит по утрам,
Когда все кроме кошки ушли. Но можешь ли ты
Взглянуть иначе? О восторженный
Получатель того, что следует получить,
Как втемяшить тебе, что намного лучше
Ждать и подготовить наше ожиданье
К великой гонке, масса деталей которой
Еще спрессована в будущем восторге,
Как японский бумажный цветок.

## Из книги “Поставьте здесь свое имя”

### Поставьте здесь свое имя

Но как же я могу быть в этом баре и в то же время
отшельником?
Колония муравьев маршировала мне навстречу,
растянувшись вдаль, где они были малы, как муравьи.
Их вожак держал прутик величиной с тополь.
Он несомненно предназначался мне.
Но он не мог этого сказать с тополем, зажатым в
жвалах.
Ладно, забудем об этом пейзаже и обратимся к
Парижу.
Муравьи шагают по Champs-Elysées
в снегу, по двое и по трое, разговаривая,
являя общительность, о которой никто и не
подозревал.
Самые крупные уже почти дошли до аллегорических
статуй
французских городов (так ли?) на Площади Согласия.
“Видишь ли, я говорила тебе, что он будет метать
громы и молнии.
Сейчас он просто сидит в своей мансарде
и заказывает обильные блюда из ресторана
поблизости,
словно Бог хотел, чтобы он помалкивал”.
“А ты похожа на портрет мадам де Сталь Овербека,
то есть слегка серьезна и размыта.
Запомни, что можешь прийти ко мне в любое время
поделиться всем, что тебя тревожит, только не
проси денег.
Днем и ночью мой дом и кров открыты для тебя,
как ты прелестна”.

Бар неожиданно оказался уютным.
Я намеревался остаться. В нем был будильник.
Посетителей приглашали угадать время (будильник
всегда ошибался).
Нахлынула толпа более жизнерадостных граждан,
распевающих “Марсельезу”,
поздравляющих друг друга невесть с чем, с цветом
носок, и отпивая из общего графина.
“Я так люблю, когда он такой,
что случается в середине августа, когда лето
приближается
к концу, а искорка осени — лишь в уголках его глаз,
прогноз хроники изморози“.
“Да, и он собирался скупить все шоколадки из
автомата,
но что-то произошло, стены обрушились (кто знал,
что река поднимется столь стремительно?) и одного
за другим смывало людей,
ласково называвших друг друга, используя клички
домашних животных”.
“Ахилл, познакомься с Ангусом”. Потом все так
быстро произошло, мне
кажется, я не знал, куда мы все двигались, куда нас
вела
мостовая.

Все было очень тихо в oubliette[1].
Я все еще читаю “Жан-Кристоф”. Никогда не
дочитаю чортову книжку.
Теперь пора тебе выйти на свет
и поздравить всех, кто остался в этом городе. Людей,
выживших
после затмения. Но я полностью пленен тобой,
всегда был.
Зажги свечку в моем венке. Буду твоим навсегда и
поцелую тебя.

*Перевод* Яна Пробштейна

1. Потайная подземная темница с люком (*франц.*). (*Прим. перев.*)

# *Из книги* “*Мирская страна*”

## *Вызывающее поведение*

На мгновение: мы успели поймать
дух того, что уходит. Успели все это
запомнить. Паутинки над взморьем,
по ветру. Девчушка, отваги полна,
говорила где облак, а где паутина — все это загадочно
и субъективно. Позже паутинки всплывали,
как саван, над цементными снами, где жизнь и такси.
Что ж, вполне ожидаемо, так и бывает
с тем, что себя исчерпало, а после —
вернулось, как память. А лучшего
мы не видали. Слишком быстро июль миновал.

Но дело не в этом, пускай
начинали круги мы чертить и бросали
на полпути, порой ближе к концу, — тут важнее свеча
на чердаке, с ее руганью тихой
на погоду, пожарные рвы. Представьте кино —
слепок с чьей-то жизни, длиною с нее, та же скука,
и вам в нем играть, в эпизоде: роль очень важна,
может статься, важней даже, чем у героя.
Да и как ты расскажешь о фильме, когда половина
прошла? Словно в тундре, пастелью набросанной, —
всюду толпа, будто мандала, —
маленькой девочке здесь не пробиться.
Она с нами играет, участница пышных процессий, но
кто-то —
кто-то отсутствует: тема вины. И погода —
что с нею поделать? Все — поздно. И вепря глава
над камином таращится злобно, в одиночестве:
глазки, налитые кровью, ведь все миновало — без
толку.

Слишком поздно уже — для гусар и фигуры на заднем
плане, склоненной в поклоне: по молодости я
думал,
будто это какой-то волшебник, а может быть,
знахарь из далекой столицы. Теперь я ни в чем не
уверен.

## *Черный принц*

То ли листья шуршат под ногами в лесу,
То ли пришло письмо от Мышиного короля,
Без даты: выдвигайся обратно к границе, все
прощено.

И он пропал: берег острова, из тех, что нет
на карте, невнятное бормотание. Речь становилась
пронзительно
ясной, если верить жестикуляции. Но это — когда
ветер сносил вбок
слова, так что сказанное теряло всякий смысл, для
кого-то столь важный.

Может, это отпечатки следов в лесу
или давняя депеша Мышиного Короля,
говорящая: вернись на межу, все прощу.

*Перевод* Антона Нестерова

# *Из книги* "Быстрый вопрос"

## *Краткий ответ*

Я вынужден ходить во сне большую часть времени.
Мы держимся этих старых путей, иногда доводят они
до беды, а потом и гейзер пропал,
временем пожран. В нем самом не так уж
силен рев, сила ломит силу, наверстав
во времени, что потеряно в скорости.
Водопады, каньон, царское я-же-тебе-говорил,
возвращаясь, приветствует нас в начале.
Как твое путешествие? О, оно было недолгим,
видишь ли, сложено, словно края
мечты о вещи в себе. Ну и к чему
мы пришли? К прошлому, толщиной
с бумажный лист, а жаль. Мы изрыгаем
старые гимны и то, что прошло, но зачем
этим жить. Зачем усложнять то,
что и так сложно? Если оно скучно,
но иначе, все же интересно тоже.
Об этом и речь.

Вот негодяй, перепрыгнул через забор.
Теперь вытираю пенсне. Ты слышал что-то
о том, кто сказал, что вернется, когда все
закончится?
Он избегает меня даже в моих снах. То время было
особенно многообещающим, как нам казалось. Но
солнце
скрылось, и вновь идет дождь. Точно как в дне
из компендиума. Я за тебя поручусь,
и мы пойдем крутить, как будто ничего не взошло
и горизонт леса смотрит на нас. Проповедник
встряхнул головой, евангелист балансирует двумя
катушками
на конце самодельной веревочки. Мы слишком
далеко зашли.
Вернемся через денек-другой.

## *Из новых стихотворений*

### П*ироговый округ*

Вот что нам нужно сделать
в определенный момент (дождись его,
эффенди): изучи дешевые подделки
сомнительного происхождения. Готовы ли мы
приступить?

Четыре отрицания дают утверждение. Я даже стал
членом горсовета.
Последовало море внимания и круглые пятерки,
но я был так удручен, корабельной собачонке
так казалось, по крайней мере. Она
резво вилась вокруг.

Это они могут заставить
человека достичь результатов, подчищать
за ним. Увидим, кто скоро достигнет финиша
в шоке.

Ничего не могло не понравиться
в новой системе самоконтроля, но странно,
что пироговый округ проголосовал против нее.

Однако я, хранитель невозмутимости, развернул
шарниры на 180 градусов. Гармоника
хранит свой глупый эликсир
под замком в темной глубине.

Спасибо, кстати.

Я видел, как дочь его короля и иллюстратора,
Миссиз Уолтер Х. Браун, промелькнула за кустами,
блестевшими росой, словно в ином времени.
Лизи! Лизи Браун! Я заикался. Но она не обращала
никакого внимания на меня или сотню с лишком
других гостей,
собравшихся на лужайке приветствовать весну.
Это — зловеще.
Но все ж мне удалось словить ртом воздух
И еще оставить добавку на завтрак.
И все же были две вещи, которые не уходили
и не вернулись. Ума не приложу.
Должно быть выпивка,
кошачьи интриги. Могу я наконец пойти сейчас к
врачу?

Подросток-поклонник наложил на бар на Пятой
авеню,
куда они смогут или не смогут пробиться
с правильным или неправильным подходом.

Прошло уже три года...
Вот и все — остальное нам не известно!
Придется вам сделать это через силу.

А мы придем и посмотрим.

*Перевод* Яна Пробштейна

# Зора Нил Хёрстон

# *Каково это – чувствовать себя цветной?*

*Перевод и вступление* Ирины Морозовой

## Enfant terrible Гарлемского ренессанса: Зора Нил Хёрстон

7 января 2016 года исполнилось 125 лет со дня рождения Зоры Нил Хёрстон (7.01.1891 — 28.01.1960), звезды Гарлемского Ренессанса, определившей современное измерение афроамериканской литературы. Ее творческое наследие невелико, но весьма разнообразно — это четыре романа, две книги фольклора, автобиография, более полусотни рассказов, несколько стихотворений, десяток пьес и ряд эссе. Однако именно ее взгляд на афроамериканский характер и культуру сформировал творческую оптику таких видных представителей афроамериканской литературы, как Т. Моррисон, Э. Уокер, Г. Нейлор, Г. Джонс, Т. К. Бамбара и других.

Судьба Зоры Хёрстон, личная и творческая, не была легкой.

В 20—30-е годы, в период Гарлемского ренессанса и последующее десятилетие, ею восхищались как одной из самых ярких niggerati[1], собирательницей фольклора, увлеченной исследовательницей нравов, традиций и обычаев черного населения американского Юга. Критика тепло отзывалась о ее ранних работах, восхищаясь присущим ей умением ярким языком передать синтез трагического и комического в устных рассказах афроамериканцев.

Однако в это же время формируется и противоположный взгляд на творчество Зоры Хёрстон, ставший доминирующим на протяжении 40—50-х годов, когда она стала мишенью сокрушительной критики со стороны лидеров афроамериканских радикалов за отсутствие в ее произведениях четко сформулированного расового “послания”, за ее нежелание говорить о трагических взаимоотношениях черных и белых, за, как им казалось, изображение стереотипа черного человека, порожденного белым сознанием. Так, например, Ричард Райт, вечный оппонент Хёрстон, о романе “Их глаза видели Бога” (“Their Eyes Were Watching God”, 1937) писал, что этот роман не имеет ни темы, ни идеи, ни мысли, и обвинял писательницу в потворстве вкусам белой аудитории.

© Ирина Морозова. Перевод, вступление, 2017

1. Niggerati – иронический термин, относящийся к афроамериканской интеллигенции Гарлемского ренессанса.

С конца 50-х годов ее имя на целое десятилетие было забыто вовсе, пока в начале 70-х Элис Уокер не провозгласила Зору Хёрстон гением Юга. С этого времени намечаются основные стратегии современного изучения ее творчества: с одной стороны, с точки зрения гендерной и расовой самоидентификации, а с другой — в соответствии с афроцентристскими поисками "исконной" традиции в творческой практике писательницы. Шедевром Зоры Хёрстон считается роман "Их глаза видели Бога", история самоидентификации черной женщины, ее взросления и отказа от предписанной ей роли представительницы "низшей расы низшего пола".

Зора Нил Хёрстон родилась в Алабаме, маленьком городке Нотасулга в семье баптистского проповедника. Через три года семья, где было еще семеро детей, переехала в городок Итонвилл во Флориде, известный, прежде всего, тем, что он был первым зарегистрированным в США поселением, жителями которого были исключительно афроамериканцы. Как характеризует его Зора Хёрстон в сборнике "Мулы и люди", это "город, в котором пять озер, три поля для крокета, три сотни темнокожих, три сотни хороших пловцов, обилие гуав, две школы и ни одной тюрьмы".

Этому городку суждено было стать особенным местом в жизни и творчестве Зоры Хёрстон, ибо в Итонвилле, по ее собственному признанию, она погружалась "внутрь негритянского искусства и народного творчества". Неслучайно Итонвилл стал и местом действия большинства ее произведений.

В 1918 году Зора Хёрстон поступила в Говардский университет в Вашингтоне, черный частный университет, где начала писать короткие рассказы, впервые опубликованные в 1921 году. Поворотным моментом в ее жизни можно считать 1925 год, когда она переехала в Нью-Йорк и поступила в женский Барнард-колледж, аффилированный с Колумбийским университетом, где она стала ученицей Ф. Боаса, основоположника культурной антропологии. Учение Ф. Боаса послужило базой ее собственных исследований афроамериканской культуры.

Возможно, именно благодаря "антропологическому измерению" афроамериканской культуры Зора Хёрстон стоит особняком в Гарлемском движении, это этакий enfant terrible Гарлемского ренессанса. Так, известно ее весьма негативное отношение к Уильяму Дюбуа, которого она называла Dubious[1] за его концепцию раздвоенности души черного человека, высказанную в знаменитой книге "Души черных людей".

Однако было бы неверно считать, что Зору Хёрстон совершенно не задевали вопросы расовой дискриминации. Она написала целый ряд эссе, посвященных этой проблеме, среди которых и эссе "Каково это — чувст-

1. Dubious — двусмысленный, сомнительный, темный, колеблющийся, неясный (*англ.*) — прозвище, данное У. Дюбуа еще в Гарлемские времена Джорджем Скайлером, писателем, критиком и пародистом.

вовать себя цветной?" ("How It Feels to be Colored Me", 1928), публикуемое впервые в переводе на русский язык.

Здесь она высказывает ряд важных положений, характеризующих ее мировоззренческую и эстетическую позиции. В этом очерке четко выражена мысль о невозможности измерения афроамериканской культуры мерками другого культурного кода, о драматическом начале афроамериканской идентичности, о расовом разделении американского общества.



Особого внимания заслуживает язык Зоры Хёрстон, ироничный, насыщенный афроамериканским диалектом, отмеченный обилием метафор, сравнений.

Сегодня в США творчество Зоры Нил Хёрстон расценивается как необходимый материал в гендерных исследованиях литературы, важный для понимания специфики афроамериканской культуры в целом. Ежегодно в январе Итонвилл принимает гостей на фестиваль "Zora!", в рамках которого проходят научные конференции, общественные дискуссии, выставки, презентации разнообразных проектов, связанных с развитием афроамериканской культуры. По словам исполнительного директора Ассоциации сохранения Итонвилла Н. Й. Натири: "для тех, кто знаком с творчеством Зоры Нил Хёрстон, город стал священной землей", хранилищем исторического опыта всего черного населения США.

Я цветная, и не могу предложить ничего в качестве смягчающих этот факт обстоятельств, кроме разве того, что я единственная негритянка в Соединенных Штатах, чей дедушка по материнской линии не был индейским вождем.

Я хорошо помню тот день, когда я стала цветной. До тринадцати лет я жила в маленьком негритянском городке Итонвилл, штат Флорида. Это совершенно цветной город. Единственные белые, которых я видела, проезжали Итонвилл по дороге в Орландо и обратно. Наши собственные белые проезжали на пыльных лошадях, а северные туристы тарахтели по песчаным деревенским дорогам на машинах. Город знал своих южан и никогда не переставал жевать сахарный тростник при их появлении. Северяне же были чем-то иным. Их осторожно и боязливо разглядывали из-за занавесок. Наиболее смелые обитатели могли выйти на веранду, чтобы посмотреть, как они проезжают мимо, и получить столько же удовольствия от туристов, сколько и туристы от нашего поселка.

Веранда могла казаться местом свершения отважного поступка для всего городка, но для меня это было местом на галерке. Я любила забираться на самый верх ворот — просцениум для прирожденного завсегдатая театральных премьер. Я не только сама наслаждалась спектаклем, но и не возражала,

чтобы актеры знали, что это мне нравится. Обычно я заговаривала с ними, когда они проезжали мимо. Я махала им рукой, а когда они возвращали мне приветствие, я говорила что-то вроде "как-дела-хорошо-спасибо-куда-едете?". Обычно на этом машина или лошадь притормаживали, и после обмена неуклюжими комплиментами я была готова, как мы выражаемся в дальних уголках Флориды, "немножко прокатиться" вместе с ними. Если внезапно появлялся кто-то из родителей и видел меня, то, конечно, переговоры грубо прерывались. Но даже и в этом случае все равно я была первым "добро-пожаловать-в-наш-штат" жителем Флориды, и я надеюсь, что Торговая палата Майами примет это к сведению.



В эти дни белые люди для меня отличались от цветных только тем, что они проезжали город, но никогда не жили в нем. Им нравилось слушать мою "болтовню" и мое пение, и им хотелось посмотреть, как я танцую parse-me-la[1], и они щедро вознаграждали меня серебряными монетками за все эти вещи. Это казалось мне странным, потому что я сама так сильно хотела все это делать, что мне надо было бы заплатить, чтобы я остановилась, только они не знали об этом. Цветные не одаривали меня мелочью. Они порицали любые жизнерадостные тенденции во мне, но все равно я была их Зора. Я принадлежала им, ближайшим отелям, графству, — принадлежащая всем Зора.

Когда мне исполнилось тринадцать, в семье произошли изменения[2], и меня отправили в школу Джексонвилла. Я покинула Итонвилл, город олеандров, где я была просто Зора. Когда я сошла с речного корабля на берег Джексонвилла, той Зоры уже не существовало. Казалось, я претерпела полное преображение. Я уже больше не была Зорой из графства Орендж, я теперь стала маленькой цветной девочкой. Я обнаруживала это разными способами. В душе, как и в отражении в зеркале, я становилась устойчивого коричневого цвета, с гарантией, что он не сотрется и не потечет.

Но я не трагически цветная. Нет у меня великой печали, заполонившей мою душу и притаившейся в уголках глаз. Вовсе не против. Я не принадлежу к рыдающим членам той негритянской школы, которая считает, что природа каким-то

1. Популярный для того времени танец, распространенный среди афроамериканцев на юге США. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Зора Хёрстон имеет здесь в виду смерть матери и последовавшую вскоре женитьбу отца на женщине, которая не хотела воспитывать чужих детей. Поэтому все восемь братьев и сестер были отправлены в школы, интернаты, некоторые были усыновлены другими семьями.

образом совершила с ними грязную сделку и все их чувства сосредоточены только на этом. Даже в той беспорядочной суете, которой является моя жизнь, я заметила, что мир предназначен для сильных, независимо от разных оттенков кожной пигментации. Нет, я не оплакиваю мир — я слишком занята оттачиванием своего устричного ножа[1].



Кто-то рядом обязательно напомнит мне о том, что я внучка рабов. Но это не заставляет меня впадать в уныние. Рабство уже шестьдесят лет как в прошлом. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо, спасибо. Ужасная битва, которая превратила меня в американку из потенциальной рабыни, скомандовала "На старт!", Реконструкция сказала "Внимание!", а следующее поколение выкрикнуло "Марш!". Я уже взяла высокий старт, и посреди дистанции мне нельзя остановиться, чтобы посмотреть назад и всплакнуть. Рабство — цена, которую я заплатила за цивилизацию, и выбор был сделан не мной. Это рискованное приключение, за которое я заплатила всем прошлым своих предков. Никто на земле не имел такого шанса для торжества. Мир можно завоевать и ничего не потерять. Это так волнующе — думать и знать, что за все, что я делаю, я получаю вдвойне — и похвалу, и хулу. Это так захватывающе — быть в центре национальной сцены и владеть вниманием зрителей, которые не знают, смеяться им или плакать.

Положение моего белого соседа намного сложнее. Когда я сажусь обедать, за моей спиной не возникает коричневый фантом, чтобы пододвинуть стул. Никакой коричневый призрак не сует свои ноги мне в постель. Игра в то, что имеешь, никогда не бывает столь увлекательной, как игра в то, что приобретаешь.

Я не всегда себя чувствую цветной. Даже теперь я часто, неосознанно, ощущаю в себе Зору из Итонвилладо Хиджры. И я чувствую себя очень цветной, когда меня бросают на жесткую белую почву.

В Барнарде, например. "Близ вод Гудзона"[2] я ощущаю свою расу. Среди тысяч белых людей я словно темная скала в

1. Ссылка на выражение "The world is my oyster" ("Мир — это моя устрица") (см. Шекспир. "Виндзорские насмешницы"), означающее, что мир полон возможностей. Представляется, что здесь есть еще одно значение, связанное с пониманием Хёрстон специфики афроамериканской культуры. Концепция Зоры Хёрстон заключается в том, что афроамериканец — это самобытная единица, возникшая в результате синтеза культурных традиций, и к афроамериканской культуре можно применить метафору устрицы с жемчужиной.
2. Ссылка на первую строку гимна Барнардского колледжа.

захлестывающих ее волнах, но я всегда остаюсь собой. И когда прилив покрывает меня, я есть я, и когда отлив высвобождает — это снова я.

Иногда это происходит по-другому. Белый человек может очутиться среди нас, и тогда контраст еще более очевиден для меня. Например, я сижу в неухоженном подвале, чем является The New World Cabaret, с белым человеком, когда туда приходят люди моего цвета. Мы заходим, болтая о никчемных мелочах, понятных нам, и рассаживаемся, чтобы слушать джаз. Оркестр, как и положено джазовому оркестру, резко на нас обрушивается. Оркестр не тратит времени на хождение вокруг да около, а сразу приступает к делу. Он сжимает грудь и разбивает сердце своим ритмом и наркотическими созвучиями. Он буйно растет, поднимается на задних лапах и бьет по завесе тональности со всей первобытной яростью — раскалывает, рвет ее до тех пор, пока не прорывается в джунгли за ее пределами. Я устремляюсь за этими язычниками, устремляюсь с ликованием. Все внутри меня бешено пляшет; я воплю, я гикаю, я потрясаю над головой своим ассегаем[1], с криком "йоооуууууу!" я швыряю его точно в цель. Я в джунглях и живу по законам джунглей. Мое лицо раскрашено красным и желтым, а тело — голубым. Мой пульс стучит, как военный барабан. Я хочу убить кого-нибудь, принести боль и смерть, сама не знаю чему. Но вот все заканчивается. Оркестранты вытирают губы и разминают пальцы. С последней нотой я медленно вползаю в видимость того, что мы называем цивилизацией и нахожу своего друга спокойно курящим в своем кресле.

"Хорошая у них здесь музыка" — бросает он, барабаня пальцами по столику.

Музыка. Огромные волны пурпурных и алых эмоций не тронули его. Он лишь слышал то, что я чувствовала. Он так далек от меня, что я едва вижу его через океан и континент, возникшие между нами. Он слишком бледен из-за своей белизны, а я становлюсь слишком цветной.

Иногда у меня вообще нет расы, я — это просто я. Когда я, например, надеваю шляпку под определенным углом и прогуливаюсь по Седьмой авеню в Гарлеме, я становлюсь такой же высокомерной, как львы на портале библиотеки на Сорок второй улице. Так что если говорить о моих ощущениях, то Пегги Хопкинс Ли[2] с ее пышными одеяниями, представи-

1. Разновидность копья, распространенного среди племен на Юге Африки.
2. Пегги Хопкинс Джойс (1893–1957) — американская актриса, танцовщица, известная своей коллекцией мехов и бриллиантов.

тельным экипажем и касающимися друг друга самым аристократическим образом коленями на бульваре Мичиган, ничто по сравнению со мной. Космическая Зора идет! И я не принадлежу ни к одной расе, ни к какому времени. Я — вечная женщина со своей ниткой бус[1].

У меня нет какого-то особого чувства по поводу того, что я американская гражданка и цветная. Я только часть той Великой Души, что бушует в отведенных ей пределах. Это моя страна, хороша она или плоха.

Иногда я чувствую дискриминацию по отношению к себе, но это не сердит меня. Это просто удивляет. Как кто-то может отказать себе в удовольствии быть в одной компании со мной? Это выше моего понимания.

Но в целом я ощущаю себя как закрепленный на стене коричневый мешочек для всякой всячины. На стене, где висят другие мешочки — белые, красные и желтые. Вывалишь содержимое, а там куча маленьких вещичек — бесценных и бесполезных. Бриллиант чистой воды; катушка без ниток; осколки стекла; кусочки веревки; ключ от давно рассыпавшейся двери; ржавое лезвие ножа; старые ботинки, сберегаемые для дороги, которой не было и никогда не будет; гвоздь, согнутый вещами, слишком тяжелыми, чтобы согнуть любой гвоздь; один-два засушенных цветка, все еще хранящих слабый аромат. На земле перед тобой тоже груда всего, что есть на ней, и это так похоже на содержимое мешочков. Если бы можно было их все опорожнить и свалить в одну большую кучу, а потом наполнить их снова без того, чтобы содержимое резко разнилось. Тогда не имело бы значения наличие там небольших цветных осколков. Возможно, именно так Великий Наполнитель Мешочков и заполнял их в самом начале, кто знает?

*1928*

1. Аллюзия на вышедший в 1927 г. рассказ С. Моэма “Нитка бус”. Зора Хёрстон была поклонницей таланта английского писателя.

# Марина Ефимова

# *История самого знаменитого издательства* США

Boris Kachka *Hothouse: The Art of Survival and the Survival of Art at America's Most Celebrated Publishing House Farrar, Straus & Giroux.* — Simon & Schuster, 2013

Нью-Йоркское издательство "Фаррар, Страус и Жиру" — институт с совершенно особой репутацией, которую можно сравнивать разве что с репутацией журнала "Новый мир" в период оттепели — в 60-е годы. Тогда каждый выпуск журнала был событием для читающей российской публики — так же, как каждая новая книга издательства "Фаррар, Страус и Жиру́" становилась событием для публики Соединенных Штатов в течение почти полувека (с 1955-го по 2004-й), когда его владельцем был Роджер Страус, а главным редактором — Роберт Жиру. С 1955-го по 2000 год авторы книг, выпущенных этим издательством, получили двадцать Нобелевских премий, двенадцать Пулитцеровских и двадцать девять других литературных наград. Авторами издательства были Томас Стернз Элиот, Фланнери О'Коннор, Бернард Маламуд, Элизабет Бишоп, Марио Варгас Льоса, Исаак Башевис-Зингер, Чеслав Милош, Сьюзен Сонтаг, Филип Рот, Иосиф Бродский, Шеймас Хини.

Нью-йоркский журналист Борис Качка назвал книгу об этом издательстве "Hot House" — "Оранжерея" (там и правда вызревали таланты). Но в переносном смысле Hot House — это еще и место, где кипит деятельность, бурлят страсти. Красноречив и подзаголовок книги: "Искусство выживания и выживание искусства в знаменитом американском издательстве 'Фаррар, Страус и Жиру'".

Две фигуры сыграли решающую роль в судьбе издательства: его основатель Роджер Страус (потомок двух богатых и старинных кланов — Страусов и Гугенхаймов) и редактор Роберт Жиру — сын фабричного цехового мастера и учительницы.

Роджер Страус не был формально образованным человеком. Он бросил школу, с помощью репетитора поступил в колледж, но

Совместно с радио "Свобода".

и его не закончил и до войны жил по очереди в имениях то Гугенхаймов, то Страусов, деля время между спортом, девушками и родительскими вечеринками, на которых собиралась нью-йоркская элита. Летом он зарабатывал карманные деньги в местной газете неподалеку от колледжа и там принял решение сделать своим бизнесом литературу. Поработав недолго журналистом, он открыл фирму по упаковке книг. Но тут грянул Пёрл-Харбор. От действительной службы Роджера освободили — по причине остеомиелита (который не мешал его буйным теннисным играм). Он провел войну в Отделе информации флота, где завязал многие связи и познакомился, в частности, с тихим (в тридцать лет поседевшим) морским лейтенантом Бобом Жиру.

В 1946-м Роджер Страус основал издательство. Для этого у него, кроме денег, были два необходимых таланта. Один — умение завязывать и поддерживать дружбу. Показательна история его партнера — Джона Фаррара. Опытный редактор и основатель издательства "Фаррар и Рейнхарт", Джон с началом войны ушел на фронт, а вернувшись, узнал, что уволен. И Роджер тут же пригласил его к себе — редактором и партнером (которым Фаррар и оставался до самой своей смерти в 1974 году). Вторым даром Роджера Страуса был талант стратега. Благодаря Фаррару и другим друзьям ему удалось издать несколько бестселлеров (включая книги Скотта Туроу и Тома Вулфа), но Роджер считал, что для издательства лицо и характер важней, чем бестселлеры.

В конце 50-х Страус признавался: "Успех почти обанкротил меня однажды". Издательство стало расти, еще не разобравшись в своей специфике. И неизбежно начались провалы. Хорошо, что банки не отказывались давать ссуды, рассчитывая на семейные капиталы. Но Роджер понял, что надо сосредоточиться не на своей доле рынка, а на своей нише на этом рынке.

В дилемме "успех у широкой публики или высшее качество" Роджер Страус выбрал качество. Он не мог платить авторам такие деньги, какие платили гиганты — "Саймон энд Шустер", "Рэндом Хаус" или "Даблдэй". Но он уловил в послевоенном Нью-Йорке бурлящий литературный фермент, который оставалось только оседлать. Блестящим его ходом было издание серии "Great Letters" — письма талантов прошлого под редакцией талантов настоящего: письма Китса под редакцией критика Триллинга, письма Байрона под редакцией историка культуры Барзуна, письма Чехова под редакцией Лилиан Хеллман. Страус говорил: "Главное — не продать книги, а завлечь авторов". Ча-

стью этого "завлекания" стали литературные суаре. Роджер и его жена Доротея – женщина гораздо более литературная, чем ее муж, – устраивали дома многолюдные вечеринки, где можно было встретить Леонарда Бернстайна, Мэри Маккарти, Эдмунда Уилсона. А вскоре, по словам Страуса, "уже и без литературных суаре все понимали, где находится центр книжной жизни".

Однако создание легендарной репутации издательства началось лишь в 1955 году с приходом нового главного редактора, бывшего морского лейтенанта Боба Жиру. Жиру, тихого, скромного человека, довели до яростного возмущения на прежнем месте работы – в издательстве "Харкорт", владельцы которого отказались издать рекомендованную им книгу. Книга называлась "Над пропастью во ржи". (Она вышла потом в издательстве "Little, Brown"). К Роджеру Страусу Жиру привел и "своих" авторов, включая Т. С. Элиота, О'Коннор, Бишоп, Маламуда и Перси.

Трудно было найти более контрастные характеры, чем Страус и Жиру: первый – еврей, спортсмен, женолюб, энергичный бизнесмен; второй – воспитанник иезуитов, гомосексуалист (проживший полвека с одним партнером), замкнутый человек, обладающий вкусом к литературе, совершенным, как абсолютный музыкальный слух. Страус лишь через девять лет, в 1964-м, оценил своего редактора настолько, что включил его имя в название издательства – "Фаррар, Страус и Жиру".

С середины 60-х особую роль в издательстве играла звезда интеллектуального Нью-Йорка Сьюзен Сонтаг – любимица Роджера Страуса.

Когда Сьюзен приходила в редакцию, ради нее все останавливалось, все другие дела откладывались. Если Сьюзен уезжала в Европу, издательство получало ее почту, следило за квартирой и оплачивало ее счета. Ни Сонтаг, ни Страус не были столь наивными, чтобы не понимать обоюдной выгоды этой дружбы, тем не менее, они искренне обожали друг друга. Оба – сверхъестественно энергичны, общительны и неутомимы. Оба любили сплетни, оба жадно охотились за людьми, обладавшими талантом или красотой (предпочтительно и тем и другим). Оба – выставочные экземпляры: на улицах эта пара приковывала все взоры. О том, были ли они любовниками, спорят и сейчас.

Зато никто не спорит о роли Пегги Миллер – секретаря издательства. Во всех поездках в Европу – на конференции и выставки – Пегги сопровождала Роджера. Европейские коллеги Страуса много лет считали ее его женой. Впрочем, если верить автору книги "Hot House", "в издательстве все спали

со всеми". Жена Страуса называла редакцию "сексуальной сточной канавой".

У каждого богатыря есть своя ахиллесова пята. Была она и у Страуса. Об этом пишет рецензент книги – писатель и редактор Роберт Готтлиб:



Роджер, выросший и живший в богатстве, испытывал что-то вроде легкого презрения к бедным людям. Его невнимание к материальному положению своих сотрудников стало притчей во языцех в издательском мире. Жиру в 1964 году привел в издательство очень талантливого молодого редактора Генри Робинса. Через десять лет тот дошел до отчаяния, поскольку не мог содержать семью на свою низкую зарплату, и в конце концов ушел. Другой редактор – Аарон Ашер – выдержал лет шесть и тоже откланялся. Даже безропотный Жиру признался, что решил не писать книгу об издательстве, потому что сможет сказать мало хорошего о Роджере. Я понял, что и он был раздосадован низкой материальной оценкой его работы.

В книге "Оранжерея" приводится много отзывов о характере Роджера Страуса: "человек, одержимый соревновательной страстью; мстительный, обаятельный, своенравный, остроумный – потрясающая личность". Одна из важных характеристик Страуса – он был талантливым эксплуататором, он находил таких людей, как Боб Жиру, согласных на то, чтобы их эксплуатировали, – лишь бы иметь возможность делать свое дело: открывать литературные таланты и дарить их читателям.

После смерти Роджера Страуса в 2004 году и Боба Жиру – в 2008-м издательство "Фаррар, Страус и Жиру" продолжает существовать – с новым владельцем и новыми редакторами. Но это уже совсем другая история.

# Сьюзен Сонтаг

# *Мир как Индия*

*Перевод* В. Голышева

Памяти В. Г. Зебальда

СЛОВО “переводить” содержит множество значений: распространять, переносить, объяснять, делать (более) доступным. Я начну с утверждения — преувеличения, если угодно, — что под литературным переводом мы подразумеваем (можем подразумевать) перевод малой доли книг, заслуживающих чтения — точнее, чтения на другом языке. Скажу, что правильное суждение об искусстве литературного перевода, по существу, — утверждение ценности самой литературы. Помимо очевидной необходимости для переводчиков участвовать в создании корпуса литературы как предмета маленького престижного импортно-экспортного бизнеса, помимо непременного их участия в литературном состязании как внутри страны, так и международном (с личным соперничеством, командным, с привлекательными при-

© The Estate of Susan Sontag, 2007
© В. Голышев. Перевод, 2017

зами), помимо коммерческих, творческих и игровых стимулов занятия переводом, имеется более старый — проповеднический — стимул, который труднее признать в нашу эпоху смущенного безверия.

Проповеднический стимул я понимаю как задачу перевода расширить круг читателей книги, которая считается важной. Предполагается, что некоторые книги ощутимо лучше других, что литературные достоинства подобны пирамиде и произведения, которые близки к вершине, должны быть доступны как можно большему числу людей, то есть их надо переводить на разные языки и переводить заново настолько часто, насколько это осуществимо и обоснованно. Такой взгляд на литературу подразумевает, что можно прийти к относительному согласию насчет того, какие произведения наиболее существенны. Из чего не следует, что такой консенсус — или канон — один на все времена и не может меняться.

На верху пирамиды — книги, считающиеся священными: обязательное экзотерическое знание, которое, по определению, требует перевода. (Самыми лингвистически влиятельными были, вероятно, переводы Библии: святого Иеронима, Лютера, Тиндейла; Библия короля Якова.) То есть перевод — это прежде всего ознакомление с тем, что заслуживает ознакомления, потому что улучшает, углубляет, возвышает; потому что это — необходимое наследие прошлого; потому что это вклад в знание, священное или иное. В более мирском плане считалось, что перевод приносит пользу и переводчику: его деятельность была ценным когнитивным — и этическим — упражнением.

В эпоху, когда стали думать, что компьютер — "машинный переводчик" — скоро сможет решать большинство переводческих задач, то, что мы называем литературным переводом, сохраняет традиционное значение слова. В новом понимании перевод — это нахождение эквивалентов, изменение метафоры, перевод — проблема, для которой можно придумать решение. В старом же понимании перевод — процесс выбора, осознанного выбора не просто в рамках четкой дихотомии плохого и хорошего, правильного и неправильного, а в облаке более сложных альтернатив, таких как "хорошее" или "лучшее", "лучшее" или "наилучшее", не говоря уже о более расплывчатых альтернативах: "устарелое" — "современное", "вульгарное" — "вычурное", "сжатое" — "многословное".

Чтобы выбор был удачным — или очень удачным, — переводчику нужны знания, обширные и глубокие. Перевод, который видится как процесс выбора в широком смысле, был профессией индивидуумов — носителей определенной внутренней культуры. Перевод продуманный, старательный, изо-

бретательный, почтительный был точной мерой верности самой литературе.

Каждый выбор, казалось бы, всего лишь лингвистический, всегда содержит этическую составляющую, которая сделала саму переводческую деятельность проводником таких ценностей, как честность, ответственность, верность, смелость, смирение. Этическое понимание задачи переводчика возникло с осознанием того, что перевод, в принципе, — дело невозможное, если полагать, что переводчик должен взять текст, написанный автором на одном языке, и перенести его на другой, не повредив и ничего не потеряв по дороге. Очевидно, что не на это делают упор нетерпеливо ждущие, когда же дилеммы переводчика сумеет разрешить, предлагая свои эквиваленты, более умная и находчивая машина для перевода.

Литературный перевод — отрасль литературы, его задача никоим образом не механическая. Но таким сложным предприятием перевод становится из-за того, что преследует одновременно разные цели. Есть требования к нему, вытекающие из природы литературы как формы коммуникации. Есть обязанность — в случае произведения, считающегося важным, — сделать его известным как можно более широкому кругу читателей. Есть неизбежная трудность перехода от одного языка к другому и особая неподатливость определенных текстов, указывающая на нечто, не входившее в намерения автора или им не осознанное, — особенность, которая проявляется с началом переводческой работы. За неимением лучшего слова мы называем это проблемой переводимости.

Этот комплекс сложных вопросов часто сводят к извечным переводческим дебатам — дебатам о буквализме, начавшимся, по крайней мере, еще в Древнем Риме, когда греческую литературу переводили на латынь, и до сих пор продолжающимся во всех странах (в каждой — соответственно своей национальной традиции и предпочтениям). Старейшая тема этих дискуссий — степень точности и близости к оригиналу. Наверняка были в древнем мире переводчики, настаивавшие на строгой буквальной точности (и к черту благозвучие) — эту позицию с изумительным упрямством защищает Владимир Набоков в своем переводе "Евгения Онегина". Как иначе объяснить настойчивое утверждение святого Иеронима (прибл. 331–420) — интеллектуала античности (воспринявшего аргументы, впервые высказанные Цицероном, и подробно рассматривавшего задачу перевода в предисловиях и письмах), — что, стремясь буквально воспроизвести авторские слова и образы, переводчик неизбежно жертвует смыслом и изяществом?

Вот отрывок из предисловия Иеронима к его переводу на латинский "Хроники" Евсевия. (Он перевел ее в 381–382 годах в Константинополе, чтобы принять участие в Соборе, – за шесть лет до того, как переселился в Вифлеем, чтобы усовершенствоваться в иврите, и почти за десять до того, как приступил к эпохальной задаче перевода еврейской Библии на латынь.)

Об этом раннем переводе с греческого Иероним писал:

Давнее обыкновение ученых людей – упражнять свой ум переводом греческих писателей на латинский язык и, что еще труднее, переводить стихи знаменитых авторов, когда препятствием становятся еще и требования к стихосложению. Так вот наш Туллий [Цицерон] дословно перевел диалоги Платона... [а позже] занялся "Домостроем" Ксенофонта. В этом последнем труде золотая река красноречия то и дело наталкивается на препятствия, разбиваясь о них и пенясь так сильно, что люди, не знакомые с оригиналом, не поверят, что читали слова Цицерона. И неудивительно! Трудно, следуя за чужими строчками, ничего не пропустить, и нелегко сделать так, чтобы хорошо сказанное на другом языке сохранило свою красоту в переводе. Вот что-нибудь выражено одним особенным словом, и мне нечем его заменить; а когда я пытаюсь выразить мысль длинным оборотом, то лишь теряю время. К этому добавляются запутанные перестановки слов, различие в падежах, разнообразие фигур, наконец, я бы сказал, природное своеобразие языка! Если я перевожу слово в слово, это звучит нелепо; если по необходимости что-то изменю в речи или в порядке слов, то покажется, что я уклоняюсь от обязанностей переводчика.

Примечательна в этом самооправдании Иеронима его озабоченность тем, чтобы читатели поняли, насколько ограничен в своей работе переводчик. Дальше в том же предисловии он объясняет: то, что мы читаем в переводе, есть неизбежное обеднение оригинала.

Если кто-то думает, что красота языка не теряется при переводе, пусть дословно переложит на латынь Гомера. Скажу больше: пусть перескажет его на *его* родном языке прозой – и ты увидишь смехотворный набор слов и красноречивейшего поэта едва умеющим говорить.

Как лучше всего обойтись с принципиальной невозможностью перевода? У Иеронима нет сомнений, как надо действовать: он снова и снова объясняет это в предисловиях к своим переводам. В письме к Паммахию (396) он цитирует Цицерона в подтверждение своей мысли, что единственный правиль-

ный путь — приспособить "сами мысли и их выражение, как фигуры, так и слова, к нашей привычной речи. Я не счел необходимым передавать их слово в слово, но сохранил весь смысл и силу слов".

Ниже в том же письме, цитируя на этот раз Евагрия — надо полагать, недостатка в критиках и придирах тогда не было, — он заявляет с вызовом: "Дословный перевод с одного языка на другой затемняет смысл". Если ввиду этого переводчик должен стать соавтором — пусть будет так. "По правде, — пишет Иероним в предисловии к Евсевию, — я отчасти выполнял обязанности переводчика, а отчасти — таковые писателя".

Едва ли можно объяснить дело отчетливее и ближе к современному взгляду на проблему. Насколько вправе переводчик приспосабливать текст к языку перевода — то есть *пере*создавать его? Если дословная точность и литературное качество на новом языке несовместимы, насколько может быть "вольным" ответственный перевод? Является ли первой задачей переводчика изгладить иностранность текста и переработать его в согласии с нормами своего языка? Всякого серьезного переводчика волнует этот вопрос: подобно классическому балету, литературный перевод — это деятельность с нереалистическими критериями, то есть критериями настолько суровыми, что у исполнителя, стремящегося к идеалу, они всегда рождают неудовлетворенность — чувство, что требуемого не достиг. И, как классический балет, литературный перевод — искусство репертуарное. Произведения, считающиеся значительными, переводятся неоднократно — потому ли, что адаптация теперь кажется слишком вольной, недостаточно точной, или в переводе обнаружено слишком много ошибок, или стиль, казавшийся прозрачным современникам, теперь кажется устарелым.

Танцовщиков приучают стремиться к не совсем химерической цели — совершенству, образцовой, безошибочной выразительности. В литературном переводе при множественности императивов, которым должен отвечать литературный перевод, исполнение может быть лишь превосходным, но никак не совершенным. Перевод, по определению, всегда приводит к некоторой потере материала подлинника. Все переводы рано или поздно оказываются несовершенными, и в конце концов даже самые образцовые исполнения расцениваются как всего лишь очередной этап.

* * *

Святой Иероним делал переводы с еврейского и греческого на латинский. Язык, на который он переводил, был и еще много веков оставался языком международным.

Я читаю эту лекцию на новом международном языке; примерно для 350 миллионов человек он родной, а как вторым языком им пользуются еще десятки миллионов по всему миру.

Я нахожусь здесь, в Англии, где родился язык, на котором я говорю и пишу. Я держусь простой идеи, что общий язык объединяет, а не разделяет, вопреки известной шутке[1]. И у меня в стране мы не называем язык, на котором говорит большинство, "американским". (Пусть на титульной странице французских переводов моих книг и значится: traduit de l'americain.) Но в Соединенных Штатах есть люди, которые не знают, почему их язык называется английским.

Несколько лет назад мой английский друг, писатель с роскошным оксфордским выговором, впервые приехал в Америку с женой и дочерьми и решил, что лучше всего узнать страну, если взять машину и проехать от Нью-Йорка до Калифорнии. В знойный летний день он остановился у заправки где-то в Айове, и скучающий заправщик между делом спросил его: "Вы откуда приехали?" — "Из Англии", — ответил мой друг, не подозревая, какой это вызовет отклик. "Серьезно? — воскликнул заправщик. — Иностранец, а как хорошо говорите по-английски".

Конечно, большинство из нас знают, почему наш язык — английский. И это счастье для литературы нашей страны, насчитывающей немногим больше двухсот лет, что пишется она на вашем тысячелетнем языке.

Каждый день, садясь писать, я дивлюсь богатству языка, на котором мне посчастливилось изъясняться. Но наряду с гордостью за английский язык присутствует сознание совсем другой лингвистической привилегии: писать на языке, понимать который, в принципе, обязан — или желает — каждый.

Кажется естественным, что языком международного общения стал язык колоссальной сверхдержавы, к которой я принадлежу. Но изначально превращение языка Шекспира во всемирный lingua franca было чем-то вроде счастливого случая. Одним из ключевых моментов стало утверждение в 20-х годах (если не ошибаюсь) английского как международного языка гражданской авиации. Для безопасности полетов тот, кто пилотирует самолет, и тот, кто его направляет, должны иметь общий язык. Итальянский пилот, приземляясь в Вене, говорит с диспетчерской вышкой по-английски. Австрийский пилот, приземляясь в Неаполе, говорит с диспетчером по-английски.

1. "Британия и Америка — две страны, разделенные общим языком". Иногда эту шутку приписывают Бернарду Шоу. (*Прим. перев.*)

И такая странность: итальянский самолет, следующий рейсом Неаполь–Палермо, шведский пилот, летящий из Стокгольма в Мальмё, бразильский – из Сан-Пауло в Рио, – все должны говорить с диспетчером по-английски. Мы считаем это чем-то само собой разумеющимся.

Еще настоятельнее – думаю, это и стало решающим – потребовало доминирующего языка распространение компьютеров – транспортных средств другого рода: ментальных. Инструкции на вашем интерфейсе могут быть на вашем родном языке, но когда вы заходите в сеть и обращаетесь к поисковикам, то есть в международную среду, вам требуется знание английского.

Английский стал общим языком, объединившим разноязыких. В Индии шестнадцать "официальных" языков (а диалектов гораздо больше), и в стране, при ее нынешнем составе и разнообразии (одних только мусульман 180 миллионов!) невозможно достигнуть согласия на то, чтобы, к примеру, самый распространенный язык, хинди, стал языком общенациональным. Для такой роли не годится ни один из местных языков, но подходит язык завоевателя колониальной эпохи. Потому как раз, что он чужой, иностранный, он может стать объединяющим языком разноплеменного народа: единственным языком, который может быть общим для всех индийцев, это язык английский и никакой другой.

Компьютер только закрепил превосходство английского в нашей глобальной Индии. Самые интересные лингвистические феномены нашей эпохи – это, с одной стороны, исчезновение многих малых языков – то есть языков, на которых говорят маленькие изолированные, бедные народы, – и поразительное распространение английского, по своему статусу не сравнимого ни с одним языком на планете. Английский наступает во всех уголках мира благодаря господству англоязычных средств массовой коммуникации – где говорят по-английски с американским акцентом – и благодаря необходимости для деловых людей и ученых объясняться на общем языке.

Мы живем в мире, с одной стороны, увязшем в самых банальных национализмах, а с другой – решительно постнациональном. Торговые барьеры могут упасть, деньги могут стать многонациональными (как доллар стал валютой нескольких латиноамериканских стран и, конечно, как евро). Но есть неистребимая особенность, приковывающая нас к старым границам, которые воспринимаются как помеха и современным капиталом, и передовой наукой и техникой, и современной имперской гегемонией (американской разновид-

ности). Особенность эта заключается в том, что мы говорим на разных языках.

Отсюда необходимость в международном языке. И какой подходит лучше, чем английский?



Эта глобализация английского языка уже заметно сказалась на состоянии литературы, точнее – перевода. Подозреваю, что на английский переводится меньше иностранных произведений – особенно с языков, считающихся менее важными, – чем двадцать или тридцать лет назад. А на иностранные языки, наоборот, переводится гораздо больше англоязычных книг. Сегодня, чтобы иностранный роман появился в списке бестселлеров "Нью-Йорк таймс", – событие, чрезвычайно редкое, не то, что двадцать-тридцать лет назад. Бестселлерами в США были знаменитые романы Кундеры, Гарсиа Маркеса, Лампедузы, Пастернака, Грасса. Пятьдесят с небольшим лет назад первым номером в списке бестселлеров был "Доктор Фаустус" Томаса Манна – сегодня такое немыслимо.

* * *

Часто принимают как данность, что в переводе произведение должно "звучать" так, как если бы оно было написано на этом языке.

Переводом занимаются во всех странах, и везде – в соответствии с национальными традициями; в некоторых странах есть тенденция как можно основательнее стереть признаки иностранности. Во Франции особенно сильна традиция перевода как адаптации – за счет верности оригинальному тексту. Когда я указывала французским издателям на вопиющие неточности в переводе моих книг, они отвечали: "Да, так... но это очень хорошо читается на французском". Когда я слышу, что моя или еще чья-то книга стараниями переводчика очень хорошо читается по-французски, я понимаю, что книгу переложили в соответствии с условностями (обычно не самыми изысканными) современной французской прозы. Но поскольку моя проза на английском не всегда стандартна по своим ритмам и подбору слов, я могу быть уверена, что *это* не передано на французском. Переданы только смыслы – и только частично (потому что смыслы, по-видимому, крепко связаны с тем, что есть нестандартного в моей прозе).

Первую и до сих пор сохраняющую актуальность критику идеи, так убедительно изложенной Иеронимом: переводчик должен полностью переработать текст, чтобы он отвечал духу нового языка, – дал в своей замечательной лекции "О разных методах перевода" (1813) немецкий протестантский теолог Фридрих Шлейермахер (1768–1834).

Доказывая, что “хорошо читается” не может быть первейшим достоинством перевода, Шлейермахер имеет в виду, конечно, не все переводы, а только литературные — переводы, в которых важную роль играет то, что он прочувствованно называет “серьезностью языка”. О прочих он пишет:

...народы пришли в движение, всюду рыночная толчея и базарные разговоры, которые, идет ли в них речь о политике, светской жизни или литературе, не имеют ничего общего с настоящим переводом, разве что устным.

Для Шлейермахера перевод — нечто гораздо большее, чем обслуживание коммерции, рынка; это многосоставная необходимость. Ценность перевода в том, чтобы донести важный текст через лингвистическую границу. Ценность также в том, что он связывает нас с чем-то отличным от известного нам, с самой чужеземностью.

Для Шлейермахера понятие “литературный текст” не ограничивается его смыслом. Это прежде всего язык, на котором он написан. И так же как каждый человек обладает глубинной идентичностью, каждый, в сущности, обладает только одним языком.

Не предавшись полностью и безраздельно одному языку и одной стране, человек обречен безрадостно пребывать в пустоте, без опоры. Конечно, у нас и сейчас еще иные дела ведутся на латыни ради сохранения преемственности традиций в области науки и религии, то же происходит и в Европе, но все это правомерно лишь в случаях, если предмет важнее, чем собственный взгляд на него.

Замените латынь английским в этом крайне осторожном восхвалении всеевропейского (читай — глобального) языка, призванного облегчить всеевропейские (читай — глобальные) технические и научные обмены, и вы увидите, как мало ожидает он от этого языка в области субъективного, то есть литературного выражения.

Что касается конкретной практики, Шлейермахер занимает позицию, прямо противоположную позиции Иеронима, и утверждает, что первейшая обязанность переводчика — держаться как можно ближе к оригинальному тексту, имея в виду, что перевод будет читаться именно как перевод. Натурализовать иностранную книгу — значит потерять самое ценное в ней: дух языка, ментальный этос, в котором родился текст. Поэтому если перевод, например, с французского или русского на немецкий выглядит так, будто он на немецком на-

писан, немецкий читатель будет лишен знания *иного*, которое передается при чтении чего-то, что выглядит действительно иностранным.



Различие между позициями Иеронима и Шлейермахера обусловлено идеей национальной идентичности как каркаса, на котором держится и лингвистическая особливость. Для Иеронима говорить на другом языке — не значит быть другим человеком. Иероним жил в мире, в каких-то отношениях похожем на наш, — существенно транснациональном или интернациональном. Для Шлейермахера говорить на другом языке означало быть в некоем глубоком смысле неподлинным. Он пишет:

> ...заставить автора говорить на языке перевода так, как будто это его родной язык — задача недостижимая и нелепая; тот, кто признает выразительную силу языка, неотделимую от своеобразия народа, должен согласиться, что даже выдающийся человек в годы учения усваивает не только знания, но и возможность передать их с помощью языка, так что язык не остается лишь механическим средством, его нельзя заменить, как меняют упряжки на почтовых станциях. Нельзя вдруг начать мыслить на чужом языке, поскольку каждому дано творить лишь на своем, так что нельзя даже задаваться вопросом, как он написал бы свои произведения на другом языке.

Шлейермахер, конечно, не отрицает, что человек способен говорить и писать не на одном языке. Но он полагает, что у каждого есть "родной язык" и отношение с другими языками, на которых он может говорить и даже писать стихи и философствовать, так или иначе будет у него не "органическим" — излюбленная метафора той эпохи. Это, очевидно, идеологическая позиция: на свете было много дуоглотов и даже полиглотов. В Италии, например, человек может говорить не только на тосканском (называемом итальянским), но также на неаполитанском или романьоло. В Квебеке образованные люди говорят и по-французски, и по-английски. В бывшей Австро-Венгерской империи большинство образованных людей в странах, теперь называемых Австрией, Чешской республикой, Румынией и Венгрией, говорили на двух, а то и трех языках ежедневно. Ясно, что позиция Шлейермахера не просто дескриптивная. (В основе своей его программа была сопряжена с идеей национальности и народности.) По мнению Шлейермахера, человек не то что не может, а *не должен* сосуществовать с двумя языками в равной мере. Короче говоря, проживание в другом языке с таким же отношением к нему, как к родному, будет неподлинным.

* * *

Но можно ли подлинно говорить больше, чем на одном языке?

Вопрос Шлейермахера остается актуальным. Что означает владение вторым языком?



Американские и английские друзья, долго жившие в Японии (большинство — с японскими супругами), рассказывали мне, что к иностранцу, говорящему по-японски без ошибок, японцы, как правило, относятся с подозрительностью, даже с оттенком враждебности. Но, возможно, это предубеждение будет постепенно ослабевать, когда Япония привыкнет не относиться к существованию иностранцев в своей среде как к диковине, или несчастью, или измене своей национальной сущности.

Другая крайность — более недавний пример того, с чем связано совершенное владение вторым языком (в данном случае английским), — хорошо иллюстрирует идею Шлейермахера о неподлинности. Я имею в виду одну процветающую отрасль в многомиллиардном IT-бизнесе, столь важном теперь для индийской экономики. Это колл-центры, где тысячи молодых женщин и мужчин по телефону 1—800 (бесплатному в Соединенных Штатах) оказывают техническую помощь по бронированию и другим вопросам. Эти молодые люди, уже знающие английский, прошли сложный курс, чтобы стереть из своей речи всякий след индийского акцента (многим не удается), и выиграли конкурс на получение привлекательной работы в колл-центре, оплачиваемой гораздо щедрее, чем любая конторская работа в Индии, но, разумеется, много хуже, чем за подобную работу платят американцам IBM, "Американ экспресс", "Дженерал электрик", "Дельта эйрлайнс" или сетевые отели и рестораны. По этой причине все больше таких работ выводится за границу. А кроме того, индийцы, по-видимому, справляются с такой работой лучше, допускают меньше ошибок — что и неудивительно, поскольку фактически все они имеют дипломы колледжей.

На широких этажах конторских зданий в Бангалоре, Бомбее, Нью-Дели молодые люди в кабинках отвечают на бесчисленные звонки ("Здравствуйте, я Нэнси. Чем могу вам помочь?"). У каждого — компьютер, и в несколько кликов юный служащий добывает необходимую информацию для бронирования, карту для выбора наилучшего шоссейного маршрута, прогноз погоды и так далее.

Нэнси или Мери Лу, Салли Джейн, Меган, Билл, Джим, Уолли, Фрэнк — эти приветливые голоса месяцами трениру-

ются с инструкторами и аудиозаписями, чтобы приобрести приятный среднеамериканский (не излишне интеллигентный) акцент, овладеть идиомами (региональными в том числе), элементарными сведениями из массмедиа (о телевизионных персонах, о сюжетах и протагонистах комедийных сериалов, о новых блокбастерах, о результатах последних бейсбольных и баскетбольных матчей и т. п.) — чтобы не сплоховать в светской болтовне, если разговор с американским клиентом затянется, и все равно сойти за американцев.

Чтобы это получилось, они должны вжиться в роль американца. Им дали американские имена и краткие американские биографии: место и дату рождения, профессию родителей, число сестер или братьев, религиозную принадлежность (почти всегда протестантство), название школы, любимый спорт, любимый вид музыки, семейный статус и прочее. Если спросят, где они находятся, они должны ответить. Если клиент звонит из Саванны в Джорджии, чтобы забронировать гостиницу в Мейконе, Джорджия, и спрашивает скорейший автомобильный маршрут из Саванны в Мейкон, оператор может сказать, что он или она находится в Атланте. Если проговорятся, что они в Бангалоре, то мнимую Нэнси или мнимого Билла тут же уволят. (Все звонки регулярно и скрытно мониторят контролеры.) И, конечно, практически ни один из этих молодых людей не бывал за границей.

Хотели бы “Нэнси” и “Билл” быть подлинными Нэнси и Биллом? Большинство скажут — их опрашивали, — что да. Хотели бы они переехать в Америку, где все время говорят по-английски с американским акцентом? Конечно, хотели бы.

* * *

Наши идеи относительно литературы (и, следовательно, перевода) неизбежно связаны с меняющимися обстоятельствами. В начале XIX века считалось прогрессивным упирать на национальное в литературе, подчеркивать особливость (особый Гений) национального языка. Престиж национального государства в XIX веке подогревался сознанием того, что оно породило великих “национальных” писателей — в таких странах, как Венгрия и Польша, это обычно были поэты. В малых европейских странах, входивших в империи и двигавшихся к самосознанию национального государства, национальная идея имела либертарианскую окраску.

Забота об аутентичности лингвистического воплощения литературы была одним из откликов на эти новые идеи и способствовала поддержке авторов, пишущих на диалектах или

так называемых региональных языках. Другой, принципиально отличной, реакцией на идею национальной идентичности была реакция Гёте, который — возможно, первым в начале XIX века, когда эта идея была самой прогрессивной, — заговорил о мировой литературе (Weltliteratur).



Может показаться удивительным, что Гёте предложил понятие, настолько опередившее время. Но менее странным это покажется, если вспомнить, что он был не только современником Наполеона, но и сам — фигурой наполеоновской стати в ряде областей, которые можно было бы назвать интеллектуальным эквивалентом наполеоновской империи. Его идея мировой литературы напоминает наполеоновскую идею Соединенных Штатов Европы, поскольку под "миром" Гёте понимал Европу и новые европейские страны, где уже происходило интенсивное передвижение литературы через границы. С точки зрения Гёте, достоинство и индивидуальность национальных языков (тесно связанные с укоренением идеологии национализма) вполне совместимы с идеей мировой литературы, с представлением о мировом читателе — чтением книг в переводах.

Позже, в XIX веке, в могущественных странах более прогрессивной стала идеология интернациональной или космополитической литературы — идея с либертарианскими мотивами. Прогресс будет естественным перерастанием литературы "провинциальной" в "национальную" и далее — в "интернациональную". Идея Weltliteratur цвела на протяжении большей части XX века и питала мечту о международном парламенте, где все страны будут представлены как равные. Литература, предполагалось, будет такой интернациональной системой, которая придаст еще бóльшую роль переводам, дабы все мы могли читать книги друг друга. Глобальное распространение английского языка можно было бы рассматривать даже как важный этап превращения литературы в истинно всемирную систему производства и обмена.

Но, как отмечалось не раз, глобализация — это процесс, который приносит очень неравные блага разным народам, населяющим Землю, и глобализация английского языка не изменила историю предрассудков насчет национальных идентичностей, в частности, того факта, что некоторые языки — и литература на них — всегда считались более важными, чем другие. Вот пример. "Посмертные записки Браза Кубаса" и "Дон Касмурро" Машаду де Ассиса и "Трущобы" Алуизиу Азеведу несомненно принадлежат к числу лучших романов второй половины XIX века и были бы настолько же популярны, насколько могут быть популярны сегодня знаменитые

литературные шедевры того времени, будь они написаны не бразильцами на португальском, а на немецком, или французском, или русском. Или английском. (И дело не в распространенности языка. В Бразилии населения хватает, и португальский — шестой по распространенности язык на планете.)

Спешу добавить, что эти замечательные книги великолепно переведены на английский. Проблема в том, что их не упоминают. Не считалось (во всяком случае до сих пор), что их необходимо прочесть культурному человеку, человеку, желающему испытать тот восторг, какой может вызвать только проза.

Древний библейский образ говорит нам о наших различиях, символически выраженных в разноязычии, — живем друг над другом, как в мечте Фрэнка Ллойда Райта о доме в милю высотой. Но здравый смысл подсказывает, что наше лингвистическое рассеяние не может быть башней. География нашего разделения на многие языки скорее горизонтальная, чем вертикальная (или так кажется) — с реками, горами, долинами и океанами, омывающими материки. Перевести — значит переправить на тот берег, перенести.

Но, возможно, есть какая-то правда в библейской картине. В башне много уровней, и многие ее обитатели живут друг над другом. Если вавилонская чем-то сходна с другими башнями, то высокие этажи привлекательнее нижних. Может быть, какие-то языки занимают целые секции на верхних этажах, просторные залы и террасы с видом. А другие языки и их литературная продукция ограничены нижними этажами, с низкими потолками и отсутствием вида.

Примерно через шестнадцать веков после святого Иеронима, но всего через столетие с небольшим после принципиальной статьи Шлейермахера вышла третья работа из тех, что я считаю образцовыми рассуждениями о задаче и обязанностях переводчика. Это статья “Задача переводчика”, которую Вальтер Беньямин в 1923 году предпослал своему переводу бодлеровских “Tableaux parisiens”.

Переводя Бодлера с французского на немецкий, говорит нам Беньямин, он не обязан добиваться того, чтобы Бодлер звучал так, как будто писал по-немецки. Наоборот, его обязанность — сделать так, чтобы немецкий читатель мог почувствовать что-то другое. Беньямин пишет:

> Всякий перевод — всего лишь некое предварительное средство преодоления чуждости языков друг другу. <...> Если о переводе говорят, что он на своем языке читается будто подлинник, для него это отнюдь не высшая похвала, особенно в эпоху его создания.

По мнению Беньямина, перевод выполняет не защитную функцию — сохранить, законсервировать нынешнее состояние языка переводчика. Нет, перевод — это возможность позволить иностранному языку повлиять на язык перевода, както изменить его. Доводы Беньямина в пользу обнажения иноязычного в переводе совсем не такие, как у Шлейермахера. Он не хочет отстаивать автономию и цельность индивидуальных языков. Позиция его прямо противоположна националистической программе. Его соображения — метафизические; в основе — идея о природе языка, в соответствии с которой переводчик обязан расширять и углублять свой язык посредством чужого.

Всякий язык — часть языка, который больше, чем любой конкретный язык. Каждое литературное произведение — часть литературы, которая больше, чем литература на одном конкретном языке.

Примерно эту точку зрения, в соответствии с которой перевод помещается в центре литературного предприятия, я хотела поддержать в своем выступлении.

Дело литературы, как мы его теперь понимаем — и думаю, правильно понимаем, — *распространять*, а мотивы могут быть разные и не всегда прозрачные. Перевод — система кровообращения мировых литератур. Литературный перевод, я думаю, это преимущественно этическая задача, которая повторяет, отражает роль самой литературы, заключающуюся в том, чтобы расширять нашу способность к сочувствию, воспитывать сердце и ум, обогащать внутренний мир, углублять (со всеми вытекающими последствиями) сознание того, что другие люди — люди, отличные от нас, — существуют.

* * *

Мне достаточно много лет, и посему, когда я росла на американском Юго-Западе, мне было известно, что существует нечто, называемое литературой на английском языке, и что американская литература — ее ветвь. Писателем, больше всего значившим для меня в детстве, был Шекспир — сам процесс чтения Шекспира (а именно чтения вслух), — и началось это в восьмилетнем возрасте, когда мне подарили красиво иллюстрированную книгу Чарльза Лэма “Рассказы из Шекспира”. За четыре года я успела прочесть Лэма, а потом многие пьесы самого Шекспира, прежде чем увидела его на сцене и в кино. А кроме Шекспира, в пересказах и в оригинале, были “Винни-Пух” и “Таинственный сад”, “Путешествия Гулливера” и сестры Бронте (сначала “Джен Эйр”, потом “Грозовой перевал”), “Монастырь и очаг” и Диккенс

(первыми были "Дэвид Копперфильд", "Рождественская песнь" и "Повесть о двух городах"), много Стивенсона ("Похищенный", "Остров сокровищ", "Доктор Джекилл и мистер Хайд") и "Счастливый принц" Оскара Уайльда. Были, конечно, и американские книги — рассказы Эдгара По, "Маленькие женщины", романы Джека Лондона и "Рамона". Но в то отдаленное, все еще раздумчиво-благовоспитанное и англофильское время представлялось совершенно нормальным, что большинство книг, которые я читаю, написаны где-то далеко, в старой, увлекательной, экзотической Англии.

Когда это "где-то" расширилось, когда круг моего чтения — на английском, конечно, — включил в себя книги, написанные не на английском, когда я зашла в мировую литературу, переход был почти неощутим. Дюма, Гюго и далее... Я знала, что читаю "иностранных" писателей. Я не задумывалась о посредничестве, благодаря которому получила эти грандиозные книги. (Вопрос: кто самый великий русский писатель девятнадцатого века? Ответ: Констанс Гарнетт.) Если попалась неуклюжая фраза в романе Манна, или Бальзака, или Толстого, мне не пришло бы в голову поинтересоваться, так ли неуклюжа она в немецком, французском или русском оригинале, или заподозрить, что она "плохо" переведена. Для моего молодого, неискушенного читательского ума не было такого понятия, как плохой перевод. Это были просто переводы — расшифровавшие для меня книги, которые иначе оказались бы недоступны, и вложившие их мне в руки и в сердце. Для меня оригинальный текст и перевод были — одно.

Первый раз я подумала, что перевод может быть плохим, в шестнадцать лет, когда стала ходить в оперу, в Чикаго. Там я впервые взяла в руки перевод en face: слева текст на языке оригинала (к тому времени я немного знала французский и итальянский), справа — на английском, и была озадачена и поражена вопиющей неточностью переводов. (Лишь через много лет я поняла, почему либретто нельзя перевести буквально.) В те первые годы чтения переводной литературы, если не считать оперы, я не задавалась вопросом, сколько мною в книге упущено. Я как бы считала, что это моя работа — видеть *сквозь* изъяны и ограничения перевода, как видим сквозь (или не замечаем) царапины на изношенной копии любимого старого фильма. Переводы были подарком, за который я вечно буду благодарна. Кем -- а вернее, кто — бы я была без Достоевского, Толстого, Чехова?

Мое представление о том, чем может быть литература, мое глубокое уважение к занятию литературой как профессией и отождествление профессии писателя с осуществлением

свободы — все эти составляющие моего восприятия жизни немыслимы без книг, переводных книг, прочитанных начиная с раннего возраста. Литература была мысленным путешествием: путешествием в прошлое... и в другие страны. (Литература была средством передвижения, которое могло доставить тебя *куда угодно.*) И литература была критикой твоей действительности, с точки зрения более высоких мерок.



Писатель — прежде всего читатель. Именно в чтении я почерпнула критерии, по которым должна мерить свою работу, — для меня, к сожалению, невыполнимые. Именно через чтение, до того как начала писать, я стала членом сообщества — литературного сообщества, — где больше мертвых писателей, чем живых. Чтение и усвоение норм — это наша связь с прошлым и с иным. Чтение и усвоение литературных норм — это непременно, на мой взгляд, связано с литературой в переводе.

# Четыре эссе



## Внутри сингулярности

Счастливые люди счастливы, несмотря на то что совсем недавно в Средиземном море затонуло судно с пятьюстами беженцами из Африки и Ближнего Востока, значительную часть которых составляли женщины и дети. Несчастные люди, впрочем, несчастны точно так же, полностью игнорируя закадровый контекст. Оптимисты предсказывают торжество искусственного разума и скорую победу над старостью и смертью, пессимисты высмеивают их, напоминая о неизбежной климатической катастрофе и коррозии социальной ткани из-за имущественного неравенства и международного терроризма. Подмывает сказать, что вот эта близорукость, готовность судить об экстерьере слона на ощупь — все, что нужно о нас знать маловероятным историкам будущего или, на худой конец, пришельцам из космоса. Пессимизм нередко выглядит убедительнее своей противоположности.

Британский философ Джон Грей, завсегдатай англоязычных интеллектуальных журналов, явно принадлежит к сторонникам последнего, у него всегда наготове ушат ледяной воды для чересчур зарвавшихся апологетов прогресса. Его последняя статья[1] в журнале "Lapham's Quarterly" написана в том же жанре и посвящена как раз попыткам Запада, пребывающего, по мысли автора, в плену либеральных иллюзий, совладать с обостряющимся ближневосточным кризисом. Когда-то под этим кризисом подразумевали израильско-палестинский конфликт, но теперь его рамки сильно раздвинулись.

Всплески варварства на "нашей" территории, вроде последних терактов в Париже и Брюсселе, мы, с нашей точки относительного либерального благополучия, воспринимаем как некие рецидивы Средневековья. Это бедное Средневековье стало пугалом не по заслугам: крестовые походы были, конечно, не подарок, но резали и грабили тогда в основном

© Алексий Цветков, 2017
Совместно с inLiberty.ru

1. http://www.laphamsquarterly.org/disaster/anomaly-barbarism

вдали от родных очагов. Римляне убили всех мужчин во взбунтовавшемся Коринфе, женщин и детей продали в рабство, а город снесли и перепахали территорию с солью. А уже ближе к нашим благословенным временам в результате тридцатилетней войны Германия лишилась трети населения. Да и XX веку есть что показать. Комментируя наш ужас при виде издевательств ИГИЛа над памятниками Пальмиры, Грей напоминает об истреблении тысячелетнего культурного наследия Китая в эпоху маоизма, о сносе пагод и храмов в Камбодже во времена Пол Пота, а также церквей и синагог в России большевиками. Уж к этому ужасу у нас должен быть минимальный иммунитет.

Примерно то же можно сказать о терактах: тут Грей справедливо напоминает о записках Ильича с требованиями дополнительных массовых повешений и расстрелов в назидание немытой массе – при этом цель была вполне сходной с теми, которые преследует ИГИЛ, только инструкции черпали не в Коране, а из практики Французской революции. А методы ВЧК тех лет вполне выдержат сравнение с ИГИЛовскими – чего стоит один харьковский "перчаточник", упомянутый в книге Орландо Файджеса "Народная трагедия", следователь, который размачивал у пытаемых кожу на руках, чтобы затем надрезать и снять подобно перчатке. Затопляемые баржи с наугад согнанными классовыми врагами ни в чем не уступят расстрелу в "Батаклане". То есть все поклепы на Средневековье здесь в пользу бедных: речь идет о вполне современной группировке, реализующей свои жуткие цели с помощью новейших технологий и методов пропаганды.

Если перейти от этих симптомов испуга к методам борьбы с его источниками, то тут у автора еще меньше добрых слов в наш адрес. Он отмечает, что на обоих флангах политического спектра, как у так называемых "неоконсерваторов", так и у прогрессивных либералов, международная повестка дня фактически идентична: установление демократии в странах с деспотическими режимами с тем, чтобы успехи рыночной экономики и расширение сферы гражданских свобод ликвидировали почву для социального протеста, все чаще принимающего форму религиозного фанатизма. Но эти попытки обречены на провал, когда речь идет о государствах, наспех сколоченных из племен, имеющих между собой мало общего, отягченных взаимной подозрительностью и далеких от того, чтобы слиться в нацию, которая является непременным залогом гражданского общества. Один из самых ярких примеров такого провала – Ирак, духовная родина ИГИЛа. Грей напоминает нам слова Гертруды Белл, известного вос-

токоведа и британской колониальной чиновницы, которая была одним из "соавторов" создания современного Ирака и настаивала на том, что власть в стране должна оставаться в руках суннитов, несмотря на то, что они являются меньшинством — в противном случае мы получим теократическое государство муджахедов, хуже которого не придумаешь. Увы, ее пророчество сбылось, вопреки нашим самым благим намерениям. По мнению Грея, Запад ведет себя как упрямый двоечник, постоянно игнорируя опыт собственных кровавых ошибок, потому что вслед за Ираком он помог свергнуть тирана в Ливии и был готов повторить ту же стратегию в Сирии.

Вторгнуться в страну, демонтировать ее институты, создать несостоявшееся государство, уйти из возникшего хаоса, а затем вернуться с нескончаемыми кампаниями бомбардировок — идиотизм, у которого мало исторических параллелей. Настаивать на подобном поведении после стольких катастроф — свидетельство чего-то более масштабного, чем идиотизм, как бы велик он ни был. Подобное поведение смахивает на крайнюю степень когнитивного диссонанса — попытки изгнать из памяти вопиющие факты. В своих навязчивых попытках переделать мир в соответствии с идеализированным образом своих собственных обществ западные лидеры отмели чувство реальности.

Джон Грей обвиняет Запад в слепоте, в попытке навязать собственную матрицу обществам, органически неспособным ее принять — как если бы мы упорно обучали кошку собачьему обыкновению приносить назад брошенный мяч или палку. Его критика порой настолько язвительна и остроумна и настолько лишена каких-либо рецептов и советов для корректировки, что начинаешь подозревать его в элементарном злорадстве. Это, может быть, не совсем верно: он прекрасно понимает преимущество либерального общества перед деспотизмом и теократией и явно не намерен менять свое заметное место в западном интеллектуальном истеблишменте на должность труженика северокорейской пропаганды. Просто он считает либеральную демократию случайным эпизодом в мировой истории, не подлежащим экспорту.

Либеральная цивилизация — это не формирующийся смысл современного мира, а историческая сингулярность, хрупкая по самой своей природе. Поэтому она заслуживает того, чтобы ее сохранить. Защита этой формы жизни от ИГИЛа заслуживает ясного понимания, что эта джихадистская группировка не является атавистической силой, которая, с небольшой помощью со стороны усиленных бомбарди-

ровок, отступит перед лицом модернизации. Если мы хотим устранить эту угрозу, ИГИЛ следует победить и уничтожить.

Вот оно, значит, как. Вот только, критикуя, и во многом справедливо, нынешние методы устранения угрозы, Грей не предлагает своих. Впрочем, их довольно легко вычислить из его критики: очевидно, что вместо бесполезных попыток навязать демократию обществам, которые к ней не готовы, мы должны культивировать дружественных диктаторов, а там, где их легкомысленно пытаются свергнуть — способствовать воцарению новых, потому что только железная рука диктатора способна удержать такие лоскутные мини-империи от распада и хаоса.

Но в реальном мире этот рецепт не работает, даже если отвлечься от его моральных импликаций. Таким диктаторам обычно приходится настолько крепко держаться за власть, что их смерть почти неизбежно ведет к распаду и гражданскому конфликту — династическое устройство Северной Кореи тут как раз временное исключение, подтверждающее правило. Напоминать ли, что в Югославии никто не свергал Тито, а его смерти ожидали с нехорошим предчувствием, которое вполне себя оправдало?

Более того, диктатор действует по своим правилам, а не по нашим, и сегодняшняя технологическая асимметрия дает ему возможность легко перейти от заискивания перед намного более мощным покровителем к прямому шантажу. До кувейтской авантюры Саддам Хуссейн был вполне в фаворе у США, а повелитель голодной и нищей КНДР в скором времени может заполучить баллистические ракеты с ядерными боеголовками, способные угрожать Сан-Франциско и Лос-Анджелесу. И совсем непонятно, как быть с Египтом, который уж никак не лоскутное наследие колониализма, — там первоначальные лидеры "арабской весны" явно вдохновлялись либеральными идеалами, но были подмяты наступлением реакции с обоих флангов, а невмешательство США лишь способствовало подозрительности и неприязни со стороны всех участников, победителей и побежденных. Невмешательство — тоже надежный метод заполучить врагов.

Вполне возможно, что либеральная цивилизация — историческая сингулярность, какой она представляется Джону Грею, хотя на самом деле у него нет никакой отмычки для тайн мировой истории. Но даже если это и так, все мы, включая самого Грея, понимаем, какой счастливый билет нам выпал, и вряд ли согласимся просто сидеть и ждать, пока эта полоса везения сама собой не оборвется. Но цивилизация, о которой идет речь, не может довольствоваться простым пра-

вилом самосохранения, для которого все средства хороши, у нее есть комплекс принципов, от которых она не может отступиться и которые постулируют право человека на автономию, равенство перед лицом государства и волю распоряжаться своим имуществом и жизнью по собственному усмотрению. В соответствии с этим парадоксальным устройством, жертвуя фундаментальными принципами ради самосохранения, мы на самом деле теряем именно то, что пытаемся сохранить. В силу этих принципов многим из нас все-таки небезразлична гибель тысяч в водной пучине — тех, кто хочет жить, как мы. Жертвы крестовых походов или тридцатилетней войны не могли рассчитывать на первые полосы газет и заглавные теленовости. И сам факт нашего небезразличия — свидетельство того, что наше общество, может быть, не просто сингулярность в истории, внутри которой мы в состоянии лишь оттянуть неизбежный финал, а обещание будущего.

Легко обвинять, что нынешний поток беженцев, равно как и взрывы в Париже и Брюсселе, вызван как раз тем, что критикует Грей, неуклюжим вмешательством в жизненный уклад неблагополучных государств, одним из последствий которого стал ИГИЛ. Но в век глобализации двери уже не захлопнешь — даже если мы полностью уйдем с Ближнего Востока, Ближний Восток непременно заявится к нам, да и Африка тоже. И если Джон Грей полагает, что живая собака лучше мертвого льва, лев, покуда он жив, вправе не соглашаться.

## *Обама в Хиросиме*

6 августа 1945 года американский бомбардировщик “Enola Gay” сбросил атомную бомбу на японский город Хиросиму, после чего Президент США Гарри Труман потребовал от Японии немедленной капитуляции. Десятки тысяч жителей города погибли немедленно, а затем еще многие — от ожогов и последствий радиации. Этот эффект замедленного действия не позволяет точно определить количество жертв, цифры колеблются от 90 до 146 тысяч. 9 августа еще одна такая же бомба была сброшена на Нагасаки, где погибло от 39 до 80 тысяч. 15 августа Япония капитулировала. Бомбардировка Нагасаки с тех пор остается несколько в тени, символом ядерной смерти, к добру или худу, остается Хиросима — место трагического дебюта смертоносного оружия, над созданием которого трудились лучшие, без тени иронии, интел-

лекты того времени, съехавшиеся со всего мира для участия в проекте "Манхэттен". Хиросима стала не просто синонимом трагедии, но и величайшей нравственной проблемой для человечества, знаком вопроса, проставленным над всем будущим нашей цивилизации.



Семьдесят один год спустя Хиросиму посетил, впервые за все это время, президент Соединенных Штатов, возложивший, вместе с японским премьером Синдзо Абэ, венки к мемориалу и выступивший с тепло встреченной местными жителями речью. Согласно опросам, этот визит приветствовали 70 процентов японцев. И, однако, с самого начала было дано понять, чего в этой речи не будет: официального извинения. Причины очевидны: в США еще живы ветераны этой войны, которые помнят, кто ее начал, помнят бесчеловечное обращение японцев с военнопленными и смертоносные рейды летчиков-самоубийц в то время, когда война уже очевидно была проиграна Японией. Не менее деликатный аспект — настороженная реакция со стороны Китая и союзной Южной Кореи, жертв японской агрессии.

О Хиросиме написано множество документальных и морально-философских исследований, созданы художественные произведения, сняты фильмы. Доводы тех, кто эту бомбардировку оправдывает, хорошо известны: затянувшееся безнадежное сопротивление японцев и, соответственно, бесполезные, с военной точки зрения, потери американцев, а также перспектива высадки на главных островах страны с еще большими потерями. Те, кто бомбардировку осуждает, указывают на недопустимость намеренного нанесения ударов по гражданскому населению.

Эта нравственная задача — не из числа тех, которые нам приходится ежедневно решать в повседневной жизни, не говоря уже о том, что подавляющее большинство из нас никогда не будет иметь непосредственного отношения к принятию подобных решений. И тем не менее наши повседневные поступки требуют, чтобы мы встали в этом споре на одну из сторон, потому что попытка оставаться "над схваткой" тривиализует даже наши мелкие бытовые решения: если выбор в Хиросиме безразличен, то уж о том, отнимать или нет конфету у ребенка, вообще не стоит беспокоиться. Для меня лично точку в этом поиске, надеюсь раз и навсегда, поставила книга британского философа А. К. Грейлинга "Среди мертвых городов", и некоторые из доводов, которые я приведу ниже, представляют собой вольное изложение его тезисов.

Но прежде всего, как ни дико это прозвучит, Хиросиму следовало бы лишить приоритетного статуса в нашей памяти. Сколько бы народа ни погибло в Хиросиме и Нагасаки

вместе взятых, жертв в ходе предшествовавших им мартовских зажигательных бомбардировок Токио было больше, около 300 тысяч в испепеленном городе, сплошь состоявшем из деревянных застроек. Приверженцы символизма Хиросимы настаивают, что смерть от последствий ядерного взрыва куда ужасней, на память приходят образы полусожженных заживо людей, держащих в ладонях собственные выпавшие из орбит глаза. И, однако, все невинно убиенные мертвы абсолютно одинаково, а с ужасами Хиросимы вполне выдержит сравнение то, что перенесли жители Гамбурга в июле 1943 года, во время так называемой операции "Гоморра", когда британская авиация буквально засыпала город зажигательными бомбами. Концентрация пожаров была такой, что они слились в огненную бурю, буквально высасывающую из воздуха весь кислород, люди тысячами гибли в убежищах от удушья, а при попытке бежать тонули в расплавленном асфальте. Кроме того, бомбы начинялись фосфором, горящим прямо на теле, который невозможно было погасить.

Вполне логично, что большая часть книги Грейлинга посвящена вовсе не атомной бомбардировке Японии в финале Второй мировой, а ковровым бомбардировкам немецких городов, начавшимся с Любека и Гамбурга вплоть до наиболее известной серии налетов на Дрезден, в результате которой город с уникальной барочной архитектурой был практически стерт с лица земли — хотя дело, конечно же, не в архитектуре. Решение американцев легче понять, хотя не обязательно с ним соглашаться (к чему я еще вернусь), тогда как стратегия Королевских военно-воздушных сил была проблематичной с самого начала. Ее архитектором был маршал военно-воздушных сил Артур Харрис, считавший, что подобные ковровые бомбардировки в состоянии полностью деморализовать немецкое население и ускорить победу — более того, стать решающим фактором в этой победе.

Стратегия была отчасти вынужденной: в начале войны военная авиация Соединенного Королевства была технически неподготовленной и несла невосполнимые потери при попытке бомбить военные и военно-промышленные объекты противника, тогда как города можно было бомбить ночью, не очень прицеливаясь. Высшее командование, включая Уинстона Черчилля, было против, но Харрису удалось настоять на своем.

Как убедительно показывает Грейлинг, стратегия оказалась совершенно неэффективной. Благодаря прекрасной организации тыловых служб нацистам удавалось (за исключением заключительных месяцев войны) быстро оказывать

эффективную медицинскую и продовольственную помощь и восстанавливать разрушенные стратегические объекты, а производительность военной промышленности Германии неуклонно возрастала почти до 1945 года. Для этого в их распоряжении были ресурсы оккупированных стран и множество гастарбайтеров — как подневольно угнанных, так и нанятых по контракту. В противоположность этому наиболее эффективным использованием британской авиации за всю войну была ее переброска на бомбардировку немецких транспортных узлов и энергетических объектов во время высадки союзных войск в Нормандии, по настоянию высшего командования — иными словами, для достижения четко продуманных стратегических целей. Тогда как сотни тысяч людей были стерты с лица земли без всякой реальной военной цели и смысла, уничтожены ради самого уничтожения. Эта трагедия ничуть не уступает по масштабам той, которая произошла в Японии, но японская, конечно, куда киногеничней.

Если вернуться к Японии, то ее, с точки зрения поведения воюющих сторон в отношении гражданского населения противника, следует рассматривать не как вопиющее исключение, а как еще один пример жестокости со сравнимым количеством жертв. Как я уже отметил выше, массовое уничтожение мирного населения страны оправдывалось и оправдывается необходимостью ускорить капитуляцию, чтобы избежать дополнительных потерь в военной силе. Но ставить знак равенства между жизнью и безопасностью гражданского лица и военнослужащего, чья задача как раз и заключается в том, чтобы убивать и, в случае необходимости, жертвовать собой, совершенно неправомерно — эта разница подчеркивалась в европейских правилах ведения войны, официальных и неофициальных, еще со времен пионера международного права Гуго Гроция. Гаагская конвенция 1907 года[1] прямо говорит о недопустимости использования оружия против гражданского населения незащищенных городов (Дрезден был полностью лишен такой защиты в конце войны), а также для разрушения зданий, имеющих культурное и историческое значение.

Что касается капитуляции, то Япония была к ней в то время вполне готова и даже пыталась вести переговоры о посредничестве с Советским Союзом, еще не объявившим ей войну, хотя он, рассчитывая на территориальные приобретения, не спешил пойти ей навстречу. Тонкость заключалась в том, что

1. http://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague04.asp

США добивались безусловной капитуляции, и к тому же стремились союзники в Европе, игнорируя обращения антигитлеровских группировок. Не оспаривая правоты союзников, мы, тем не менее, имеем право усомниться, стоило ли покупать оптимальные условия победы горами гражданских трупов.

Можно возразить, что не все пункты Гаагских конвенций были всеми ратифицированы и получили законную силу. Но это было бы странным оправданием: если нет закона, запрещающего убийства (допустим, на необитаемом острове), значит ли это, что можно убивать безнаказанно? Даже там, где отсутствует уголовная ответственность, нравственная остается. Большинство положений Гаагских конвенций впоследствии были узаконены Женевскими, и было бы странно утверждать, что действие, объявленное тягчайшим преступлением, еще вчера было разрешенным и морально нейтральным. Рабство было преступлением против человеческой природы всегда — задолго до принятия запретивших его законов и конвенций.

Вывод здесь однозначен: в войне, которую мы склонны считать одной из самых справедливых за всю историю, все воюющие стороны повинны в тяжких военных преступлениях — о нацистах и японцах мы и так все знаем, но вина лежит и на тех, кто бомбил Дрезден и Гамбург, Хиросиму и Нагасаки, а также грабил, жег и насиловал на всем пути до Берлина. И вина одной стороны не сводит на нет вину другой. Помогут ли здесь публичные извинения и покаяния вроде того, какое в свое время продемонстрировал канцлер ФРГ Вилли Брандт в Варшаве? Его благородный поступок не воскресил убитых и замученных, но мы могли бы поступить еще лучше, если бы извлекли урок из прошлого и, возведя Хиросиму в символ, подвели бы черту под постыдным прошлым. С тех пор, однако, были Вьетнам и Камбоджа, Сребреница и Руанда, Грозный и Алеппо, и ближайшее будущее, увы, радикальных перемен не обещает.

## *Сотворение кумира*

Существует такая моральная задача-притча, уже практически мем. Допустим, вы пробрались в прошлое, в 1889 год, в окрестности австрийского города Линц. Только что там появился на свет младенец Адольф Гитлер. Вопрос: если вы прокрадетесь к его колыбели и задушите его, будет ли такой поступок морально оправданным?

Никакого однозначного и убедительного ответа на этот вопрос не найдено, интересующиеся могут пошарить в гугле, а я пока попытаюсь радикально изменить условия задачи с

тем, чтобы лучше приспособить ее для того, что я собираюсь здесь сказать. Допустим, машина времени занесла вас в Берлин 1932 года, где только что прошли президентские выборы. Их выиграл Пауль фон Гинденбург, стоящий на пороге старческого маразма, а Гитлер, чья партия уже начала терять популярность, пришел вторым. Крайне правые политики отправили письмо Гинденбургу с просьбой назначить Гитлера канцлером — в надежде, что они сумеют использовать его в качестве марионетки, а в подходящий момент убрать с политической арены. В действительности, как мы знаем, история распорядилась иначе.

Допустим (не спрашивайте, каким образом) вы можете оказать влияние на тех же правых, предотвратить роковое письмо и спровоцировать государственный переворот, поправ волю немецкого народа. Режим, который в результате окажется у власти, будет малоприглядной диктатурой, наверняка крайне репрессивной и с реваншистским душком, но худшее будет предотвращено.

В отличие от первой задачи здесь нет прямого морального преступления, убийства невинного (пока что) дитяти, и, хотя кровь, скорее всего, прольется, это будет лишь косвенным последствием ваших манипуляций, а вот десятки миллионов людей будут спасены реально. Но при этом вы совершили несомненное политическое преступление: саботировали демократический выбор народа, то есть, в терминах сегодняшнего дня, посягнули чуть ли не на святыню. Есть ли в этой логике ошибка, и если есть, то в чем она заключается?

Нам постоянно твердят, оппонируя несомненным тиранам и узурпаторам, что воля электората в демократическом государстве является законом и что ее необходимо уважать. Но вот первые приходящие на ум примеры такого волеизъявления из числа текущих событий, не для каждого однозначных. Население Соединенного Королевства в ходе всеобщего референдума высказалось за выход страны из Европейского союза, и, хотя референдум не имеет силы закона, вряд ли правительство нового премьера, Терезы Мэй, будет в состоянии игнорировать его результаты. Тем временем в Соединенных Штатах, опять же в результате такого волеизъявления, может прийти к власти человек, запросто оскорбляющий огромные группы электората и выступающий за экономическую автаркию и изоляционизм. А тут еще толпы турецких граждан вышли на улицы, чтобы в годину путча поддержать своего демократически избранного президента, который планомерно превращает демократию в диктатуру.

Начнем с того, что референдум сегодня — одно из самых тупых орудий демократии. Референдум имел некоторый смысл на заре демократической истории, когда весь электорат можно было собрать на городской площади и попытаться объяснить ему смысл проблемы, хотя и в ту пору ловко подвешенный язык демагога мог привести к печальным результатам. Сегодня, когда электорат может исчисляться сотнями миллионов, а проблемы неизмеримо сложнее, эффективность референдума еще сомнительнее. Представьте себе, что в демократическом европейском государстве или даже в США вынесут на всенародное голосование предложение запретить продукты ГМО. Против них давно и успешно ведут агитацию популярные экологические группировки с массовым членством (один Greenpeace — почти три миллиона), тогда как в их защиту выступает практически весь научный консенсус, но его аргументы широким массам не очень понятны и даже не слышны. Вряд ли можно сомневаться, что предложение будет принято с трагическими последствиями для населения планеты, которую традиционные методы селекции уже не успевают прокормить. Это гипотетический пример, а вот реальный: в ходе британского референдума население полуострова Корнуолл с большим отрывом проголосовало за выход из Евросоюза и лишь постфактум сообразило[1], что живет в значительной степени за счет дотаций ЕС, которые теперь, видимо, прекратятся.

Референдумы все же остаются исключениями. Современная демократия, конечно же, преимущественно не прямая, а представительная, управлением на всех уровнях занимаются сегодня депутаты, губернаторы и президенты, а также назначенные ими бюрократы, избавляющие нас от бремени составления с нуля, к примеру, сетки городской канализации на всеобщем собрании избирателей. Но и тут не все просто: что, собственно, должны делать эти депутаты и президенты — скрупулезно выполнять наши поручения, вычитанные из социологических опросов, или, на свой страх и риск, проводить в пределах отпущенного им срока политику, которую они сами считают разумной? Выбираем ли мы их просто в качестве рупора нашего общего мнения или же должны полагаться на их собственную компетенцию? Согласно первой модели депутат — это просто делегат от народного собрания

1. https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/25/after-residents-voted-for-brexit-this-british-county-realized-the-e-u-might-stop-sending-them-money/

со списком врученных ему претензий, тогда как согласно второй он — полномочный представитель, обладающий всеми необходимыми прерогативами. Эту вторую модель защищал известный англо-ирландский политический деятель и философ Эдмунд Берк, которого считают основоположником современного политического консерватизма. По его мнению, парламент не должен быть пунктом столкновения различных локальных и групповых интересов, а единым органом принятия решений. Если избранная депутатом позиция не понравится электорату, за электоратом остается право его не переизбрать. То есть совершенно очевидно, что глас народа Берк не принимал за глас божий.



Защитником концепции делегата был один из отцов-основателей США Джеймс Мэдисон, но и он не считал демократию без тормозов идеалом политического устройства. В эссе № 63 в "Записках федералиста", где обсуждается будущее конституционное устройство страны, некто под псевдонимом Публий, то есть либо сам Мэдисон, либо Александр Гамильтон, пишет:

...В общественной жизни случаются конкретные ситуации, когда люди, движимые какой-нибудь неразумной страстью, или ищущие неправомерного преимущества, или введенные в заблуждение искусным искажением фактов в устах тех, кто защищает свои частные интересы, могут потребовать мер, о которых сами же они будут впоследствии готовы пожалеть и которые они осудят. Сколь же спасительным будет в эти критические моменты вмешательство какой-нибудь умеренной и достойной уважения группы граждан с тем, <...> чтобы задержать удар, замышляемый людьми против самих себя, пока здравый рассудок, правосудие и истина не возобновят контроль над общественным сознанием?[1]

И такое вмешательство отцы-основатели предусмотрели с лихвой: прежде всего это сама Конституция, ограничивающая спектр законов, которые можно принимать, но также Верховный Суд и непрямое избрание сенаторов и президента. Все это, конечно, меры, ставящие пределы демократии именно с целью, сформулированной в "Записках федералиста". Со временем некоторые из них были демонтированы по мере того, как наше понимание демократии менялось, и наверняка это не последние изменения такого рода. Означает ли эта эволюция, что существует некий идеал демократии,

1. http://avalon.law.yale.edu/18th_century/fed63.asp

к которому надлежит стремиться? И уж совсем неудобный вопрос: нужен ли нам такой идеал?

Среди просвещенной части российского общества распространено мнение, что непросвещенное большинство понимает либерализм и демократию как карго-культ, который вырождается в обратный карго-культ в связи с разочарованием, что самолеты из соломы не взлетают. Но и просвещенная часть, причем не только в России, затронута симметричным заблуждением — например, презумпцию невиновности некоторые принимают настолько всерьез, что отказываются называть вором человека, на глазах у всех срезавшего чужой лопатник, до приговора суда. Демократия тоже окружена подобным фетишизмом: результаты того или иного голосования часто преподносятся нам как истина в последней инстанции: народ, дескать, сказал свое слово, а народ не может быть неправ. Да неужели? Народ, вы уж меня извините, чаще всего даже не понимает, о чем идет речь и за что он голосует. Демократия — это не мифическая правота большинства, а право каждого на мнение и высказывание, в том числе и абсолютно неверное, в частности, у избирательной урны. И если этот народ изберет Дональда Трампа в президенты, никакие высокопарные аргументы не заставят меня согласиться с его выбором, хотя я, может быть, и смогу подобрать ему объяснение.

Исторически демократия, если отвлечься от афинского пробирочного эксперимента, сложилась как постепенное претворение в жизнь либеральных принципов, и в отрыве от этих принципов она не имеет никакой автономной ценности, но зато обладает всеми пороками, в которых ее уличил еще Аристотель. Ее неизбежность и необходимость заключается в том, что любое другое общественное устройство, каким бы мудрым оно ни было, отвергает краеугольный принцип всеобщего равенства. Ее очевидные пороки компенсируются тем, что только она гарантирует регулярную сменяемость власти, без чего не избежать коррупции и, в конечном счете, деспотизма. Но было бы роковой ошибкой понимать ее как раз и навсегда возведенное здание, символом которого может послужить та же конституция — скорее это вечная стройка в надежде, что удастся приспособиться к новым и непредвиденным обстоятельствам, залатать вчерашние прорехи и исправить ошибки, причем без какой бы то ни было гарантии, что все сложится оптимально. Отцы-основатели, например, никак не могли предугадать социальных сетей и сотовых телефонов, повергающих общество в панику после каждого громкого теракта, хотя смертность от терроризма в сотни раз

ниже, чем от ДТП. Эта паника, в свою очередь, подрывает либеральные основы демократии, способствует ксенофобии и свертыванию гражданских свобод. А без них демократия не заслуживает доброго слова.



## *Комплекс Макропулоса*

В годы моего детства, да наверное и позднее, в популярных советских журналах, таких как "Огонек" или "Смена", время от времени появлялись статьи о мифических кавказских долгожителях, в том числе таких, которые мотали сроки по 150 лет и дольше в нашей юдоли скорби – хотя, конечно, юдолью скорби это тогда не считалось, потому что все кругом цвело и тянулось к незакатному солнцу коммунизма. Эти старожилы, из которых иные смутно припоминали еще войну с Наполеоном, якобы сумели протянуть так долго потому, что, во-первых, провели всю жизнь козьими пастухами на горном воздухе, а во-вторых, питались, по их словам, почти исключительно кефиром. Авторов статей никак не останавливало то обстоятельство, что на Кавказе народ из кисломолочного сильно предпочитает мацони и что ни один из этих мафусаилов не был в состоянии подтвердить свое долголетие паспортными данными. Никому, видимо, не хотелось портить красивую историю.

Этот миф впоследствии, хотя и на короткое время, стал чем-то вроде мема, но уже в Америке. Где-то на рубеже 80-х одна из фирм, выпускавших йогурт (кефир тогда еще популярностью здесь не пользовался), использовала в своих рекламных роликах актеров, выряженных под этих бессмертных кавказских пастухов, то есть в смазных сапогах и медвежьих шапках. А потом вся фантазия как в воду канула, и сегодня никто не связывает долгую жизнь ни с кефиром, ни с Кавказом. Держательница документально удостоверенного рекорда француженка Жанна Кальман пила вино и курила сигареты. Она прожила 122 года, и у нас есть все основания полагать, что это и есть приблизительный предел человеческой жизни.

Сегодня долголетием всерьез занялась наука, и она уже в состоянии сообщить о первых успехах – именно им посвящен заглавный материал[1] одного из номеров журнала

1. http://www.economist.com/news/briefing/21704788-fight-cheat-death-hotting-up-adding-ages

"Economist". К числу практически сиюминутных можно отнести продление жизни до ее естественных рубежей, то есть примерно тех, на которые вышла, видимо благодаря оптимальной генетике, Жанна Кальман. Это достигается, в частности, посредством довольно изнурительной диеты и ряда других методов, но тут каждый оставлен на милость своей наследственности, не всегда одинаково благоприятной. Эволюция, однако, не предусмотрела для человеческой, да и для любой другой жизни, неопределенного срока, и поэтому в более далекой перспективе — регенерация с помощью фармакологии, переливаний крови и инъекций стволовых клеток. Кое-что из этих методов уже испытывают на себе сами исследователи и заинтересованные пациенты, располагающие достаточными средствами. Так или иначе, речь идет о реальном продлении жизни, может быть, на сотни лет, и в рядах специалистов крепнет уверенность, что эти прогнозы имеют под собой прочную почву. Важно отметить, что речь идет не просто о затягивании процесса старения и умирания, а о консервации возраста трудоспособности и максимальной активности на неопределенное время.

Но попутно неизбежен ряд проблем, и "Economist" анализирует некоторые из них — на мой взгляд, далеко не все. Прежде всего, ни одна крупная фармацевтическая фирма не станет вкладывать в такие исследования реальные деньги, пока не прояснится вопрос с их рентабельностью. Страховые компании, ведающие этой рентабельностью, рассматривают старение и смерть как естественную часть жизненного цикла, а любую попытку задержать и предотвратить их — как вмешательство сродни косметическому, которое оплате не подлежит. Но это как раз не самая крупная проблема, она будет преодолена, как только государственные органы, регулирующие медицинское обслуживание, убедятся в действенности терапии и дадут одобрительную санкцию. При этом, однако, процедура омолаживания, даже при участии страховых компаний, почти наверняка будет дорогостоящей, по средствам лишь состоятельным людям, и это может привести к новому витку социального расслоения, чреватому политическими катаклизмами.

Другая проблема — чем занять население, чей продуктивный возраст внезапно увеличится в несколько раз, причем одним из последствий окажется препятствие выходу молодежи на рынок труда, до отказа забитый специалистами с опытом, который может насчитывать столетия. Конфликт поколений может оказаться непреодолимым и привести к резким переменам в социальной структуре, хотя редакция журнала

полагает, что его разрешит многократная смена профессий в ходе длинной жизни. Но это лишь надежда, а не расчет.

В экономике, да и вообще в любой социальной науке, действует закон непредвиденных последствий. Мы принимаем какие-то меры, рассчитанные на удовлетворение реальных нужд, но, как ни стараемся при этом учесть все результаты, некоторые из них могут опрокинуть все наши благие намерения и даже обернуться катастрофой. Одним из наиболее ярких примеров могут послужить попытки реализации, в разных странах и в разное время, марксистской утопии, обернувшиеся адом для сотен миллионов людей, а для десятков миллионов — мучительной гибелью. В конце концов, мечта утопистов о земном рае вполне сравнима с мечтой о бессмертии или хотя бы многократном удлинении жизни. На мой взгляд, "Economist" анализирует лишь самые очевидные из возможных конфликтов, социальные и лежащие на поверхности, и оптимистический в целом тон этого анализа опасений не развеивает. Позволю себе запустить еще пару непредусмотренных редакцией кирпичей в это зеркало иллюзии — на этот раз в личностном, а не социальном аспекте.

Мы не очень хорошо понимаем, несмотря на все усилия философов и психологов, что такое представляет собой человеческая личность, пресловутое Я, от лица которого мы формулируем свои желания и устремления. Шотландский философ Давид Юм объявил личность фантомом, конгломератом как раз вот этих желаний и устремлений, у которых отсутствует реальный стержень, и с тех пор многие специалисты считают это мнение достаточно обоснованным. Кто именно внутри нас стремится к бессмертию и долголетию? Может быть, это просто инстинкт самосохранения организма, встроенный эволюцией — но с какой стати считать эволюционный механизм нравственным предписанием?

Но даже если не впадать в философскую крайность, полезно вспомнить известный парадокс с мифическим "кораблем Тесея". Древнегреческий герой Тесей отправляется в далекое плавание, и по мере того, как части его корабля прогнивают и приходят в негодность, экипаж заменяет их новыми таким образом, что по прибытии на место назначения корабль, хоть и выглядит точно так же, не имеет в себе ни единой доски от первоначального. Вопрос: можно ли его считать тем же самым, полностью тождественным оригиналу? Импликации, надеюсь, понятны: с возрастом компоненты нашей личности меняются, и даже без того чтобы полностью следовать его первоначальному дизайну. Будет ли

человек, доживший до 300–400 лет, той же личностью, что и в 50? И какой смысл говорить о бессмертии, если на самом деле пятидесятилетнего давно нет в живых?



Поскольку для исследования своего внутреннего мира у нас нет другого инструмента, кроме интроспекции, мы можем полагаться только на нее: я, например, хорошо помню, что сильнее всего боялся смерти и мимолетности жизни в четырехлетнем возрасте, а с тех пор эти опасения постепенно идут на спад. Похоже, что инстинкт самосохранения, по крайней мере у большинства, ослабевает после того, как миновал оптимальный для продолжения рода возраст. Не может ли так случиться, что исполнение желания четырехлетнего выпадет на долю четырехсотлетнего, которому оно не обязательно будет кстати и, как мы можем угадать, если до этого возраста никто из нас пока не доживал? Ребенок требует конфету, а то и целых три, не после обеда, а вместо него, но большинство из нас сильно удивится, если по приходе с работы нам дома предложат три конфеты.

Козьма Прутков заметил, что специалист подобен флюсу, и к ученым это относится не в меньшей степени, чем ко всем прочим. Любой из ученых за пределами своей области — профан, а в области сознания, если рассматривать его с чисто субъективной точки зрения, пока нет специалистов, то есть на каждое не больше одного и при этом плохого. Единственное, что нас может здесь выручить — это хорошо развитое воображение. К счастью, специалисты по части воображения существуют, это писатели-беллетристы, и один из них, Карел Чапек, интересовался как раз проблемой, которую я здесь затронул. В его пьесе "Средство Макропулоса" описана женщина, прожившая, благодаря некоему чудодейственному эликсиру, 337 лет и разыскивающая утраченную формулу, чтобы продлить его действие. Но в последний момент она вдруг понимает, что жизнь за все эти столетия утратила всякий вкус и потеряла смысл. На вопрос другого персонажа об идеалах и высших ценностях она отвечает:

Это только для вас. Как вам объяснить? Любовь, может быть, и существует, но — только в вас самих. Если ее нет в ваших сердцах, ее нет вообще... Нигде в мире... Но невозможно любить триста лет. Невозможно надеяться, творить или просто глазеть вокруг триста лет подряд. Этого никто не выдержит. Все опостылеет. Опостылеет быть хорошим и быть дурным. Опостылеет небо и земля. И тогда ты начнешь понимать, что, собственно, нет ничего. Ровно ничего. Ни греха, ни страданий, ни привязанностей, вообще ничего. Существует только то, что сейчас кому-то дорого. А для вас дорого

все. О, боже, и я была, как вы! Была девушкой, женщиной... была счастлива...

Вот это сугубо ненаучное пророчество Чапека, диагноз, который я окрестил бы "комплексом Макропулоса", может быть, и нащупало главный барьер на пути нашей трагической наивности, который всемогущество науки пытается сегодня снести. Человек в том виде, в каком его сформировала эволюция, в конце концов всего лишь конечный автомат с ограниченным числом внутренних состояний. Насколько мы можем судить, отпущенный нам срок жизни, пусть в самых щедрых пределах, обозначенных Жанной Кальман, вполне достаточен для того, чтобы перебрать эти состояния без остатка, после чего начнется стертая кинопленка и заезженная пластинка. А медицинская страховка и обеспечение рабочими местами — всего лишь фон, задник, украшение тюрьмы, в которую мы сами пытаемся себя заточить.

# Дороти Паркер

## *Три рассказа*

*Перевод* Александра Авербуха

### *Миссис Хофстадтер с улицы Жозефины*

В то лето мы с полковником сняли бунгало, которое называлось дом 947 по бульвару Уэст-Каталпа. Считалось, что оно полностью обставлено – там было всего три вилки, но зато двадцать четыре лопаточки для выковыривания ядра из скорлупы грецких орехов.

Затем мы отправились в агентство по трудоустройству искать сокровище. Работавшая там дама, предположительно вся однотонно-розового цвета, способности – безграничны, как небо, представляла собой несколько рядов террас. Она вгрызалась в каждое свое слово и, казалось, находила в том удовольствие. Каждую свою фразу доедала до последней крошки. В присутствии таких людей меня частенько спрашивают:

– Что это с тобой сегодня, Сестричка[1]? Язык проглотила?

© Dorothy Parker. 1939–1967
© Александр Авербух. Перевод, 2017

1. Сестричка – имя пятилетней девочки из рассказа Дороти Паркер "Что за прелестная картина!". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Но полковнику в таких случаях хочется рассказать, что он сделал с человеком по имени Филадельфия Джек О'Брайен[1]. Поэтому от имени нас двоих говорил только полковник. У дамы быстро сложилось впечатление, что я — нечто такое, что обычно держат в запертой части дома. Она мне доброжелательно кивнула, будто хотела сказать: — Ты тут посиди тихонько, посчитай свои пальчики. Все ли двенадцать на месте? — После чего они с полковником уже не обращали на меня внимания.

— Нам нужен, — сказал полковник, — человек. Человек, который бы ходил на рынок, готовил, подавал на стол, следил, чтобы в коробках всегда были сигареты, и убирался в доме. Нам нужен мужчина, — сказал полковник, — ибо женщины, как подсказывает, по крайней мере, наш опыт, большей частью болтают. Нас замучили непрошеными автобиографиями. Мы настаиваем, — сказал полковник, — чтобы наш слуга был, прежде всего, немногословным. Важно, чтобы мою жену, — сказал полковник, и мы с дамой подумали, что сейчас он добавит "в прошлом мисс Калликак[2]", — не беспокоили.

— Понимаю, — сказала дама и тихонько вздохнула.

— Она пишет, — пояснил полковник.

И уже довольно скоро, заключили мы с дамой, надо будет поискать кого-нибудь, кто бы приходил часа на два-три в неделю и научил ее читать.

Полковник продолжал излагать наши пожелания. Их было немного. Пища самая простая, сказал он. Дама сочувственно ему кивнула и, не сомневаюсь, представила, как он стоит с протянутым блюдом и уговаривает меня не есть глину. Жизнь самая спокойная и размеренная, сказал полковник, встаем очень рано, гостей почти нет. Жить у нас, в сущности — просто отдых. Важно, чтобы кто-то выступал в роли посредника между нами и телефоном, отгонял от крыльца молодых людей, предлагающих подписаться на журналы, и чтобы этот кто-то при иных обстоятельствах умел делать, по возможности, непроницаемое лицо.

— Все, ни слова более, — произнесла дама так, будто говорила о чем-то вкусном, с солью и луком. — Ни слова. У меня как раз есть то, что вам надо.

1. Чемпион мира (1905) по боксу в полутяжелом весе (1878–1942).
2. "Семейство Калликак" — вышедшая в 1912 г. книга американского психолога и евгеника Генри Герберта Годдарда (1866–1957), в которой рассматривается родословное древо некоего Мартина Калликака (псевдоним, состоящий из греческих слов "хороший" и "плохой"). Потомки последнего, унаследовав часть генов от безымянной слабоумной официантки из бара, оказываются бедняками, незаконопослушными и умственно отсталыми. В книге приводятся аргументы в пользу наследуемости душевных черт личности.

Этим “то, что надо”, по ее словам, был Хорас Рен. Он цветной, сказала она, но это ничего. Я так глубоко задумалась над тем, почему она выбрала именно союз “но”, что в этом пиршестве слов пропустила несколько блюд. Способность воспринимать услышанное вернулась ко мне с упоминанием нового имени.

— Он иногда работает у миссис Хофстадтер, — сказала она и приняла торжествующий вид. По моему же виду можно было заключить, что всю свою жизнь я только и слышала, что тот, кто имеет или имел дело с миссис Хофстадтер, как раз, несомненно, и есть “то, что надо”. Полковник же выглядел, большей частью, как обычно.

— Миссис Хофстадтер с улицы Жозефины, — объяснила дама, — живет у нас в самом приятном районе города. У нее там милый домик. Это одно из наших самых приятных семейств. Миссис Хофстадтер... вот, подождите, увидите, что она скажет!

Дама взяла со стола исписанный от руки лист бумаги для заметок — так географические карты бывают покрыты сеткой мелких речушек. Это было рекомендательное письмо Хорасу Рену от миссис Хофстадтер с улицы Жозефины, представлявшее собой, должно быть, нечто среднее между девяносто восьмым псалмом[1] и речью сенатора Веста о собаке[2]. Как бы то ни было, рекомендательное письмо было слишком лестным, чтобы передать его для прочтения таким людям, как мы с полковником. Дама, крепко держа листок в руках, пробежала глазами строчки, цокала языком и восклицала:

— Вы посмотрите, “честный, экономный, хорошо разрезает жаркое” — так! — или: — Бог мой, вот это специально для вас!

Затем она заперла листок в ящике стола и заговорила с полковником. Заполучить Хораса нелегко, но она его все-таки заполучила. И поздравляла полковника с благосклонностью судьбы. И изумлялась тому, что ему дано без труда найти голубую розу. И признавалась в зависти к тому, как пойдет жизнь, когда к нам в дом придет само совершенство. Она вздыхала при мысли об ожидающих полковника изысканных блюдах, о заботах, кои, удачно подбирая и сочетая, будет немногословно проявлять по отношению к нему человек умелый и покорный. У полковника, говорила она, будет просто все, и это при том, что не потребуется ни рукой пошевелить, ни отвечать на вопросы. Есть, правда, единственная загвозд-

1. Этот псалом восхваляет Господа, среди прочего, и за справедливость.
2. Джордж Грейам Вест (1830–1903) — сенатор от штата Миссури, стал виднейшим оратором своего времени. Еще в начале своей деятельности в одном маленьком городке он представлял интересы человека, у которого убили собаку. Вест произнес пылкую хвалебную речь собаке как другу человека и выиграл дело.

ка, сказала она, и полковник посерел лицом. Хорас сможет явиться к нам только послезавтра – дочка миссис Хофстадтер с улицы Жозефины выходит замуж, и Хорас отвечает за свадебный завтрак. Полковник трогательно заявил о своей готовности подождать.

– Что ж, тогда, наверно, все, – поспешно сказала дама и поднялась из-за стола. – Повезло вам. Теперь идите домой и ждите Хораса. – Всем своим видом она как бы добавляла: и не забудьте взять с собой придурковатую Сюзи, Девушку, Которая Ничем Не Отличается От Прочих, Пока Не Взойдет Луна. Нам тут идиотки ни к чему.

Мы пошли домой, предвкушая предстоящее блаженство. Впрочем, склонный к меланхолии полковник стал переживать, что осенью Хорас не захочет перебираться с нами в Нью-Йорк.

До появления Хораса мы перебивались кое-как, и это еще слабо сказано. Как выяснилось, мне стоило держаться от кухни подальше. Поэтому готовил полковник, помидоры почему-то оказывались везде и всюду, и от этого у него появилась мания преследования. Кроме того, выяснилось, что и всех остальных комнат мне тоже лучше избегать. Когда я последний раз постелила постель, полковник вошел и осмотрел, что у меня получилось.

– Что это? – вопросил он. – Студенческая шалость?

Хорас явился ближе к вечеру, когда стало прохладней. О его приходе не возвестили ни звонок, ни стук дверного молотка. Просто он оказался с нами в гостиной. При нем был чемодан из какого-то кожеподобного материала, а на голове – белая соломенная шляпа с широкими обвисшими полями – такой аксессуар, пожалуй, избрала бы какая-нибудь герцогиня для вечеринки в саду. Хорас был высок и широк, лицо имел огромное, будто обуглившееся и пересеченное очками в золотой оправе. Он заговорил с нами. Слова соскальзывали с его огромных губ, будто смазанные салом, а тон был такой, каким обычно, желая обмануть, говорят с больными.

– Вот, – сказал он, – Хорас. Хорас пришел заботиться о вас.

Он поставил чемодан и снял шляпу, под которой обнаружились намасленные волосы, рыжие в солнечном свете и заплетенные в косички с тонкими грязноватыми веревочками. Хорас носил сетку для волос. Шляпу свою он положил на стол. Подошел к нам и дал каждому по одной руке. Мне досталась левая, на ней не хватало среднего пальца, на месте которого бросалась в глаза большая прямоугольная пустота.

– Хочу, чтобы вы знали, – сказал он, – я буду считать этот дом своим домом. Вот так я буду о нем думать. Я всегда стараюсь

думать правильно. Я сказал своим друзьям, что иду сюда. Я сказал им: "Отныне мой дом здесь". Вы познакомитесь с моими друзьями. Да, познакомитесь. Я хочу, чтобы вы познакомились. Мои друзья скажут вам обо мне больше, чем могу сказать я. Миссис Хофстадтер всегда говорит мне, Хорас, говорит она, я никогда ничего подобного не слыхивала, говорит она, твои друзья тобой просто не нахвалятся. У меня много друзей и подруг. Миссис Хофстадтер всегда говорит мне: Хорас, говорит она, никогда я не видала человека, у которого столько друзей. Миссис Хофстадтер с улицы Жозефины. У нее там милый домик. Вам бы на него посмотреть. Я сказал ей, что иду сюда. О, Боже, Хорас, сказала она, что же я буду без тебя делать?! Я служил у миссис Хофстадтер годами, вот прямо там, на улице Жозефины. О, Боже мой, Хорас, сказала она, как же мне быть без Хораса?! Но я обещал прийти к вам, родные, а Хорас сказал — Хорас сделал. Я большой человек и всегда стараюсь поступать благородно.

— Так. Послушайте, — сказал полковник, — что, если я покажу вам вашу комнату, и вы сможете...

— Хочу, — сказал Хорас, — чтобы вы меня узнали. И я узнаю вас. Да, узнаю. Я всегда стараюсь делать нужное для людей, которым служу. Хочу, чтоб вы узнали и мою девочку. Когда я говорю друзьям, что дочке будет в сентябре двенадцать, они говорят: Хорас, я не могу поверить!. Вы познакомитесь с моей девочкой. Да, познакомитесь. Она придет сюда и прямо заговорит с вами. Да, и сядет, и сыграет там на пианино — играет целыми днями напролет. Говорю это не потому, что я ее отец, а потому что такой смышленой девочки вы еще не видали. Люди говорят, она вся в Хораса. Миссис Хофстадтер с улицы Жозефины, она мне так говорит: Хорас, говорит она, я едва различаю, где тут Хорас, а где девочка. В этой девочке нет ничего от ее матери. Я с ее матерью никогда не ладил. Стараюсь никогда и ни о ком не говорить плохого. Я большой человек и всегда стараюсь поступать благородно. Но никогда не мог прожить с ее матерью хотя бы пятнадцать минут кряду.

— Послушайте, — сказал полковник, — кухня вон там, а ваша комната там же рядом, и вы можете...

— Послушайте, — сказал Хорас, — мою девочку каждый Божий день принимают за белую. Да, сэр. Вот прямо в этом городе есть человек сто, уж никак не меньше, и им даже и не снилось, что моя девочка — цветная. И еще познакомитесь с моей сестрой, как-нибудь на днях, довольно скоро. Такой хорошей парикмахерши, как моя сестра, вы еще не видали. И к цветной голове никогда не прикасалась. Любит почти все то же, что и я. Стараюсь никогда злого слова не сказать, ничего

не имею против цветной расы, но Хорас с ними просто дела не имеет, вот и всё.

Я подумала о Аароне Эйзенберге, которого знала когда-то и который сменил имя на Эрик Колтон. С ним никогда ничего не случалось.

— Послушайте, — сказал полковник, — ваша комната прямо рядом с кухней, и если у вас с собой белая поварская куртка, можете...

— Есть ли у Хораса белая куртка! — сказал Хорас. — Есть ли у него белая куртка! Что ж, вот увидите Хораса в этой его белой куртке и скажете, как миссис Хофстадтер с улицы Жозефины: Хорас, скажете вы, никто и никогда не выглядел лучше, по крайней мере, я не видала. Да, сэр, у меня есть такая белая куртка. Я никогда ничего не забываю. Ничего. А знаете, что Хорас для вас сделает? Знаете, что он для вас сделает? Он пойдет туда в эту кухню, как будто это большая красивая кухня миссис Хофстадтер, и он приготовит вам такой ужин, какого вы в жизни своей не едали. Я всегда стараюсь, чтобы все были довольны. Когда люди довольны, доволен и я. Вот такой я человек. Миссис Хофстадтер говорила мне, сидя прямо в своем милом домике на улице Жозефины: Хорас, говорила она, не знаю я, что это за люди, к которым ты идешь, говорила она, но говорю тебе, сказала миссис Хофстадтер, они будут довольны. И я просто сказал ей: спасибо, миссис Хофстадтер. Вот и все, что я ей сказал. Я служил ей много лет. И вы увидите этот ее милый домик, как-нибудь на днях, да, увидите.

Хорас взял шляпу и чемодан, его лицо медленно сложилось в улыбку, и он направился на кухню. Полковник подошел к окну и, глядя в него, постоял некоторое время. Я сказала:

— Знаешь, мне кажется, если с умом разложить карты, можно выяснить, у кого ещё работал Хорас.

— У кого еще работал Хорас, — машинально повторил за мной полковник.

Хорас вернулся в гостиную уже в белой куртке и фартуке, доходившем до ботинок. Я подумала о пульмановских вагонах-ресторанах и безо всякого энтузиазма вспомнила консервированные фиги и сливки.

— Вот Хорас, — сказал он. — Сейчас Хорас готов постараться, чтобы доставить вам удовольствие. Знаете ли вы, что Хорас для вас на днях сделает? Знаете ли вы, что он сделает? Он собирается сделать для вас один из своих мятных сиропов, вот что он собирается сделать! Миссис Хофстадтер с улицы Жозефины всегда говорит: Хорас, говорит она, когда ты сделаешь один из этих твоих сиропов? Ну, я вам скажу,

что Хорас делает. Ему все равно, лишь бы доставить людям удовольствие. Первым делом, он принимается за работу, и берет ананасовый сироп, и наливает его в стакан, а потом доливает чуточку, просто чуточку того сока из тех бутылок, полных красных вишен, потом добавляет джина и имбирного эля, потом берет большой, длинный кусок ананаса, кладет и его, а потом, когда положит апельсин и ту старую красную вишенку сверху — так! Вот так поступит Хорас, когда будет делать мятный сироп.

Полковник родом с юга — он вышел из гостиной. Хорас подошел ко мне с опущенной головой и большим пальцем, наставленным на меня на уровне глаз. Страшно было лишь мгновение. Потом я усмотрела в этом незаурядное лукавство.

— Погодите, — сказал он, — погодите, услышите, как зазвонит телефон, как только мои друзья узнают, где теперь дом Хораса. А сейчас, уж будьте уверены, у миссис Хофстадтер с улицы Жозефины телефон названивает. Сначала: "Где Хорас?", а потом: "Как мне позвонить Хорасу?" Я не о себе говорю, я всегда стараюсь быть таким, каким бы мне хотелось, чтобы вы были по отношению ко мне, но вы скажете, что никогда не видали мужчину, у которого было бы столько подруг. Да, и, когда познакомитесь с ними, вы скажете: Хорас, вы скажете: послушай, Хорас, я бы в любой день недели приняла бы любую из них за такую же белую, как я сама. Вот что вы скажете. Погодите, вот как начнет телефон трезвонить, то-то у вас тут веселье начнется: "Как поживаешь, Хорас?", "Что поделываешь, Хорас?", "Когда увидимся, Хорас?" Не буду более о себе говорить, хотелось бы вас послушать, но вы погодите, пока увидите всех моих друзей. Ведь миссис Хофстадтер с улицы Жозефины всегда говорит: Хорас, говорит она, я никогда...

Тут вернулся полковник.

— Послушайте, Хорас, — сказал он. — Не хотели бы вы...

— Ну, так скажем, уж коли речь зашла о друзьях, — сказал Хорас, — я вам, пожалуй, скажу, что вчера тут на свадьбе одной из дочек миссис Хофстадтер с улицы Жозефины не было ни одного гостя, который бы не был другом Хораса. Все они собрались, ну, сто-сто пятьдесят человек, и все говорили: "Привет, Хорас!", "Рад тебя видеть, Хорас!". Да, сэр, заметьте, и тоже ни одного цветного лица. А я просто сказал: спасибо. Я всегда стараюсь говорить то, что надо, и вот это и сказал. Миссис Хофстадтер, она мне говорит, Хорас, говорит...

— Хорас, — сказала я, еще не догадываясь, что это будет единственная обращенная к нему фраза, которую он даст мне договорить, — нельзя ли мне стакан воды? Пожалуйста.

— Можно ли вам стакан воды! — сказал Хорас. — Можно ли вам стакан воды! Что ж, я вам скажу, что сейчас сделает Хорас. Он пойдет туда, на ту кухню, и принесет вам самый большой стакан самой холодной воды, такой холодной вы еще в жизни не пробовали. Теперь, когда Хорас здесь, нет ничего такого, даже самого хорошего, чего Хорас бы вам не доставил. Он будет делать для вас то же самое, как если бы вы были миссис Хофстадтер у себя в милом домике на улице Жозефины. Да, будет.

Он вышел, продолжая лукаво смотреть на меня через плечо и одаривая прощальной улыбкой. Полковник сказал:

— Интересно, которая это миссис Хофстадтер?

— Я ее все путаю с той, которая живет где-то рядом с улицей Жозефины, — сказала я.

Хорас вернулся с водой и заговорил с нами. Он готовил ужин и, не переставая, говорил с нами. За ужином, который начался в шесть часов, по привычке, приобретенной в приятном доме миссис Хофстадтер с улицы Жозефины, он тоже говорил с нами. Мы сидели за ужином. Полковник один раз спросил о чем-то Хораса, и этот урок запомнил надолго. Лучше обойтись без услуги, чем слушать бесконечные заверения по поводу того, как идеально она будет оказана.

Что было на ужин, в точности вспомнить не могу. Смутно припоминаю на фоне усиливающейся предобморочной дурноты впечатления от восково-серой мясной подливки, дрожащего розового желе, сливочного масла, имевшего температуру человеческого тела, и фирменного блюда, которое было лучше, чем то, какого даже миссис Хофстадтер с улицы Жозефины никогда не пробовала. Над прочими, более мелкими деталями этой картины, память милостиво опустила свой серый занавес. То же относится и к прочим событиям, связанным с пребыванием Хораса в нашем доме. Не знаю, на какой срок оно растянулось. В нем не было ни дней, ни ночей, ни времени. Было только пространство. Пространство, заполненное Хорасом. Полковник — ведь мы живем в мире, где первые роли играют мужчины, — целыми днями отсутствовал. Но оставался Хорас. Хорас всегда был в бунгало. Ничье присутствие не ощущалось в доме так, как его. Я никогда не слышала, как он открывает дверь, никогда не слышала его приближающихся шагов. Хорас выходил из комнаты, а затем, почему-то в тысячу раз чаще, Хорас оказывался в ней. Я сидела за пишущей машинкой, а Хорас стоял передо мной и говорил. По вечерам возвращался полковник, и Хорас говорил с нами обоими. Все его монологи предназначались нам, потому что никто из его друзей обоего пола никогда не зво-

нил и по телефону с ним не разговаривал. Может быть, миссис Хофстадтер с улицы Жозефины не смогла заставить себя дать им его телефонный номер. Мы с полковником не смотрели друг на друга. Вероятно, оттого что каждый не желал видеть позор другого. Не знаю. Ничего не знаю о тех днях. Ручаюсь, что ни один из нас не думал:

— Ради всего святого, что же это за ничтожество, с которым я живу в браке?

У нас не было ни мыслей, ни настроений, мы не совершали поступков. Мы перестали перемещаться из комнаты в комнату, и даже из одного кресла в другое. Мы оставались там, где были, два мерзких мертвых существа, медленно тонувших в тепловатом сладковатом масле. Так оно и шло. Но все же и этому пришел конец. Не знаю, что привело к нему, и знать не хочу. Какая разница, что побудило губернатора подписать бумагу о вашем помиловании? Главное, что ее прислали. Полковник потом говорил, что Хорас часто повторял эти слова. Но это и все, что я знаю. Я только знаю, что однажды утром, чудесным солнечным утром, войдя в гостиную, я услышала доносящийся из кухни голос полковника. Он, казалось, давал Хорасу совет.

— Уходите, — говорил голос полковника, — уходите сейчас же.

В ответ Хорас заговорил так, будто урезонивал капризного ребенка, но голос его был так тих, что я разобрала лишь несколько слов: ...говорить так, услышала я, самые приятные люди в этом городе. Даже миссис Хофстадтер с улицы Жозефины, она бы никогда...

Потом снова послышался настойчивый голос полковника, который дал еще какой-то совет. Совет, видимо, заключался в том, чтобы Хорас взял эту миссис Хофстадтер и ее милый домик, и всю чёртову улицу Жозефины и...

Полковник получил свободу. Он был так свободен, что стоял, расправив плечи на крыльце, освещенном солнцем, и жадно смотрел в спину уходившего по дорожке Хораса. Сбылось реченное чрез миссис Хофстадтер с улицы Жозефины. Она не знала, что это за люди, к которым уходит Хорас, но она знала, что они будут довольны. Теперь они, эти люди, остались одни. Помидоры снова могли преследовать нас по всему дому, но ничего более страшного нам уже не грозило.

Через десять минут зазвонил телефон. В безумной радости от возвращения ко мне дара речи, я взяла трубку и услышала бас, скользивший по проводам, как будто смазанным хлопковым маслом.

— Это Хорас, — сказал голос, — говорит Хорас. Я большой человек и всегда стараюсь поступать благородно, и хочу ска-

зать, что мне жаль, что Хорас покинул ваш дом так скоро. Да, очень жаль. Хочу, чтоб вы знали, что Хорас вернется к вам и будет снова служить, точно так же, как много лет он служил...

Но трубка как-то сама собой оказалась на рычаге, и этого имени я уже больше никогда не слышала.



*Харперс Базар*, 4 августа 1934 года

## В*альс*

СПАСИБО, *конечно, с удовольствием.* Танцевать я с ним не хочу. Вообще ни с кем не хочу. А если бы и захотела, то не с ним. Ну, может, и с ним, но только в крайнем случае. Видела я, как он танцует, — такое бывает только в Вальпургиеву ночь. И ведь подумать только, еще меньше четверти часа назад сидела я тут и так жалела бедную девочку, с которой он танцевал. А теперь сама ею буду. Так-так. Ну, не тесен ли мир? Просто не земной шар, а прелесть. Просто обалдеть! И события развиваются совершенно непредсказуемым образом, верно? Вот сидела я, никого не трогала, никому зла не причиняла. И вот вторгается в мою жизнь он, весь — сплошные улыбки и городские манеры, и просит меня станцевать с ним одну незабываемую мазурку. Ну, имя мое он едва ли знает, а уж о том, к кому оно относится, я и не говорю. А относится оно к женщине, имя которой Отчаянье, Замешательство, Тщетность, Деградация и Преднамеренное убийство, но до этого ему нет никакого дела. Его имени я тоже не знаю, просто понятия не имею. Джукс[1], так бы я предположила, судя по выражению его глаз. Как поживаете мистер Джукс? А как дела у вашего младшего братца? Ну того, что с двумя головами. Ну почему с непристойными предложениями надо обращаться именно ко мне? Почему не дать мне жить, как жила? Ведь, казалось бы, мне так немного надо — просто чтобы меня оставили в покое, дали спокойно посидеть за столом, в углу, и подумать обычные для меня невесёлые вечерние мысли. Но нет, должен явиться он со своими поклонами, расшаркиванием и "позвольте пригласить". И мне приходится встать и сказать, что "я с удовольствием". Не могу понять, и что я не бухнулась тут же замертво.

1. Семья Джукс стала объектом исследования, авторы которого пытались выявить связь между преступными наклонностями и наследственностью. Более 76 ее членов стали осуждёнными преступниками, 18 — содержателями борделей, 120 — проститутками, более 200 получали пособие как нуждающиеся, и двое были признаны слабоумными.

Да, по сравнению с моей попыткой танцевать с этим парнем — посидеть было бы все равно что провести день за городом. Но что поделаешь? Все, сидевшие за столом, кроме нас с ним, пошли танцевать. Так вот попала я в ловушку. Попала, как колесо рессорной двуколки в решетку ливневой канализации. Ну что скажешь, когда тебя приглашают? С вами точно не стану, вот провалиться мне на этом самом месте. Конечно, благодарю вас, я бы с удовольствием, но, видите ли, у меня как раз начались родовые схватки. О да, давайте потанцуем, так приятно познакомиться наконец с храбрецом, который не боится подцепить от меня бери-бери[1]. Нет. Остается только сказать, что я с удовольствием. Ладно, покончим с этим. Бежим на поле, Пушечное ядро[2]. Ты вытянул жребий, можешь вести. *По-моему, это вальс. Согласны? Можем секундочку послушать музыку. Послушаем? Да, это вальс. Вы позволите? Помилуйте, да я просто в восторге. С радостью с вами повальсирую.* С радостью удалила бы миндалины, очень хотелось бы оказаться на пароходе во время полночного пожара в открытом море. Что ж, теперь уж поздно. Мы пустились танцевать. Ой. О Господи. О Господи, Господи, Господи! О, все даже хуже, чем могло показаться поначалу. Кажется, это непреложный закон жизни — все всегда гораздо хуже, чем кажется сначала. О, знать бы мне, что так будет, я бы цеплялась за стол из последних сил в надежде пересидеть. Да, похоже, к сидению дело и идет. Если он не остановится, через минуту оба будем сидеть на полу. Как хорошо, что догадалась обратить его внимание, что это все-таки вальс. Одному Богу известно, чем бы дело кончилось, реши он, что это что-то быстрое. Мы бы в стену врезались и, пожалуй, проломили бы ее. И что ему все время так неймется оказаться там, где его нет?! Почему нам не побыть в одном и том же месте хотя бы минутку, чтобы к нему привыкнуть? Почему обязательно надо все время куда-то нестись, нестись и нестись — это ли не проклятие американской жизни? Вот отчего мы все такие. О! Да, не бей же меня ногами, Бога ради, идиот! Ведь это только второй даун[3]. О, моя голень! Моя бедная голень, служившая мне с детства. *О, нет-нет-нет. Боже мой, нет. Нисколечко не больно. А если и больно, то я же сама виновата. Правда, сама. Честно. Что ж, очень мило с вашей стороны так говорить. Но на самом деле, это моя вина.* Прямо не знаю, как лучше, — убить его сразу голыми

1. Незаразная болезнь, возникающая вследствие недостатка витамина B1 в организме человека.
2. С этого места начинаются аллюзии на американский футбол.
3. В американском футболе (регби) игроки получают право бить по мячу ногами только в четвертом (последнем) дауне.

руками или подождать, пока сам в ящик сыграет. Может, лучше не устраивать сейчас сцену. Наверно, надо просто подождать, пока сам выдохнется. Не может же так вечно продолжаться — он же всего-навсего человек из плоти и крови. Должен околеть и околеет, так ему и надо за то, что мне сделал. Не хочу показаться неженкой, но не говорите мне, что этот удар ногой он нанес непреднамеренно. Фрейд вообще пишет, что ничего случайного не бывает. Не в монастыре жила, знавала и партнеров, которые портили мне туфли и рвали платье, но, когда начинают бить ногами, я — сама оскорбленная женственность. Он лягнул меня в голень — я улыбаюсь. Может, он это не со зла. Может, у него так проявляется хорошее настроение. Радоваться, наверно, надо, что одному из нас так весело. Пожалуй, мне повезет, если в итоге останусь жива. Может, это чересчур — требовать, чтобы после вальса с практически незнакомым мужчиной ваши голени оставались в целости и сохранности? В конце концов, бедняга-парень старается изо всех сил. Вероятно, рос в горах, никогда ничему не учился. Наверняка, чтобы надеть ему обувь, пришлось завалить его на спину. *Да, чудесно, правда? Просто чудесно. Прекрасный вальс, не правда ли? Да, мне тоже очень.* Да, тут я определенно подвергаюсь тройной опасности[1]. Он мой герой. У него львиное сердце и сухожилия буйвола. Посмотрите на него, ни единой мысли о последствиях, ничего не боится, уверен в себе, очертя голову бросается в любую потасовку, глаза и щеки горят. Неужели я отстану? Нет, тысячу раз нет! Тоже мне дело, проведу ближайшие года два в гипсе. Давай, Громила, прямо на них! Да кому тут надо жить вечно?! Ой. О Господи. Так он цел? Слава Богу! Мне было показалось, что его вынесут с поля. Ах, случись с ним что-нибудь, я бы не пережила. Я люблю его. Люблю больше всех на свете. Посмотрите, сколько души он вкладывает в скучный, банальный вальс! Какими вялыми кажутся рядом с ним прочие танцоры! Он — сама молодость, задор и мужество, он — сила, радость и... Ой! Убери ножищу с моего носка, деревенщина! За сходни меня принял, что ли? О! *Нет-нет, нисколечки не больно. Совсем-совсем. Честное слово. Это я все сама виновата. Понимаете, вот этот ваш шажок – да, просто чудесно, но к вам поначалу трудно приноровиться. Ах, так это вы сами придумали? В самом деле? Ну просто удивительно. О, теперь, кажется, я поняла. Да, по-моему, чудесно. Я еще раньше наблюдала, как вы это де-*

1. Термин, относящийся к американскому футболу. Им обозначают сочетание нескольких способностей, каждая из которых требует совершенствования. Например, умение бегать, бить по мячу ногами и бросать его руками.

*лаете, когда танцевали с другой. Да, со стороны смотрится действительно ужасно эффектно.* Да, смотрится действительно ужасно эффектно. А уж я-то точно ужасно эффектна, если подумать. Волосы выбились и свисают вдоль щек, юбка запутывается вокруг ног, лоб взмок. Чем-то похожа, должно быть, на персонаж из "Падения дома Ашеров"[1]. Для женщины в моем возрасте такие штуки — непосильная нагрузка. А он, стало быть, сам этот шажок придумал. Ну и хитер, дегенерат! Да, поначалу довольно мудрено было, но теперь, кажется, я приноровилась. Два раза споткнуться, потом проскользить и потом пронестись ярдов двадцать. Да. Получается. Есть! Есть и еще кое-что, в том числе трещина в большой берцовой кости и горечь в сердце. Ненавижу это создание, с которым свела меня судьба. Возненавидела, как только увидела эту ухмылку и скотскую физиономию. И вот я стиснута в его сокрушающих объятиях уж лет тридцать пять, с начала этого вальса. Неужели оркестр будет играть вечно? Или эта непристойная пародия на танец должна продолжаться, пока в аду все топливо не выгорит? *Что, еще сыграют на бис? Вот здорово! О, чудесно. Устала ли? Да нет, пожалуй. Танцевала бы так без конца.* Да нет, пожалуй, не устала. Уж отдала Богу душу, вот это верно. Погибла, и чего ради?! А музыка играет и играет, и будем мы вот все так же вальсировать с быстроногим Чарли до бесконечности. Наверно, после первой тысячи лет мне уж будет все равно. Пожалуй, тогда все потеряет смысл: и жара, и боль, и разбитое сердце, и невыносимая усталость. Ладно. Скорей бы уж. И что я не сказала, что устала?! И почему он не предложил проводить меня к столу? Тогда я бы могла сказать: "Давайте просто музыку послушаем". Да, и если б он согласился, это был бы первый знак внимания ко мне за весь вечер. Как говорил Джордж Джин Нейтан[2], чудесный ритм вальса надо слушать в покое, не сопровождая его противоестественным вращением человеческого тела. Думаю, он именно так говорил. Да, кажется, это Джордж Джин Нейтан. Как бы то ни было, что бы он ни говорил, и кем бы он ни был, и что бы теперь ни делал, ему лучше, чем мне. Вот уж это точно. Всякий, кто не вальсирует сейчас с этой доставшейся мне коровой, принадлежащей миссис О'Лири, вполне может считать, что жизнь удалась. И все же, если б мы с ним вернулись за стол, пришлось бы разговаривать. Посмотрите на него, что бы вы сказали такому фрукту?! Бывали в цирке в этом году? Какой сорт мороженого предпочитаете? Как пишется

1. Рассказ Эдгара Аллана По (1839).
2. Джордж Джин Нейтан (1882–1958) — американский театральный критик и редактор.

слово “кот”? Так что, пожалуй, танцевать не хуже, чем сидеть. Даже хорошо. Хорошо, как в работающей бетономешалке. Я уж вообще ничего не чувствую. Разве что хруст костей, когда он наступает мне на ногу. У меня перед глазами проплывают эпизоды пережитого. Вот славное было времечко, когда на Вест-Индских островах меня застал ураган. Однажды, едучи в такси, попала в аварию и рассадила себе голову, то-то славный выдался денёк! А взять вечер, когда одна пьяная дама швырнула бронзовую пепельницу в своего возлюбленного и угодила в меня. Или как-то летом парусная шлюпка, в которой находилась и я, все время переворачивалась. Ах, до чего было легко и спокойно, пока не связалась я с этим Быстроногим! Горюшка не знала, пока не втянул он меня в эту danse macabre[1]. Кажется, у меня мысли путаются. Похоже, оркестр вот-вот перестанет играть. Этого, конечно, быть не может. Нет, такого никогда, никогда, не может быть. И всё же наступает тишина, она прекрасна, как ангельское пение... *Ох, перестали играть, вот злодеи. Больше не будут. Вот черт. Или, вы думаете, будут? Думаете, будут, если дать им пятьдесят долларов? Было бы чудесно. Послушайте, попросите их исполнить эту же вещь еще разок. Ужасно хочется повальсировать.*

*Нью-Йоркер*, 2 сентября, 1933 года



## О *путешествии*

ЖЕНЩИНА в черном платье с блестками и загорелый молодой человек со спокойным взглядом уединились на вечеринке.

— Ну-ка, садись сюда сию минуту, — сказала она, указывая ему место на диване рядом с собой. — Изволь-ка дать мне отчет о своем поведении. Что надумал! Удрать почти на два года и даже открыточки не прислать. И не стыдно тебе? Отвечай, пропащая душа! Тебе не совестно?

— По части писем я пас, — сказал он. — Виноват. Наверно, я безнадёжен. Собираюсь-собираюсь — и никак. Не потому что ни о ком не думаю. Просто не умею письма писать, прямо беда.

— Ну, где побывал-то хоть? — сказала она. — Где разбил свой вигвам, негодный мальчишка?

— Большей частью, в Аравии, — сказал он.

1. Пляску смерти.

— Ненормальный, — сказала она. — Просто ненормальный. И что, скажи на милость, тебя туда понесло?

— Да не знаю, — сказал он. — Просто захотелось посмотреть.

— Ох, понимаю, — сказала она. — И не говори. Я сама такая же. Обожаю путешествия. Как говорит Фредди, два чемодана да аккредитив — больше мне ничего не надо. Правда, спроси у Фредди. Самое забавное: вчера говорю ему за ужином — мы были вдвоем, должны были прийти Аллены, но у них в последнюю минуту малыш заболел, бедняжка, он у них такой нежненький, — поглядишь на него, до смерти перепугаешься, о Господи, мне же надо позвонить Кейт Аллен, узнать, как он там, я просила Фредди мне напомнить, говорю ему: в один прекрасный день, говорю, посмотришь, а уж я тут не сижу, так я ему сказала. Уложу зубную щетку, пару чулок, да и махну в Египет, в Индию или еще куда-нибудь, только меня и видели, так ему и сказала. Я прирожденная путешественница.

— Вот как? — сказал он.

— Аравия! — сказала она. — Да. Ты только подумай! Расскажи мне о ней. И как тебе там?

— Ну, как... Хорошо, — сказал он.

— Подумать только! — сказала она. — Бог знает где! Знаешь, я часто раздумываю об Аравии. Ну, расскажи еще. Там ведь песка и всякого такого видимо-невидимо, да?

— Ну да, — сказал он. — Но, видишь ли...

— Песок! — сказала она. — Не надо о песке! После лета у залива Дюн я песком по горло сыта, покорно благодарю. Книгу могла бы о нём написать. Что ни делай, вечно он в обуви, дети таскают его на ногах в дом, я думала, с ума от него сойду. Правда. Думала, просто с ума сойду. Бывал у залива Дюн?

— Нет, — сказал он, — не довелось.

— Благодари Бога, — сказала она. — Песок, песок, ничего кроме песка. Весь песок, сколько тебе требуется, — прямо там, ни в какую Аравию ездить не надо.

— Ну, видишь ли, — сказал он, — в Аравии он...

— И Фредди на пляже, — сказала она. — Сдохнуть можно. В первый день, как приехал, лег там и лежит, лежит, и потом — что ты думаешь?! — плечи у него! Я сразу о тебе вспомнила. И сказала: видел бы эти его плечи, ты бы не вынес.

— Наверно, ужасно потешно было, — сказал он. — Видишь ли, я что хотел сказать, в Аравии...

— Вот именно, — сказала она. — Вот именно этого я от тебя и хотела. Рассказывай всё. Как съездил. Хочу услышать все в подробностях. Как там? Что за народ? Они там все арабы, что ли?

— Ну, конечно, — сказал он, — там много...

— Подумать только! — сказала она. — Арабы! Да ведь это прямо как в книжке, ведь верно? Прямо так, как я себе представляла. Ну расскажи же мне об этих арабах. Какие они?

— Ну, примерно такие же, как и все остальные, — сказал он. — Одни — потрясающие люди, другие так себе. Большинство довольно...

— Знаешь, — сказала она, — не сомневаюсь, я бы с ними поладила. С арабами или как их. У меня такой невероятный интерес к людям, что, кажется, они это чувствуют и позволяют мне заглянуть к ним в душу. Дружу с самыми отъявленными чудаками. Вот у Фредди спроси. Ну, говорит он мне, снобом тебя назвать никто не сможет, так он говорит. И, знаешь, я считаю — это комплимент. Арабы! Да, я бы с ними так сошлась! Ну, давай дальше. Рассказывай. Где останавливался?

— Довольно долго, — сказал он, — жил с туземцами. Видишь ли, я хотел...

— Подумать только! Прямо с ними! — сказала она. — Но ведь это, наверно, так неудобно, ну, там... Или нет?

— Они были чертовски гостеприимны, — сказал он. — Как привыкнешь...

— О, я бы привыкла, — сказала она. — Я бы за минуту. Подумаешь, неудобства! Но ведь путешествовать, видеть новое! Три года назад оказались мы в одной крошечной гостинице в Милане. Народу — не протолкнешься! Куда ни ткнись, одни американцы. Я Фредди говорю: а ведь, если подумать, некоторым хватило бы ума сидеть себе дома. Ну вот, остановились мы в этой крохотной гостинице, и знаешь, чего набрались? Ладно, тебе как старому другу скажу, но если ты хоть раз... Набрались вшей. Да-да, абсолютно. Фредди едва не спятил, ну, ты ведь его знаешь, а я ему говорю: именно этого путешественнику и следует ожидать. Да, вот такой я человек. Меня ничем не смутишь. Но, послушай, эти арабы... Ведь у них у всех много жен, как это там называется?

— Ну да, у многих более одной, — сказал он. — Видишь ли, они на это смотрят так, что вопрос...

— Вот ужас-то! — сказала она. — Подумать только, более одной! Вот тебе и азиаты! Кошмар какой. И ведь притворяются ужасно религиозными, молятся там...

— Религия в их жизни играет важную роль, — сказал он. — Как бы ни был человек беден, куда бы ни поехал, всегда при нем коврик для...

— Да знаю, — сказала она. — Коврик для молитвы. Так это у них называется. Коврик для молитвы. Никогда не забуду, еще до моего замужества лежал у нас в гостиной прекрасный

коврик для молитвы, прямо перед фортепьяно. Мы, девочки, все насчет него шутили. Отца спрашивали: кому из нас отдаст его в приданое — а папа так им дорожил. А потом он снова женился, коврик, естественно, там и остался. Да, частенько мы смеялись из-за этого коврика.

— Вот как? — сказал он.

— Ну да, — сказала она. — О Боже, этот коврик! Да, прекрасная была вещь, кто понимает. Голубой, и желтый, и уж не знаю, какой, всех цветов. И всякий пустяк в рисунке что-то да значит. О, они в этом отношении ужасные мастера, эти арабы. Чудные вещи делают. Ты, наверно, немало таких повидал.

— Да, — сказал он, — это верно.

— Я без ума от их изделий, — сказала она. — С удовольствием посмотрела бы, как их изготавливают. Часто думаю: но вот что бы я хотела, так это... О, Фредди уж у дверей. Домой хочет. Ну, не консерватор ли?! Вечно ему домой в полдвенадцатого. Я ему говорю: по тебе часы проверять можно, так я ему говорю. Как ни выберемся на вечеринку, домой — в полдвенадцатого. Правда. Уж я его высмеиваю за это до полусмерти. Но ему что с гуся вода. Смеется только, и все. Что ж, я и сама устала, едва жива. По магазинам весь день — смерть моя. Все откладываю до последней минуты, терпеть не могу эту беготню. В общем, слушай, надо тебе к нам прийти. Так себя ведешь, что просто обидно. Так ты зайдешь? Ну пожалуйста. Пожалуйста.

— Большое спасибо, — сказал он.

— Просто замечательный, — сказала она, — рассказ об Аравии. Боже, послушала и чувствую себя такой заплесневелой. Живешь тут на одном месте, живешь, ничего не видишь. Но вот как-нибудь соберусь... Предупреждаю: в один прекрасный день очнусь и уеду на край света. Вот такой я человек — да, рано или поздно, а так сделать надо. Ты бы посмотрел на хмурого Фредди! Так долго с тобой тут сидим... он уж, пожалуй, решил, что вместе сбежать собираемся. Он-то знает, каковы вы, путешественники! Так зайдешь к нам? Столько надо у тебя всего расспросить. Не думай, пожалуйста, что разговор об Аравии закончен, ни в коем случае. Приходи поскорее! И вот что, путешественник: не будь больше никогда плохим, гадким, злым, ужасным мальчиком. Слышишь меня?

— Большое спасибо, — сказал он.

— Ну все, спокойной ночи, — сказала она. — Сладких снов.

— Спокойной ночи, — сказал он.

И она поспешила к Фредди.

*Нью-Йоркер*, 30 октября, 1926 года

# *Новые книги Нового Света*



с Мариной Ефимовой

Совместно с радио “Свобода”

## Susan Cheever *Drinking in America: Our Secret History.* — Twelve Books, 2016

Книге “Пьющая Америка” ее автор — известная писательница и публицист Сьюзен Чивер — дала подзаголовок “Наша секретная история”. Рецензент Крис Бакли заметил, правда, что “судя по восьми страницам библиографии в конце книги, история пьющей Америки не была такой уж секретной”.

Часть исторических эпизодов Чивер отдает на суд читателя, не уточняя, являются ли они фактами, легендами или анекдотами:

”Мэйфлауэр“ — корабль пилигримов — пристал к берегам Америки в ноябре 1620 года не в теплой Виргинии (куда плыл), а у холодного мыса Кейп-Код только потому, что у пилигримов кончились запасы пива.

Звучит смешно, но вполне реально: первые десятилетия жизни в Америке колонисты, даже маленькие дети, пили пиво, когда не было питьевой воды. Кстати, следующий корабль с поселенцами привез 28 000 литров вина и пива. Чивер пишет:

200 лет, начиная с 1620-х по 1820-е годы, мы пили, как рыбы. К началу Войны за независимость каждый колонист потреблял алкоголя вдвое, а то и втрое больше, чем средний американец сегодня.

“Просто чудо, — замечает рецензент Бакли, — что нам удалось отстоять независимость, притом что все колонисты, если верить Сьюзен Чивер, едва держалась на ногах”. Тем не менее Чивер — дотошный историк, и многие приведенные факты она тщательно проверяла — например, ночную скачку Пола Ревира, предупредившего жителей Массачусетса о приближении англичан 18 апреля 1775 года.

Пол Ревир прискакал в Лексингтон намного раньше англичан, в полночь, с криком: “Британцы на подходе!”. Бойцы местной милиции были сразу приведены в боевую готовность, но англичан нигде поблизости не оказалось. Тогда все отправились в таверну Бакмэна пропустить по рюмочке рома и... пили там три часа. Когда англичане появились, первыми их встретили семьдесят пьяных в дым защитников города.

Выпивка, считает Сьюзен Чивер, играла в истории Аме-

рики большую, часто умалчиваемую роль. Всем известен первый шаг к независимости — знаменитое "Бостонское чаепитие" — протест против налога на чай. Вот что раскопала Чивер:

Британцы пытались ввести налог не только на чай, но еще и на алкоголь — ром — главную выпивку тогдашней Америки, а колонист в среднем тратил на алкоголь четверть своего дохода. Лозунгом революции было требование "No taxation without representation", то есть "Никаких налогов без представительства колоний в британском парламенте", но многие американцы поднялись на борьбу не столько за право голосовать, сколько за право выпивать. Символична фигура героя войны Итона Аллена — лидера отряда "Парни с Зеленых гор" ("Green Mountain Boys"). Он был так пропитан ромом, что, когда однажды во сне его искусала ядовитая змея, она не причинила ему никакого вреда. Проснувшись, он досадовал на укусы комаров.

Среди историй о пьянстве в американских колониях одна из самых печальных — история легендарной пары: второго президента Соединенных Штатов Джона Адамса и его жены Абигайль, знаменитой своими замечательными письмами.

Сперва двое сыновей Адамсов на глазах потрясенных родителей молодыми погибают от алкоголя, а потом — двое внуков. Абигайль и ее сестра знали, что их брат спился и умер. В своих письмах Абигайль не пишет об этом прямо, но она подозревала, что именно через неё пришел в семью этот, как она пишет, "бич", поразивший их потомство.

Мэривэзер Льюис, один из двух путешественников, открывших Дальний Запад, после возвращения из знаменитой "экспедиции Льюиса и Кларка", впал в депрессию, начал пить и вскоре покончил с собой (или погиб при загадочных обстоятельствах).

Об историческом аспекте американского пьянства Чивер пишет:

Начиная с XYII века терпимость к алкоголю колебалась, как маятник, между периодами полной снисходительности, яростного противостояния и строжайших запретов. 1820-е годы были пиком потребления алкоголя, но уже в 1834-м в стране было пять тысяч "Обществ трезвости".

В перемене отношения к алкоголю главную роль, по мнению Чивер, играла индустриализация. В борьбе с пьянством лидировали не только женщины, но и промышленники (которые не могли управлять нетрезвыми работниками). А через тридцать лет, с началом Гражданской войны, о трезвости на время забыли. Пили в обеих армиях. Военные хирурги выпивали иногда чуть ли не весь запас предназначенного для операций алкоголя — единственной тогда анестезии. Знаменитый генерал Грант был в начале войны предан военному суду за пьянство, и Чивер отдает должное Аврааму Линкольну, который, будучи человеком непьющим, уволил трезвого,

но бездарного генерала Маккеллана и назначил командующим Гранта. А когда штабные пожаловались, что Грант слишком много пьет, Линкольн сказал: "Что именно он пьет? Я хотел бы снабдить этой выпивкой всех моих генералов".

Любопытная деталь нашлась в истории введения Сухого закона в 1919 году:

За несколько лет до этого, в 1913 году, был введен подоходный налог. До него, с легкой руки Александра Гамильтона, почти весь федеральный бюджет обеспечивался налогами на алкоголь. То есть не будь подоходного налога, не было бы и печально знаменитого Сухого закона.

Рассказывая о пьянстве писателей, Чивер знает, о чем пишет: она сама была алкоголиком и пациентом общества "Анонимных алкоголиков" — как и ее отец — один из лучших американских прозаиков XX века Джон Чивер. В книге цитируется его горькое признание:

Если вы художник, саморазрушение — это то, чего от вас ожидают. Заглядывать в пропасть — занятие вдохновляющее... до тех пор, пока оно не становится презренным.

Сьюзен Чивер заметила, что все пять американских нобелевских лауреатов по литературе были алкоголиками: Синклер Льюис, Юджин О'Нил, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй и Джон Стейнбек. Но она отмечает и периоды истории, когда писатели не пили: трезвенниками были Готорн, Торо, Мелвилл, Эмерсон. "Мне кажется, — пишет Чивер, — что непременная связь литературного творчества с пьянством — миф. Дело не в писательстве, а в культуре, которая превалирует в данный период времени".

Особенно горькое чувство вызывает описание обстоятельств двух покушений на президентов — Линкольна и Кеннеди. В 1865 году убийца воспользовался тем, что офицер, охранявший Линкольна в Театре Форда, покинул свой пост у президентской ложи, чтобы выпить в ближайшем баре. А 22 ноября 1963 года, как утверждает автор книги, все агенты секретной службы были в состоянии тяжелого похмелья, и водитель автомобиля Кеннеди после первого выстрела нажал не на газ (что, возможно, было бы спасением), а на тормоз, дав убийце шанс сделать второй выстрел.

Неожиданностью кажется эпизод правления Ричарда Никсона, чье редкое, но агрессивное состояние опьянения однажды заставило его советника, Эрлихмана, заявить президенту, что он отказывается работать "на пьяницу". Случай, описанный Чивер, произошел 29 августа 1969 года.

Террористы группы "Народный фронт освобождения Палестины" угнали американский пассажирский самолет, летящий в Тель-Авив, и заставили пилота приземлиться в Дамаске. Вечером Никсону, заметно нетрезвому, сообщили об этом по телефону, и президент яростно закричал: "Бомбите аэропорт Дамаска!". Министру обороны при-

шлось солгать Никсону, что бомбить не позволяют погодные условия, а Главному штабу дать приказ — не выполнять в этот день никаких указаний из Белого дома.

Даже для рецензента Бакли этот эпизод был сюрпризом: "Я очень, очень рад, — пишет он, — что в 1969 году ничего об этом не знал".

Думаю, не стоит делать из этого эпизода далеко идущие выводы. И аргументом может быть еще одна деталь американской истории, описанная в книге Чивер:

На литографии Карриера и Ивса "Прощание Джорджа Вашингтона с офицерами в 1783 году" Вашингтон держал в руке стакан мадеры, а на столе стояла бутылка с вином. Во времена кампании в защиту трезвости стакан на картине замазали, а бутылку заменили шляпой.

Как известно, здоровая любовь к выпивке не помешала Джорджу Вашингтону стать одним из самых действенных, выносливых, мудрых и благородных лидеров в истории не только Америки, но и всего мира.

Добавлю, что из книги "Пьющая Америка" узнаешь небывалое количество слов, обозначающих выпивку (drink, booze, tipple), пьяниц (drunkard, sot), опьянения (blotto, sodden) и т. д. Интересно, найдется в английском достаточно слов для всех обозначений пьянства в русском языке: напиться в дым, вусмерть, до зеленого змия... надраться, нагрузиться... быть под мухой?.. Неплохая тема для мирного, веселого соперничества.

# *Среди книг*

с Александром Ливергантом



## Один за всех и все за одного

Ханья Янагихара *Маленькая жизнь* / Перевод с англ. А. Борисенко, А. Завозовой, В. Сонькина. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2017. – 688 с.

А еще говорят, что у нас плохо работает книжная реклама. Как тогда объяснить, что второсортный роман Ханьи Янагихары расходится, как горячие пирожки? Только дополнительный тираж – десять тысяч. Позавидуешь.

А впрочем, понятно как. Сорокатрехлетняя Ханья Янагихара, гавайка по отцу, кореянка по матери, автор двух книг (первая – "Люди на деревьях" о вирусологе, лауреате Нобелевской премии Дэниэле Гайдушике), пошла проверенным путем. Ее герой, как и у Дюма, – коллективный. Четверых ньюйоркцев, Виллема, Джей-Би, Малькольма и Джуда, связывает, как и героев Дюма, крепкая, многолетняя мужская дружба, и это главный подкупающий, почти беспроигрышный мотив книги.

Дружба тем более крепкая, что действующие лица "Маленькой жизни", как и персонажи Дюма, друг на друга мало похожи. И происхождением, и судьбой (все, впрочем, в конечном счете, профессионально состоялись), и целеустремленностью, и жизненными интересами, и цветом кожи. Аналогии с шедевром Дюма возникают на каждом шагу. Нью-йоркских "мушкетеров" столько же, сколько парижских. И один, четвертый, Джуд, подобно Д'Артаньяну, стоит несколько особняком: "Джуд-соло" назвал Джей-Би посмертную выставку его портретов. Даром что калека, Джуд из всей четверки – самый разносторонний, что также роднит его с главным героем "Трех мушкетеров". Владеет несколькими языками, знает наизусть Библию (в монастыре вколотили); если надо, этот одаренный юрист и математик может и засор в трубе прочистить. Самый разносторонний – и самый обездоленный. Имеется в "Маленькой жизни", как в приключенческих романах позапрошлого века, и тайна – почище алмазных подвесок королевы, вот только раскрывается эта тайна, пожалуй, рановато – а впрочем, не детектив ведь читаем. Имеется и любовь – в основном, правда, однополая, но разве этим теперь кого-то удивишь? Вот вам и составные успеха. Кому не захочется прочесть римейк "Трех мушкетеров", современную, да еще американскую, версию памятной книги?

Увы, в отличие от мушкетеров Дюма, герои "Маленькой жизни" лишены запоминающихся черт; поступки есть, их много, а вот "лица необщего выраженья" нет ни у одного из них. Атос, мы помним, — олицетворение утонченности, аристократизма, обаятельный святоша Арамис — ханжества, увалень Портос — драчливости и обжорства, Д'Артаньян — гасконской дерзости, предприимчивости, необузданности. А что можно сказать, к примеру, про юного Виллема, кроме того что он тяжело переживает смерть своего неполноценного брата и боится за своего возлюбленного (и тоже неполноценного) Джуда? Или про Малькольма, кроме того что тот после колледжа всеми силами стремится вырваться из семейной золотой клетки? Все четверо таких непохожих друг на друга героев "Маленькой жизни" одинаково, обезличенно говорят (или это "трудности перевода"?), похоже думают — думает за них, собственно, автор. И все как один, не только горемыка Джуд, до времени прячут "скелеты в шкафу".

"Вашингтон пост", однако, обнадеживает: "Персонажи прорисованы с такой прекрасной и мучительной точностью". Насчет точности сказать нечего: если прототипы у Джуда и его товарищей и были, то нам они неизвестны. Мучительной? Да — для читателя, ведь он, бедный, тонет в необязательных подробностях, пространных, тормозящих действие описаниях ("Жизнь маленькая", а страниц в романе — семьсот), в многозначительных недоговоренностях и повторах (Джуд с упорством, достойным лучшего применения, пытается покончить с собой едва ли не в каждой главе и делает это, надо сказать, весьма разнообразно и изобретательно).

Мучаются не только читатели, но и герои. Один — пытаясь проникнуть в тайну друга: "Почему Джуд настороженный? Почему отовсюду ждет беды?" Другой — оттого что никак не может забыть злоключений, выпавших на его долю сначала в монастыре в Южной Дакоте, а потом в приюте для мальчиков в Монтане. Не может забыть "телесных оскорблений", как выразился обследовавший его врач. А потому, когда все уже давно позади, Джуд, повторимся, постоянно находится на грани самоубийства — а в финале эту грань переступает. Раньше истязали его, теперь он истязает себя сам: "Мне это нужно. Это мне помогает. От этого все становится на свои места". Нет, не становится, убеждает нас логика повествования.

Мучаются не зря. Без мучений, душевных и физических, без детально и со вкусом описанных пыток, изнасилований, автомобильных аварий со смертельным исходом, без аутоагрессии, галлюцинаций, кошмарных снов и проникновенных исповедей лакомого литературного блюда не сварганишь. Ханья Янагихара знает свое дело: крови в "Маленькой жизни" пролито столько, что хватит на две больших. Мушкетерам Дюма, пускавшим в ход шпаги много раз на дню, такая кровожадность и не сни-

лась. Многочисленные действующие лица в романе, а не только "постчеловек" Джуд, в трудную минуту без зазрения совести режут себя и себе подобных бритвами и ножами, травят и травятся, падают с крыш... Для невзыскательного, охочего до suspense'а читателя у Янагихары припасены, однако, не только средства из готического арсенала. Тут и сентиментальные излияния — герои книги выясняют отношения, почитай, на каждой странице. Тут и пространные рассуждения на заповедные темы. О природе боли и спасительной роли секса, например: "Теперь, когда в его жизни снова появился секс, он осознал, как плотно был им окружен все эти годы". И то сказать, какой герой современной развлекательной литературы "плотно не окружен сексом"?

В то же время автор "Маленькой жизни" стремится проникнуть в другое измерение, подняться и поднять читателя, так сказать, этажом выше. Выдать "страшилку" за серьезный, проблемный роман. Героев Янагихары и в молодые годы, и тридцать лет спустя хлебом не корми — дай пофилософствовать, поговорить о жизни, поспорить о Платоне, порассуждать о животрепещущих "измах", от сексизма до терроризма. Об искусстве — кино, театрах, выставках. И не только порассуждать: герои Янагихары в большинстве своем — сами люди искусства. Малкольм учится в архитектурной школе и в недалеком будущем станет выдающимся архитектором. После колледжа Виллем начинает сниматься в кино, играть в театре — и прославится, прежде чем погибнуть в автокатастрофе, как знаменитый актер и кинорежиссер. А гаитянин Джей-Би, который тоже сделает со временем карьеру известного художника, начинал с экспериментального искусства: создал в бытность сотрудником модного нью-йоркского журнала "композицию из черных волос".

В отличие от своего героя, Ханья Янагихара экспериментами вроде "композиции из черных волос" не увлекается: массовое искусство должно быть массам доступно; не до эксперимента. Даже при наличии высокоинтеллектуальных, "думающих", мятущихся героев "Маленькая жизнь" остается вполне заурядным блокбастером. Блокбастером, строящимся на эстетике ужасов. И это еще полбеды. Блокбастером в упаковке интеллектуального романа — явление, кстати сказать, в сегодняшней литературе, и нашей тоже, довольно распространенное, о чем уже приходилось писать. Блокбастером с претензией, на которую купились (в буквальном смысле слова?) многие американские, да и отечественные рецензенты. Вот и Анна Наринская полагает, что "Маленькая жизнь" "приносит ощущения сопереживания и включенности"[1]. Сопереживать, по-моему, некому, "включаться" не во что.

1. Анна Наринская. Нелегкое дыхание. О "Маленькой жизни" Ханьи Янагихары. — "Коммерсантъ Weekend", 2016, № 41, 2 декабря.

Три переводчика книги в конце своего Послесловия приносят благодарность автору за "быстрые, полные и в высшей степени полезные ответы на все переводческие вопросы". Любопытно, спросили ли они у Ханьи Янагихары, что означает и как перевести заглавие ее книги – "A Little Life". Вопрос, как говорится, не праздный. Почему жизнь героев "маленькая"? Потому что все они, за исключением Джей-Би, мало прожили? Или потому, что рассказ об их жизни не полон? Или их жизнь "маленькая" в том смысле, в каком мы говорим "маленький человек", – незначительная, неприметная? Вряд ли: историю Джуда неприметной никак не назовешь. Или смысл и вовсе другой: "Немного о жизни". Как бы то ни было, по-русски словосочетание "маленькая жизнь" звучит не слишком вразумительно. А по-английски?

# *Американская литература на страницах "ИЛ"*



## 2011

Специальный номер *Однажды в Америке...* [1]

Вулфсон Пенни — *Луна восходит.* Эссе. Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких [1]

Джеймс Генри — *Записные книжки, дневники, письма, эссе.* Перевод и вступительная статья А. Ливерганта [1]

Доктороу Эдгар Л. — *Уэйкфилд.* Рассказ. Перевод Е. Домбаян.

Доктороу Эдгар Л. — *"...соединять зримое и незримое, прошлое и настоящее...".* Из цикла *Американские беседы.* Перевод Е. Домбаян [1]

Лав Мэтью — *Ночное дежурство.* Рассказ. Перевод Льва Оборина [1]

Прайс Ричард и Хадсон-Прайс Энн — *О чем говорят на улицах.* Эссе. Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких [1]

Райан Кей — *Река Ниагара.* Стихи. Перевод и вступление Григория Кружкова [1]

Седарис Дэвид — *Рассказы.* Перевод и вступление Светланы Силаковой [1]

Уокер Джералд — *Убить дракона.* Эссе. Перевод Екатерины и Сергея Шабуцких [1]

Фрост Роберт — *Стихи.* Переводы Виктора Топорова, Леонида Ситника, Льва Оборина, Марины Бородицкой, Григория Кружкова, Михаила Зинкевича, Владимира Васильева. Вступление Леонида Ситника [1]

Шейнерт Малгожата — *Остров-ключ.* Фрагменты книги. Перевод с польского К. Старосельской [1]

Гильб Дагоберто — *Дядя Рок.* Рассказ. Перевод А. Светлова [5]

Бернстин Чарльз — *Военные истории.* Стихотворение. Перевод Яна Пробштейна [6]

Хемон Александар — *Проект "Лазарь".* Роман. Перевод Юлии Степаненко [6, 7]

Либман Дэниел С. — *У кошки в брюхе.* Рассказ. Перевод Антона Ильинского [9]

## 2012

Нэш Огден — *Вот что должно быть вышито на каждом слюнявчике.* Стихи. Перевод и вступление Михаила Матвеева [4]

Гэллико Пол — *Верна.* Рассказ. Перевод Олега Дормана [5]

Сэвидж Сэм — *Стекло.* Роман. Перевод Е. Суриц [5]

Холландер Анна — *Взгляд сквозь одежду.* Отрывки из книги. Перевод Вадима Михайлина [6]

Шепард Джим — *Рассказы.* Перевод Светланы Силаковой [8]

Сьюзен Сонтаг — *В Платоновой пещере.* Глава из книги *О фотографии.* Перевод В. Голышева. Вступление Юрия Роста [9]

## 2013

Беллоу Сол — *Ральф Эллисон.* Перевод Ольги Пановой [1]

Гилб Дагоберто — *Посёлок "Ивушка".* Перевод Андрея Светлова [1]

Корагессан Бойл Томас — *Пепельный понедельник.* Перевод Андрея Светлова [1]

Эллисон Ральф — *Невидимка.* Фрагменты романа. Перевод Ольги Пановой [1]

Палмер Майкл — *Стихи, интервью, эссе, записные книжки.* Переводы Александра Скидана, Аркадия Драгомощенко, Владимира Аристова, Татьяны Бонч-Осмоловской [3]

Палмер Майкл — *Стихи, эссе.* Переводы Александра Скидана, Аркадия Драгомощенко, Владимира Аристова [3]

Палмер Майкл — *Эссе, стихи.* Перевод Владимира Фещенко, Аркадия Драгомощенко, Владимира Аристова [3]

Уоррик Джоби — *Тройной агент.* Журналистское расследование. Перевод Н. Н. [5, 6]

Мейлер Норман — *Шпионское искусство.* Мысли по поводу литературы. Перевод Лидии Хесед [9]

Франзен Джонатан — *Дальний остров.* Эссе. Перевод Л. Мотылева. Вступление Б. Дубина [9]

## 2014

Сондерс Джордж — *Десятого декабря.* Рассказ. Перевод и вступление Светланы Силаковой [1]

Уильямс Уильям Карлос — *Жалоба.* Стихи. *С применением силы.* Рассказ. Перевод Антона Нестерова [3]

Керуак Джек — *Пик (это я).* Повесть. Перевод Елизаветы Чёрной [4]

Гринблатт Стивен — *Свобода Шекспира.* Фрагмент одноименной книги. Перевод Т. Казавчинской [5]

Стюарт Даг — *Быть или...: Величайшая шекспировская подделка.* Глава из книги *Мальчик, который не стал Шекспиром.* Перевод Е. Доброхотовой-Майковой [5]

Шапиро Джеймс — *Пролог к книге "1599: Год в жизни Уильяма Шекспира".* Перевод Е. Доброхотовой-Майковой [5]

Шапиро Джеймс — *Сломанные копья, или Битва за Шекспира.* Главы из книги. Перевод Ольги Башук [5]

Фицджеральд Фрэнсис Скотт — *Стихотворения.* Перевод Елены Калявиной [6]

Эггерс Дейв — *Зейтун.* Докуроман. Перевод Юлии Степаненко [6, 7]

Моррисон Тони — *Домой.* Роман. Перевод В. Голышева [8]

Кастнер Брайан — *Долгая прогулка.* Главы из книги. Перевод Дмитрия Арша [9]

## 2015

**Миллер Генри** — *Два эссе.* Перевод Елены Калявиной [5]

Литературный гид *Нью-Йоркер*

**Апдайк Джон** — *"Я не читал его книгу..."* Стихи. Перевод и вступление Михаила Матвеева [6]

**Гранн Дэвид** — *Предсказанное убийство.* Документальная проза. Перевод Владимира Окуня [6]

**Данн Стивен** — *Засада в пять пополудни.* Стихи. Перевод Елены Калявиной [6]

**Дэнби Дэвид** — *Две рецензии.* Перевод Антона Ильинского [6]

**Лар Джон** — *Оглядываясь на Джона Осборна.* Перевод Елены Калявиной [6]

**Левайн Филип** — *В другой стране.* Стихи. Перевод Елены Калявиной [6]

**Ли Июнь** — *Убежище для женщины.* Рассказ. Перевод Татьяны Табачковой [6]

**Менанд Луис** — *НОРМАНское нашествие. Безумная карьера Нормана Мейлера.* Эссе. Перевод Елены Ивановой [6]

**Росс Алекс** — *Князь тьмы.* Статья. Перевод Елены Калявиной [6]

**Уильямс Теннесси** — *Ослепленная рука.* Стихи. Перевод Елены Калявиной [6]

**Уильямс Ч. К.** — *Колесо для крыс, деменция, Мон-Сен-Мишель.* Стихи. Перевод Елены Калявиной [6]

**Хемон Александар** — *Аквариум.* Документальная проза. Перевод Антона Ильинского [6]

**Элс Хилтон** — *Лебединая песня.* Перевод Елизаветы Демченко [6]

*Briefly Noted.* Перевод Светланы Силаковой

**Алекси Шерман** — *Рассказы.* Перевод Светланы Силаковой [8]

## 2016

**Олгрен Нельсон** — *Рассказы.* Перевод Ольги Кулагиной [1]

**Правер Джабвала Рут** — *Жара и пыль.* Роман. Перевод Елены Малышевой [1]

**Лубин Питер** — *Известный писатель и глуповатый интервьюер.* Фрагменты интервью. Перевод и комментарии Николая Мельникова [3]

**Видал Гор** — *Сатирический мир Ивлина Во.* Рецензия на роман "Безоговорочная капитуляция". Перевод Аллы Резниковой [4]

**Уилсон Эдмунд** — *Блеск и нищета Ивлина Во.* Рецензия на роман "Возвращение в Брайдсхед". Перевод Аллы Резниковой [4]

**Хатченс Джон** — *Лучший роман Ивлина Во.* Рецензия на роман "Возвращение в Брайдсхед". Перевод Анны Курт и Аллы Резниковой [4]

**Гринблатт Стивен** — *Шекспир и Монтень.* Перевод Е. Суриц [5]

**Остер Пол** — *Смерть сэра Уолтера Рэли.* Рассказ. Перевод и вступление Антона Нестерова [5]

**Шенбаум Сэмюэл** — *"Стратфордский юбилей".* Перевод Екатерины Ракитиной [5]

Алекси Шерман — *Потому что мой отец всегда говорил: я единственный индеец, который сам видел, как Джими Хендрикс играл в Вудстоке "Звездно-полосатый флаг"*. Рассказ. Перевод и вступление Светланы Силаковой [6]

Стивенс Уоллес — *"Не каждый день мир выстраивается в стихотворение"*. Стихи и афоризмы. Перевод и вступление Григория Кружкова [9]

Форд Ричард — *Прочие умершие*. Повесть. Перевод Александра Авербуха [10]

Плуцик Хаим — *Горацио*. Поэма. Глава V. *Карл*. Отрывок. Перевод и вступление Антона Нестерова [10]

## 2017

Боган Луиза — *Рецензия на сборник "Избранные стихотворения" Уистена Хью Одена*. Перевод Анны Курт [1]

Уилсон Эдмунд — *У. Х. Оден в Америке*. Перевод Анны Курт [1]

Бруайар Анатоль — *Троекратный конец невинности*. Перевод Николая Мельникова [2]

Видал Гор — *Почему я на восемь лет моложе Энтони Бёрджесса*. Перевод Валерии Бернацкой [2]

Теру Пол — *Шедевр Бёрджесса*. Перевод Николая Мельникова [2]

Хикс Грэнвилл — *Изобильный мир Энтони Бёрджесса*. Перевод Николая Мельникова [2]

Мэмет Дэвид — *Романс*. Пьеса. Перевод В. Голышева [3]

Дэвис Лидия — *Рассказы*. Перевод Е. Суриц [4]

Престон Ричард — *Война с вирусом Эбола*. Перевод Александра Авербуха [4]

Андерсон Квентин — *Набоков во времени*. Перевод Оксаны Кириченко [6]

Апдайк Джон — *Гроссмейстер Набоков*. Перевод Оксаны Кириченко [6]

Аппель Альфред — *Вспоминая Набокова*. Перевод Валерия Минушина [6]

Гасс Уильям — *Зеркало, зеркало*. Перевод Виктора Голышева [6]

*Интервью с Виктором Ланге Эмери Джорджа*. Перевод Оксаны Кириченко [6]

Калишер Гортензия — *Трюки молодого волшебника*. Перевод Валерии Бернацкой [6]

Костелянец Ричард — [Рецензия на роман "Дар".] Перевод Николая Мельникова [6]

Кох Стивен — *Набоков как начинающий автор*. Перевод Валерия Минушина [6]

Мёртон Томас — *Реализм и авантюра*. Перевод Анны Курт [6]

Уайт Эдмунд — *Представьте себе Лолиту тупицей*. Перевод Натальи Тагер [6]

Фелпс Роберт — *Прото-"Лолита"*. Перевод Валерия Минушина [6]

Хатченс Джон — *Роман – но также и мемуары*. Перевод Валерия Минушина [6]

# Авторы номера

**Адам Джонсон**
**Adam Johnson**
[р. 1967]. Американский прозаик, ассоциированный профессор Стэнфордского университета. Лауреат Пулитцеровской премии [2013].

Автор романов *Паразиты как мы* [*Parasites Like Us*, 2003], *Сын повелителя сирот* [*The Orphan Master's Son*, 2014], сборника рассказов *Торговый центр* [*Emporium*, 2002].
Публикуемые повести взяты из сборника *Фортуна улыбается* [*Fortune Smiles*. Random House, 2015].

**Томан Мёртон**
[1915–1968]. Американский поэт, богослов и публицист.

Автор нескольких поэтических сборников, автобиографии *Семиярусная гора* [The *Seven Storey Mountain*, 1948], сборников эссе и медитаций *Семена созерцания* [*Seeds of Contemplation*, 1949; рус. перев. 2005], *Знак Ионы* [*The Sign of Jonas*, 1953], *Одинокие думы* [*Thoughts in Solitude*, 1958; рус. перев. 2003], *Новые семена созерцания* [*New Seeds of Contemplation*, 1962; рус. перев. 1997] и др. В *ИЛ* опубликована его рецензия на роман В. В. Набокова *Смех во тьме*, английскую версию *Камеры обскуры* [2017, № 6].
Перевод публикуемых стихотворений выполнен по изданию *Избранные стихотворения Томаса Мёртона* [*The Collected Poems of Thomas Merton*. N. Y.: New Directions Book, 1977].

**Анна Владимировна Курт**
Поэт, переводчик, публицист.

Автор сборника стихов *Две розы*. В ее переводе опубликованы *Лекции по русской литературе* В. Набокова, *Прощай, Берлин* К. Ишервуда, *Эссе о литературе* У. Х. Одена, *Капля Божественного меда* и *Познание Востока* П. Клоделя, *Кровь бедняка* Л. Блуа [совместно с Анной Райской], *История свободы* И. Берлина, стихи Д. Сент-Джона, Д. Лемана, Д. Мэйсона. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы сонеты И. дю Белле [2010, № 6], статьи литгидов *Полвека без Ивлина Во* [2016, № 4] и *К 110-летию Уистена Хью Одена* [2017, № 1], а также статьи и рецензии Э. Бёрджесса [2017, № 2] и интервью В. Набокова [2017, № 6].

**Лусия Берлин**
**Lucia Berlin**
[1936–2004]. Американская писательница. Лауреат премии имени Джека Лондона [1985] и Американской книжной премии [1991].

Автор сборников рассказов *Прачечная-автомат "У Ангела"* [*Angels Laundromat*, 1981], *Наследие* [*Legacy*, 1983], *Фантомная боль* [*Phantom Pain*, 1984], *Живы-здоровы* [*Safe & Sound*, 1988], *Тоска по дому* [*Homesick*, 1990], *Пока* [*So Long*, 1993], *Где я теперь живу* [*Where I Live Now*, 1999].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Руководство для домработниц* [*A Manual For Cleaning Women*, Farrar, Straus and Giroux, 2015].

**Светлана Владимировна Силакова**
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург, 1996], премий имени А. М. Зверева [2007] и *Иноллитл* [2008].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Э. Энрайт, М. Фигераса, П. Теру, Д. Делило, Дж. Сондерса, Д. Шепарда, М. Спарк и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

**Джон Эшбери**
John Ashbery
[р. 1927]. Американский поэт и арт-критик. Лауреат *Пулитцеровской премии* [1975], Национальной книжной премии [1975], Национальной премии критики [1975], *Боллингеновской премии* [1985], премии Фильтринелли [1992] и др. Член Американской академии искусств и литературы [1980], канцлер Американской поэтической Академии [1988–1999], поэт-лауреат штата Нью-Йорк [2001–2003]. Обладатель ордена Почетного легиона [2002].

Автор более 20 поэтических сборников, среди них *Клятва в зале для игры в мяч* [*The Nennis Court Oath*, 1962], *Реки и горы* [*Rivers and Mountains*, 1965], *Апрельские галеоны* [*April Galleons*, 1979], *Ты слышишь ли, птица?* [*Can You Hear, Bird?* 1995], многих книг по искусству.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

**Ян Эмильевич Пробштейн**
[р. 1953]. Поэт, переводчик поэзии, литературовед, издатель. Кандидат филологических наук, доктор литературоведения [Ph. D.], профессор английской, американской литературы. Лауреат 2-й премии Габриэля Гарсиа Маркеса [2016].

Автор 9 поэтических книг, книги о русской поэзии *Одухотворенная земля* [2013], 450 публикаций на нескольких языках. Переводил с английского стихотворения Г. Лонгфелло, Т. С. Элиота, Т. Траэрна, У. Блейка, П. Б. Шелли, Д. Мэнли Хопкинса, Д. Китса, К. Сэндберга, Д. Уолкотта, У. Х. Одена, Д. Эшбери, У. Б. Йейтса, Э. Дикинсон, Э. Паунда, Д. Райта и др.; с итальянского – Д. Унгаретти, У. Саба; с испанского – Х. Э. Пачеко, А. Бельо, Х. Л. Борхеса; с польского – Ч. Милоша; на английский – стихотворения О. Мандельштама, Г. Иванова, А. Фета, И. Анненского, Вл. Ходасевича и др. Составитель, редактор, автор предисловия, комментариев и один из ведущих переводчиков книги *Стихотворения и избранные Cantos* Эзры Паунда [1 т., 2003], Стихотворения и поэмы Т. С. Элиота [2013]. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи Дж. Эшбери [2006, № 10], Ч. Бернстина [2011, № 6], Э. Паунда [2013, № 12], У. Х. Одена [2017, № 1].

**Зора Нил Хёрстон**
**Zora Neale Hurston**
[1891–1960]. Американская писательница "южной школы".

Автор романов *Тыквенное дерево Ионы* [*Jonah's Gourd Vine*, 1934], *Их глаза видели Бога* [*Their Eyes Were Watching God*, 1937], *Моисей, человек горы* [*Moses, Man of the Mountain*, 1939], автобиографии *Следы на пыльной дороге* [*Dust Tracks on a Road*, 1942], ряда сборников афроамериканского фольклора *Мулы и люди* [*Mules and Men*, 1935] и *Скажи моей лошади* [*Tell My Horse*, 1938], а также ряда рассказов и пьес. Публикуемое эссе *How It Feels to be Colored Me* взято из интернета: http://xroads.virginia.edu/~ma01/grand-jean/hurston/chapters/how.html

**Ирина Васильевна Морозова**
Доктор филологических наук, профессор кафедры сравнительной истории литератур ИФИ РГГУ.

Автор более ста статей по истории литературы США и книги *Южный миф в произведениях писательниц Старого Юга* [2004]. Редактор-составитель четырех сборников статей Международных Зверевских чтений.

**Марина Михайловна Ефимова**
Журналист, редактор, переводчик. Ведущая тематических передач на радио *Свобода*. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2012].

Автор повести *Через не могу* [1990] и многих публикаций в американской эмигрантской прессе. Ведущая рубрики *ИЛ Новые книги Нового Света*.

**Сьюзен Сонтаг**
**Susan Sontag**
[1933–2004]. Американская писательница, литературный и художественный критик, режиссер театра и кино. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе Национальной премии литературных критиков [1978], итальянской премии Малапарте [1992], Национальной книжной премии [2000], Иерусалимской премии [2001], премии *Немецких издателей за вклад в дело мира* [2003], кавалер французского ордена *За заслуги в искусстве и литературе* [1999].

Автор романов *Поклонник Везувия* [*The Volcano Lover*, 1992; рус. перев. 2004], *В Америке* [*In America*, 2000; рус. перев. 2004], сборников новелл, киносценариев, книг эссе *Против интерпретации* [*Against Interpretation*, 1966], *О фотографии* [*On Photography*, 1976], *Болезнь как метафора* [*Illness as Metaphor*, 1978; рус. перев. *ИЛ*, 2003, № 8], *Под знаком Сатурна* [*Under the Sign of Saturn*, 1980], *Глядя на боль других* [*Regarding the Pain of Others*, 2003] и др. Эссе и рассказы Сонтаг не раз печатались в *ИЛ* [1992, № 1; 1996, № 4; 1997, № 4; 1999, № 1, 9; 2000, № 2; 2004, № 12; 2007, № 7, 12; 2012, № 9]; на русском языке вышла книга ее избранной эссеистики *Мысль как страсть* [М., 1997].
Перевод публикуемого текста выполнен по изданию *В то же время* [*At the Same Time*. Farrar, Straus and Giroux, 2007].

**Алексей Петрович Цветков** [р. 1947]. Поэт, прозаик, переводчик. Редактор газеты *Русская жизнь* в Сан-Франциско [1976–1977], редактор и ведущий программ *Седьмой континент* и *Атлантический дневник* на радио *Свобода* в Мюнхене и Праге. Лауреат премии Андрея Белого [2007] и имени А. М. Зверева [2015].

В американском издательстве Ардис вышли три книги его стихов *Сборник пьес для жизни соло* [1978], *Состояние сна* [1981], *Эдем* [1985]. Книги *Стихотворения* [1996], *Дивно молвить* [2001], *Просто голос* [2002], *Шекспир отдыхает* [2006], *Имена любви* [2007], *Ровный ветер* [2008], *Детектор смысла* [2010] изданы в России. Публиковался в *ИЛ* [1993, № 12; 1996, № 1; 2002, № 5; 2004, № 4; 2011, № 3; 2017, № 5]. Ведущий рубрики *ИЛ В устье Гудзона с Алексеем Цветковым.*

**Дороти Паркер** Dorothy Parker [1893–1967]. Американский прозаик-юморист, поэт, сценарист, драматург. Основатель группы *Круглый стол Алгонквин* [*Algonquin Round Table*], сотрудничала с журналом *Нью-Йоркер.*

Автор сборника стихов *На поводке* [*Enough Rope*, 1926], *Выстрел на закате* [*Sunset Gun*, 1931], *Смерть и налоги* [*Death and Taxes*, 1931], сценариев, в том числе *Катастрофа. История женщины* [*Smash-Up: The Story of a Woman*, 1947], пьес в соавторстве *Полная гармония* [*Close Harmony*, 1924], *Побережье Иллирии* [*The Coast of Illyria*, 1949], *Дамы из того коридора* [*The Ladies of the Corridor*, 1953], сборников новелл *Оплакивая живых* [*Laments for the Living*, 1930] и *После таких удовольствий* [*After Such Pleasures*, 1933]. По-русски издан сборник ее новелл [1959]. В *ИЛ* опубликованы ее рассказы и афоризмы [2016, № 12].

**Александр Яковлевич Ливергант** [р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012], *Оскар Уайльд* [2014], *Фицджеральд* [2015], *Генри Миллер* [2016], *Грэм Грин* [2017]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, Н. Уэста, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта, Д. Китса, В Набокова, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ.*

# Переводчики

## Александр Александрович Авербух

Переводчик с английского, преподаватель. По образованию биолог.

В его переводе вышли книги Э. Маккинти *Деньги на ветер* [2012] и Д. Лихэйна *Прощай, детка, прощай* [2013]. Переводил также фильмы для студий SDI-Медиа и СВ-Дубль. В *ИЛ* в его переводе опубликованы рассказы Э. Энрайт [2016, № 3], повесть Р. Форда *Прочие умершие* [2016, № 10], рассказы и афоризмы Д. Паркер [2016, № 12], статья Р. Престона *Война с вирусом Эбола* [2017, № 4].

## Антон Викторович Нестеров

[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Иноли́ттл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, У. Т. Волльманна, романы Т. Пратчетта, Т. Фишера и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти, У. Х. Одена и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI—XVII вв. Выпустил сборник стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002] и книгу *Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового времени* [2015]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

## Виктор Петрович Голышев

[р. 1937]. Переводчик с английского. Лауреат премий *ИЛ* [1990 и 1993], *ИЛлюминатор* [1997], *Малый Букер* [2001] и *Либерти* за перевод [2003].

В его переводе изданы произведения Р. П. Уоррена, У. Фолкнера, К. Кизи, И. Макьюэна, Т. Уайлдера, Т. Капоте, Ч. Буковски, У. Кеннеди, А. Ислера, Р. Хьюза, Д. Хэммета, У. Фолкнера, У. Гасса, Дж. Гаррисона, Э. Леонарда, У. Тауэр, С. Сонтаг и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

---

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
E-mail: zhurnalil@yandex.ru

В оформлении обложки использованы американские граффити английского андерграундного художника стрит-арта Бэнкси [р. 1974].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.
Компьютерный набор
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор
Мария Макарова.

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),
в интернет-магазине "Лабиринт" (http://www.labirint.ru)

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
20.06.2017
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 5851.
Тираж 3300 экз.

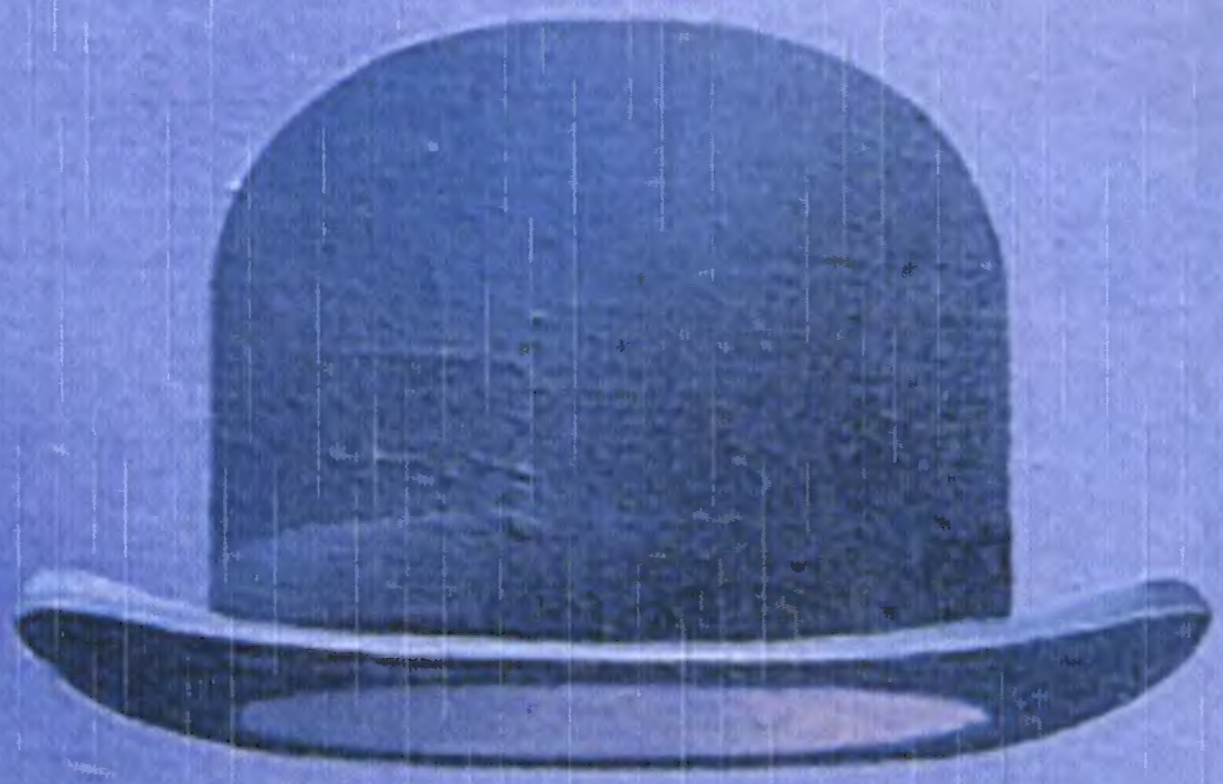
Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.

Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

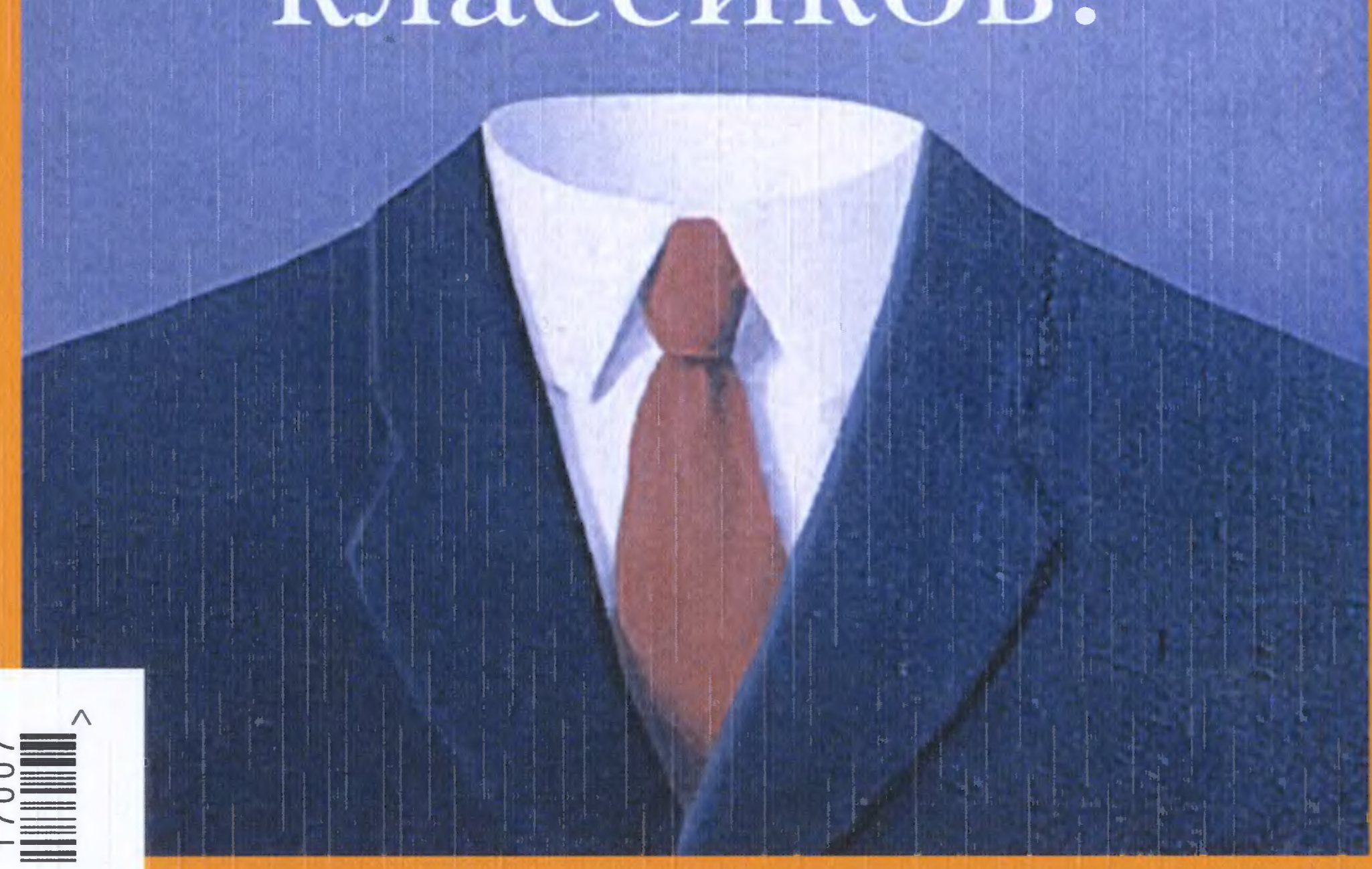
# [ 8 ] 2017

РОМАН ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА “ГИМН АНГЕЛА С ПОДЖАТОЙ НОГОЙ” / СТИХИ ПЕТРА МИЦНЕРА / ДЖОН ЛЕ КАРРЕ И О ДЖОНЕ ЛЕ КАРРЕ В РУБРИКЕ “С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ” / ИЗ БУДУЩЕЙ КНИГИ: ФРАГМЕНТЫ БИОГРАФИИ “ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ. МОМЕНТЫ БЫТИЯ” АЛЕКСАНДРА ЛИВЕРГАНТА / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: “ВОЛОДЯ, ВАСЯ И ДРУГИЕ” ИЛЬИ ФАЛЬКОВСКОГО / МАКСИМ ОСИПОВ И АНДРЕЙ ШАРЫЙ В РУБРИКЕ “ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ”

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



# Узнай завтрашних классиков!



ISSN 0130-6545 17007 9 770130 654770

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”. 2017. №7. 1–288